НЁМАН

11/2013
НОЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 12.11.2013 г. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,14. Тираж 3127. Заказ 3567.
Цена номера в розницу 18 600 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

ФЕДОР КОНЕВ

Одуванчик

Повесть

В то воскресное утро, помнится, Никита Егорович Мехов проснулся в радужном настроении, что-то легкое и яркое приснилось, оставив на сердце радость. Вдобавок за окном светило солнце на безоблачном небе. Но когда он вышел из ванны, затрезвонил телефон. Старая знакомая сообщила, что исчез Семен Листопадов, и третьи сутки о нем ни слуху ни духу.

— Как исчез? — спросил в трубку Мехов.

— А вот так, — ответила женщина.

— Ну, есть же милиция...

— Да что ты, Никита! Все обзвонили. И морги тоже.

— А чем я могу помочь?

— Ну, я подумала, что надо тебя известить.

С этим человеком, с Листопадовым, Мехов не был на короткой ноге, но долгие годы их связывало взаимное любопытство друг к другу. Такие отношения случаются только между людьми, которые явно не схожи и во многом даже противоречивы, но одной какой-либо сутью близки, одной страстью, ведь не зря сказано: рыбак рыбака видит издалека. Их привлекал взаимный интерес к вымыслам, на что были оба горазды, и они при случайных встречах обязательно заводили разговор о чем-либо далеком от суетной будничной повседневности. Не о деньгах говорили, не сплетнями обменивались, а рассказывали друг другу свои сны или наблюдения.

— Заглянул к соседям. Бабка сидит у телевизора и так смиренно, словно ожидает свою смерть. На экране супермен мочит всех без разбора. А тут тихо угасает бабка. Как тебе, Мехов?

— Что-то в этом есть. Сегодня хорошее слово вычитал: памятозлобен. Оценил, Листопадов? Ну, пока!

Эти разговоры ни к чему их не обязывали и не имели практического значения, они случались сами собой и не досаждали. Мехов и Листопадов, возможно, были одинаковой закваски, но уж, бесспорно, разной выпечки. Одни и те же вопросы занимали их, но ответы находились разные. Вроде бы по одной дороге шли, а судьбы сложились — не сравнить. Один был относительно удачлив, словно в рубашке родился, а второму не везло хронически. Вот еще и умудрился исчезнуть. Заблудиться не мог, убежать тоже. Куда? Украсть его никому в голову не придет. Зачем? Кому он нужен?

Почему-то вспомнилось, как — давно уже! — заглянул Листопадов в кабинет Никиты Мехова, поболтал по обыкновению о посторонних вещах, а потом сказал, опершись локтем на подоконник:

— Сегодня проснулся и чего-то с такой досадой подумал о надвигающемся дне. Опять одно и то же: завтрак, обед, ужин... А денег в кармане — ни шиша. Осточертело. Как славно было бы исчезнуть, раствориться в воздухе,

превратиться в крохотное облачко пара и вылететь в открытую форточку, вознестись и слиться с мутным белесым небом. Вовсе исчезнуть, то есть не только зримо, но и в памяти не остаться. Знакомые люди поутру продолжали бы жить, даже не заметив, что пустует пространство, которое еще вчера я занимал. Какое было бы блаженство, когда бы отпала нужда начинать новый день!

И что бы ни делал Мехов в это утро — одевался, завтракал, чистил туфли — мысли крутились вокруг Листопадова, и все только он возникал перед глазами.

Вспомнилась одна из недавних встреч. Низкорослый и худой Листопадов стоял на крыльце киностудии, на скользких мраморных плитах, одетый в неизменную за последние годы шубу из черного искусственного меха, из-под которой выглядывали синие шаровары, заправленные в короткие с широким раструбом резиновые сапоги, на голове была детская вязаная шапочка с кисточкой, и весь он походил на клоуна: маленький, с реденькой бородкой, со вздернутым носом и распахнутыми голубыми глазами, такими неожиданными на морщинистом, скукожившемся в кулачок лице.

— Бог есть? — спросил Семен, подав мягкую бескостную ладонь и вяло шевельнув пальцами. — Отвечай, Мехов.

Чувствуя себя рядом с ним слишком благополучным, Мехов отговорился расхожими словами:

— Спроси чего полегче.

Ему подумалось, что Листопадов начнет жаловаться на род человеческий, потому что явно не удалось ему разжиться на пиво, а имел он обыкновение занимать только небольшие суммы, смехотворные, чтобы кредиторам стыдно было напоминать о долге. Но студийный люд хитрость разгадал скоро, и каждый встречный клялся, что мелочевки нет. Семен Лукич в таких случаях невозмутимо проходился по кабинетам и набирал сумку пустых бутылок. Однако на этот раз его и в тарном промысле постигла неудача, студия давно не получала зарплату и кабинетный народ постился, а в цехах рабочие если и освежались, то пустую бутылку ни за что не отдадут, не аристократы.

Но Никита Мехов ошибся в своих догадках, Листопадов ткнул пальцем в его живот, отстранился и поднял безоблачные глаза.

— Я тебя иначе спрошу: а что, если Бога нет?

— Мы живем так, как бы и нет, — ответил с натянутой улыбкой Никита Егорович, не понимая, куда собеседник клонит.

— Значит, все можно? Так вроде ставил вопрос классик. А?

— А ты, Семен Лукич, какой-то общественный опрос проводишь?

— Если Бог есть, то надо оставаться человеком, но если Бога нет, то можно быть хоть кем. Так?

— Что ты все Бог да Бог? Не на церковной паперти стоим.

— А надо оставаться человеком, если и Бога нет. Понял, Мехов? Пока!

Он многозначительно вскинул палец и осторожно стал спускаться по ступенькам. Уходил, важно вышагивая по выложенной плитами дорожке, смешной и жалкий со стороны, принимаемый встречными людьми за бомжа, но очень довольный собой и особенно тем, что ловко озадачил заместителя главного редактора Мехова, человека, в общем-то, неплохого, но все равно чиновника, бюрократа.

«Надо бы с ним посидеть за чаркой! — подумал Мехов. — Напроситься в гости что ли? Поболтать на кухне. Хотел бы я знать, сохранилось что-то в нем от того Листопадова, который ходил в гениях, или все выветрилось. Должно быть, остались лохмотьями какие-то обрывочные мысли. Вот он

ходит и разбрасывает их без всякой связи. Брякнул и пошел дальше. Зачем? Чтобы удивить?»

Вялые размышления сбил молодой человек, недавний выпускник режиссерских курсов, о котором Мехов пока и знал-то всего, что зовут Сергеем.

— Здравия желаю, Никита Егорович! — остановился он рядом и кивнул на удаляющегося Семена Лукича. — Это же Листопадов?

Мехов кивнул, ответил на приветствие:

— А что?

Молодой человек пожал плечами:

— Я не понял, что он имел ввиду. Проходя мимо, бросил: «Без души можно жить, но без нее нельзя услышать Бога». И пошел дальше как ни в чем не бывало. Упрек что ли?

— Он у тебя занимал?

— Да мелочь!

— Вот он и озадачил тебя, чтобы не заговорил о долге.

— Да? — разочарованно произнес молодой человек. — Хотя... алкаши все одинаково хитрят, по мелочи. Замечали? А это правда, что он когда-то подавал большие надежды?

— «Большие надежды» — это мало. О нем говорили — гений.

Никита Мехов поднялся на свой этаж, прошел в кабинет и сел за письменный стол, тут же подумав, что повторяет этот путь тридцатый год подряд.

И уже из очень далекого прошлого всплыло в памяти красивое лицо Марины Ливанской. Еще совсем недавно Мехов стал членом сценарной коллегии на киностудии, к тому же запустили в производство первый его сценарий, и все киношное остро занимало сердце. Что ни день, то случались интересные знакомства, студийное племя постепенно втягивало в себя, как речной водоворот щепу.

В монтажном цехе, по причине искусственного отбора что ли, работали одни красавицы и все были молоды, стройны, длинноноги. Марина Ливанская ростом не выдалась, но среди своих сотрудниц выгодно отличалась миниатюрной соразмерностью, ее хотелось носить на руках. А круглое личико с толстыми губками и большими серыми глазами прямо-таки походило на ангельскую мордашку.

При этом Ливанская всегда была серьезна, смеялась редко, считала себя умной и любила поговорить о серьезных книгах, во множестве ею прочитанных. Это была одна из представительниц конца шестого десятилетия двадцатого века, которые преданно относились к искусству и в полном смысле боготворили человека с талантом. Такие женщины вывелись и теперь кажется маловероятным, что они были способны отдать жизнь своему кумиру, служить ему и ради него терпеть лишения, при этом не будучи женой, а оставаясь поклонницей.

Это Никите Мехову раскрылось позже, а в тот день он робел перед красотой девушки и в ответ на ее слова мямлил что-то невнятное. Сидели они за столиком в буфете, а тогда в этом заведении продавали хорошие болгарские вина и коньяк.

Постоянным посетителям буфетчица наливала взаймы, занося должников в особый список. И это очень устраивало вечно безденежную творческую братию. Бывало, иной бедолага пользовался доверием буфетчицы полгода, пока не выпадал какой-то гонорар. А уж тогда приходил с букетом роз!

В этом буфете под винными парами частенько разгорались страсти, кто-то впадал в раж и начинал разоблачать все и вся, ругал чиновников и клял послушных им бездарей, на него обижались, ссорились, но затем как-то все

оборачивалось всеобщим братством, сдвигались столы и произносились слезливые от любви и умиления тосты.

Марина и Никита пили сухое вино и говорили о чем-то теперь уже забытом. И вдруг собеседница преобразилась, словно приготовилась взлететь прямо из-за стола, устремилась просветленным взглядом в сторону двери.

— Листопадов, — произнесла она.

Повернув голову, Никита Мехов впервые увидел Семена Лукича. Это был ниже среднего роста, поджарый, нескладного мальчишеского телосложения человек с пышной шевелюрой кучерявых светлых волос.

— Правда, он похож на молодого льва?

Никита Мехов кивнул, но про себя подумал, что Листопадов скорее похож на одуванчик, дунь — и голова окажется маленькой, сообразной узким плечам. Ступив в зал, он явно был уверен, что на него обратят внимание, но не спешил оглядеться, а устремился к стойке, за которой улыбалась полнощекая буфетчица, что-то сходу заказал, а потом уж окинул взглядом комнату, расслабился и весело помахал рукой Ливанской. Она жестом пригласила за свой стол.

— Он гений, — сообщила она и с приближением его улыбалась все шире.

Вблизи Никита Мехов разглядел круглое лицо, мелкий вздернутый нос, капризно сложившиеся губы и плоские голубые глаза, в которых не было никакого любопытства. И в этом Никита увидел игру, Листопадов как бы показывал, что все-то он знает и ко всему на этом свете готов.

— Как жизнь? — безучастно спросил Ливанскую.

— Тоска, — буднично ответила та и кивнула на Мехова. — Познакомься — Никита Мехов.

— Слышал, — он не подал руки, а только кивнул. — Сценарий не читал. Говорят, ничего. В штат зачислили?

— Редактором.

— Собачья должность, — определил он и выпил стакан вина.

— Отчего собачья? — не согласился Мехов.

— От того, что кусачая, — засмеялся Листопадов, показав частые мелкие зубы. — Уж я-то знаю.

— Уж да! — подхватила Ливанская. — Уж его покусали всласть!

В середине шестидесятых годов Листопадов приехал с дипломом режиссера и был хлебосольно встречен тогдашним директором студии, вскоре погибшим в дорожной аварии, но успевшим новичку доверить постановку полнометражной кинокомедии. Листопадов не сумел отказаться, да и не особенно отбивался, считая, что все ему по плечу.

Тогдашний Семен Лукич не остыл еще от оттепели, как называли время на стыке пятидесятых и шестидесятых годов, страстно верил, что будет хорошо в родном Отечестве, что до полного народного счастья осталось немного: одолеть кое-какие пережитки прошлого и всего-то. С культом отца народов покончено, живи и проявляйся.

Вот с таким пагубным настроением и затеял сражение с темными пятнами на светлом лике советской действительности горячий по натуре, честный до глупости и безоглядно счастливый Семен Листопадов.

И все поначалу шло хорошо. Художественный совет одобрительно отнесся к отснятому материалу: свежо и смешно, что и нужно для комедии. Но когда не единожды просмотренные начальством куски сложились в монтаже в единое целое, когда появились шумы и музыка, когда каждая реплика обрела четкость и легла на свое место, грянул гром.

Картина рассказывала о простых, как называли по-армейски, рядовых людях, которые оказывались чертовски сметливы, находчивы и напористы, чтобы обойти разного рода чиновников, и жили так, как человеку положено, то есть толково. Выходило, что ни труженик — умница, что ни начальник — дурак. А в зале сидели не рядовые. В креслах восседало руководство. И так оно обозлилось на картину, что не только запретило, а велело смыть пленку, чтобы стала прозрачной.

От первого фильма Листопадова не осталось даже кадра. Бывшего директора уже не было в живых, и во всем обвинили покойного, потраченные деньги списали, а режиссера забыли, будто и не было такого.

Но о картине очень долго помнил студийный творческий люд. Как всякая легенда, история фильма обрастала былинными подробностями, и уже кто-то с пророческим видом говорил, что погублен кинематографический шедевр, и прощения этому не будет. Семен Листопадов ходил без работы и даже без надежды на нее, но при людях не унывал и часто в компаниях рассказывал о своем главном замысле, с которым приехал на киностудию, и которому зеленый свет обещал покойный директор, но с условием: прежде спасти слабый комедийный сценарий. Производственный интерес... Знал бы, чем это кончится!

Тогда, в буфете, Марина Ливанская сказала:

— Сегодня собираемся у меня. Придешь?

— Если ты просишь...

— Еще как прошу! — призналась Ливанская.

— Будешь? — с легкостью перешел на «ты» Листопадов, глядя на Мехова с каким-то нетерпением.

— Конечно, будет, — подтвердила Марина Ливанская.

— Там и покалякаем, — торопливо поднялся Листопадов. — Спешу. Пардон. И всяких благ!

* * *

Когда-то давно в душе Семена Лукича Листопадова зародилась мечта создать редкой красоты кинокартину, и в ту пору казалось, что в этом его единственное земное предназначение: сотворив сие, можно спокойно умереть. Ему еще не было тридцати, он был порывист в чувствах, страсти вспыхивали с пороховой легкостью и опаляли тогдашних слушателей, его друзей и подруг, в большинстве своем таких же молодых утопистов.

Никита Мехов каждый раз удивлялся тому, как разительно другим становился Листопадов в такие минуты: безразличные глаза начинали светиться, словно сквозь них пробивались лучи, в некрепком теле возникала упругая сила, а голова в пышном облаке пушистых волос приобретала царственное величие.

— Главный придворный звездочет Флорентийского герцога Медичи, сенатор и член тайного совета мессер Джан Галеацца де Горгольо, — говорил Семен Лукич упругим голосом, в котором ощущалась восторженная дрожь, — отбыл секретной миссией через Польское королевство в столицу Золотой орды Сарай-бату, имея целью договориться с монголами о совместной войне против турок. На территории нынешнего белорусского Полесья мессер бесследно исчез на глазах своих попутчиков, кои тут же бросились прочь из тех мест в сильнейшей панике.

В этих начальных словах, как считала Ливанская, звучали булгаковские интонации.

— Помните как начинается «Мастер и Маргарита»? — спрашивала она каждый раз и артистично воздевала руки. — «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой...»

— Удивительно точное наблюдение! — вскидывался рыжий и худосочный тип, который тем и запомнился Мехову, что восхищался по каждому пустяшному поводу и теребил длинными, казалось, бескостными, как щупальца, пальцами соседей, чтобы те разделили его восторг, но встретив пренебрежение, замирал в задумчивости, чтобы через какое-то время снова всполошиться в экстазе.

— Тихо! — строго и требовательно повышала голос Ливанская. — Тихо, друзья!

Подвыпившие приятели и приятельницы слушали Семена с чувствительным пониманием, бросали короткие одобрительные реплики, не забывая наполнять стаканы дешевым вином совхозного производства, которого тогда появилось в изобилии, словно уже надвинулся одним боком на страну коммунизм.

Ливанская имела однокомнатную квартиру в старом доме, и кухня была очень просторной, круглый обеденный стол стоял посередине, и хватало места ходить, ничего не задевая. Никита Мехов был новичком в компании, немножко стеснялся, и оттого, должно быть, все внимание обратил на Листопадова, стараясь разобраться в его замысле.

В тот же вечер изрядно выпивший Листопадов признался Мехову, что намерен создать эпическую притчу о Времени и Человеке. Режиссерские замашки не страдали скромностью, в честолюбивых мечтах возникало полотно, которое затмило бы Феллини, знаменитого тогда мастера. Листопадов так и сказал:

— Этой выси никто не достигал. Поверь на слово, Мехов, никто! Фильм в башке, осталось перенести на пленку.

В конце вечера Мехов и Листопадов почему-то сидели в коридоре на сваленной в кучу верхней одежде гостей, по-азиатски скрестив ноги и держа в руках початые бутылки вина. Листопадов жаловался на судьбу и терзал пятерней пушистые волосы.

Когда комедию смыли, земля качнулась под ногами и, спасаясь в отчаянии, Листопадов ухватился за горлышко бутылки. Благо друзей-сотрапезников искать не пришлось, обиженного народа возле студии вилось много, Семена принялись таскать в какие-то компании, представляли кому-то, с кем-то знакомили, говорили о нем восхищенно, глухо ругали систему и восторженно замолкали, когда он, изрядно выпив, начинал говорить. Нет, он не поносил своих обидчиков, не жаловался на судьбу, он возносился в мечтах.

— Но еще до таинственного исчезновения мессера Джан-Голеацца де Горголье, а именно пятого марта триста девяностого года от рождества Христова, в правление римского императора Феодосия, военный трибун девятого легиона четвертой когорты Публий Гельвидий был направлен во главе многочисленного отряда на кораблях в далекую Сарматию. Ему был дан приказ отыскать водный путь из Понта Эвксинского в Свевское море. Трибун Публий Гельвидий бесследно исчез в дебрях лесов верховья таинственной реки Борисфен. Один из легионеров видел, как трибун ринулся за девушкой, которая внезапно появилась перед ним. Он почти догнал ее, протянул руку, чтобы схватить за длинную косу, но тут случилось невероятное: Публий и незнакомка растворились в воздухе.

Если поначалу Листопадов пил с горя, то со временем водка становилась необходимой для того, чтобы расшевелить в душе мечту, которая замирала

в трезвые минуты жизни, когда Семен начинал понимать, что в кино ему дорога заказана. Он убедился в этом, тычась в двери всех кабинетов. Начальство опасалось, что он опять чего-нибудь выкинет, так что ждать милости не приходилось. Умные люди советовали покаяться, упасть на колени, прикинуться блудным, мол, «выведите на путь истинный, светлые мои товарищи», но Листопадов с малых лет не умел притворяться и чувствовал, что не проведет пройдошных советских чиновников.

В редкие дни трезвости становилось страшно жить, и он снова тащился в какую-нибудь компанию. Начинались бесконечные сидения на чужой кухне, короткий сон в чужой постели или на полу вповалку с другими, тяжелое пробуждение, помятые лица, хриплое мычание и спасительное похмелье.

По утрам от первой рюмки Листопадов еще более мрачнел. Собутыльники оживали, рассказывали с каким-то идиотским восторгом, кто чего помнил из вчерашнего. Листопадов наливал сам себе и выпивал один. Из души не сразу улетучивался мрак. Семен жестом просил соседа снова плеснуть. И в какой-то миг с разливающимся внутри теплом появлялась уверенность, словно рушился невидимый забор, и душа обретала свободу, это означало, что вернулась мечта, и уже казалась она осуществимой, потому что нет преграды, которую не одолел бы Листопадов. Да не может такого быть, чтобы он не доказал самым твердолобым, как важен и как нужен зрителю, а уж если быть откровенным, так всему народу задуманный им, Листопадовым, фильм. Поймут, поймут...

— Триста семьдесят два года спустя после того, как придворный звездочет Флорентийского герцога Медичи отбыл секретной миссией в столицу Золотой орды, — уверенным и твердым голосом прерывал застольную болтовню Листопадов, ничуть не сомневаясь, что все будут слушать его, как всякий раз, когда он начинал рассказывать свой главный замысел, — а именно второго ноября 1812 года корпус под командованием генерала Ермолова столкнулся с арьергардом отступавшей Великой Армии в верховьях Днепра. Непродолжительный бой завершился полной победой, в плен сдались около трехсот французов. Потери русских были ничтожны: двое убитых и несколько раненых, среди которых был молодой артиллерийский подпоручик второй бригады Александр Фролов. Его товарищ оставил раненого на опушке леса и побежал за помощью. Когда же вернулся с носилками и двумя санитарами, то Александра Фролова не обнаружил. Вступив в лес, он увидел сплошное непролазное болото. Фролов бесследно исчез.

Листопадов говорил, откинувшись и заложив руки за спинку стула. Не раз Никита Мехов видел его таким. В такие минуты он уходил в свое вожделенное кино. Он смотрел прямо перед собой и не замечал слушателей. Должно быть, перед его мысленным взором щетинилось стерней неровное поле...

Трое растерянных людей суетятся на опушке леса, стараясь найти хоть какой-нибудь след. Один из них вдруг застывает, с ужасом глядя на болотные оконца среди рыжего кочкарника и чахлых берез, стайкой уходящих вглубь, в сизый туман, что густо клубится над желтой хлябью. Товарищ Фролова, сам еще молодой и безусый поручик, с невольным страхом отступает назад, когда слышит зов, глухой и далекий, словно долетающий из болотной прорвы.

— Что это? — спрашивает он санитаров.

— Вас кличут, ваше благородие, — ответили солдаты. — И вроде подпоручик-с... Фролов-с...

И тут его благородие замечает девушку, одетую, как крестьянка, с длинной и толстой косой на груди.

— Болотная дева, — шепчет один из санитаров.

— Послушайте! — бросается к ней его благородие. — Подождите, барышня!

Она с улыбкой отступает назад, протягивая руки ему, явно манит, блазнит. За ней пузырится тина, еще шаг — и девушка погибнет. Поручик броском настигает ее, и санитары немеют от изумления: исчезает в призрачном воздухе вместе с девицей.

Сколько ни длились выпивки, а похмелье наступало. И тогда Листопадову приходилось возвращаться домой, в одиночество. Он клялся, что никогда больше не пригубит ни капли вина. Но хватало его не надолго. Походит по киностудии, посидит в приемных, даже принят будет из милости кем-то, но ничего не добьется, и такой мрак заполнит душу вязкой смолой, что не выдержит и снова побежит из дому, чтобы хоть на короткий миг вернуть мечту, и самозабвенно, не ведая, каким людям, и не помня, который раз, говорить страстно:

— Мессер Джан-Голеацца Горгольо, военный трибун Публий Гельвеций, подпоручик Александр Фролов с товарищем и многие другие исчезали бесследно и забывались в памяти людей. Проходили годы и столетия, время двигалось ровно и неуклонно, превращая в прах поколение за поколением, никого не щадя: ни самых достойных, ни самых непотребных, ни гениев, ни глупцов, ни грешных, ни праведных. Все, что приходило жить, неизменно умирало. Время шествовало вперед, неведомо когда начав роковое движение. И только на цветущем острове среди гиблых полесских болот время было не властно. Ведь оно существует тогда, когда что-то рождается и что-то умирает, когда зиму сменяет весна, а весну — лето, когда солнце восходит и заходит, отмечая дни и ночи. Но если всего этого нет, а есть одно бессмертие, то и нет времени.

Он умолкал, ему подавали стакан с вином, он пил, а кто-то в это время рассуждал, глядя на него, что Россия долго еще будет не колыбелью, а кладбищем талантов.

* * *

Но с годами Листопадовым все меньше восхищались, его все больше жалели. Друзья-приятели вроде бы даже искренне вздыхали о сломанной судьбе безвредного человека, но он не жалости хотел, не сострадания, а того, чтобы оставалась с ним возвратившаяся во хмелю мечта и чтобы все верили, что не сломался Семен Лукич, что есть еще порох в пороховницах... Но уже никто не тешил себя надеждой, что Листопадов поставит картину. Постепенно он становился даже докучливым завсегдатаем киностудии.

Марина Ливанская создала для себя нового кумира, глаза ее сияли, когда появлялся высокий, с печальными глазами навыкате, внешне похожий на смертно загнанного и совершенно не кормленого коня, человек, который пока поставил один документальный фильм, но подавал по мнению двух-трех знатоков кино огромные надежды.

— Колоссальный ум! — повторял слова Марины Ливанской восторженный Кокошин и теребил белую кофту соседки, словно вытирал пальцы. — Оригинал!

Этот гигант ума сразу не пришелся по нутру Мехову, показался скучным и дохлым, свои умозаключения он явно готовил заранее, старательно копаясь в книгах, потому в спорах не участвовал, а сидел с отрешенной скептической улыбкой на сухопаром лице и грыз ногти.

— Тихо! — призывала Марина. — Тихо, друзья!

Тогда оригинал начинал что-то вещать. Мехов не понимал, о чем он говорит, и другие точно также терялись в догадках, но согласно кивали и разводили руками, соглашаясь. А он лепил цитаты на цитаты, будто клал кирпичи без цемента.

— Мессер Джан-Голеацца Горгольо, — в пьяном забытьи перебил его однажды Листопадов и в испуге умолк.

Кричала Марина Ливанская. Никита Мехов такой и не видел ее. Она вскочила с ножом в руке и побледнела.

— Хватит! — вопила женщина. — Сколько можно?!

Подскочил Кокошин, словно его шилом ткнули, затрясся от злости и нетерпения.

— Заткнись! — противным тонким голосом завизжал он и вытянул щупальца, словно намереваясь ухватить Листопадова за горло.

Странным показалось Мехову то, что очень неглупый Листопадов не предвидел заранее, что этим и должно когда-то все кончиться, потому так растерялся, что на него было больно смотреть. А за столом сидело человек десять. Все завсегдатаи: неудавшийся оператор, который семь раз поступал в институт кинематографии, но не прошел творческий конкурс, молодой писатель-новатор, который создавал аллегорический роман из жизни дождевых червей, и его приятель, сумрачный тип, у которого отец работал в местном издательстве, две подружки Марины по работе, беспрерывно курившие с выражением постоянного понимания и сочувствия на лицах...

Вся эта публика уставилась на бедного Семена Лукича, который надоел им хуже горькой редьки, отчужденно, недовольно, даже злобно. Тогда поднялся Никита Мехов и бесцеремонно заявил:

— Вы не очень-то... Спрячьте клыки.

Эти слова подействовали на Марину Ливанскую, она поняла, что сорвалась, повела себя недостойно, что получилось некрасиво, и села явно с подавленным настроением. А кого-то Мехов задел.

— Что значит — клыки? — с угрозой спросил приятель романиста.

Ответь на вопрос — и начнется склока, народ-то обидчивый, битый и неустроенный, а он, Мехов, и при службе, и фильмы ставят по его сценариям. Чего болтается в этой компании? Может быть, в стукачах ходит? Очень на то похоже.

Не поглядев на спросившего, Мехов взял за руку Семена и вывел из-за стола.

— Идем, Листопадов.

Но тот уже очухался, уже гордыня взыграла, остановился в двери кухни, обернулся и спросил:

— Пропуска на студии у всех в порядке? Завтра приступаю к дежурству. Устроился вахтером.

С пропусками у этой компании было неважно, обычно на студию проводили друзья. Но не это озадачило братию. Новый избранник Марины Ливанской проявил себя с неожиданной стороны. О лошади в таких случаях говорят: попала шлея под хвост. Под грузом высоких и глубоких мыслей он постоянно пребывал в состоянии живого памятника, а тут вскочил со стула, стал по кухне ходить и все руки потирал, того и гляди ладони задымят. Марина Ливанская смотрела на него испуганно и восторженно, ожидая истинных слов.

— Вы понимаете?! — воскликнул молодой человек. — Это же... Нет, вы только подумайте! Вникните! Вообразите!

Если бы еще намекнул, во что нужно вникнуть и что вообразить, цены не было бы ему, но все гении на один манер — их надо разгадывать. И за столом

возникло некоторое замешательство, никто не знал, надо ли гнать Листопадова или восхищаться им. Все с большой надеждой смотрели на Максимилиана, так звали новичка. Вообще-то он был Максимом, но очень любил поэта Волошина, и потому чуть изменил свое имя.

— Пастухов! — воскликнул Максимилиан и застыл, воздев руки.

Пастухова за столом, естественно, не было, но все знали его и одинаково презирали. Такой бездари днем с огнем не найти, а он постоянно в работе. Никчемный человек, но великий подлиза. Так умеет ладить с начальством, что никто на студии этого искусства не может умом постигнуть. Даже директор дивится: пакость какая! И тут же запускает с новой картиной. А что делать? К чему придраться? В его фильмах все настолько правильно, что опасно критиковать.

— Подходит Пастухов, — пылал вдохновением Максимилиан. — А вахтер ему — ваш пропуск. У того глаза на лоб. А Листопадов — пропуск. Не узнаешь что ли? Пропуск. На тебе! Ваш пропуск не действителен. Тут нет пометки, что вы талантливый режиссер. С вашими способностями следует работать не на студии, а в общественном городском туалете, милейший. И... не пропускает.

Компания с немым восторгом уставилась на Листопадова, полные губы Ливанской трепетали нежностью, а глаза сияли несказанным светом.

— Феноменально!

— Идем, — потащил за руку Мехов Семена, который был уже готов простить изменщицу и занять пустой стул. — Не унижайся.

Они в тот вечер поехали почему-то на железнодорожный вокзал и проболтали там всю ночь, то шастая по округе, то сидя в зале ожидания среди сонных людей.

— Ты хоть понимаешь сам? — вопрошал Никита Мехов. — Все человеческие ценности теряют смысл, если придет бессмертие. Рушится государство, его система запугивания. Как человека наказать, если он бессмертен. Сколько ему лет тюрьмы дать? Чем его можно наградить? Он и так отмечен бессмертием. Ордена, медали, звания — все не имеет смысла. Это смертные хотят отличиться от других, оставить память о себе. А кто поставит монумент бессмертному? Какой в нем смысл? И все религии ни к чему. Зачем мне Бог, если я не умру.

В ту ночь Мехов говорил много, а Семен слушал и никак не загорался. Мехову казалось, что он понял его замысел, и за это благодарности ждал, а Листопадов повесил нос и глаза прятал.

— Ты для того свел людей на острове бессмертия, — толковал Никита Мехов, — чтобы усомниться во всех нынешних идеалах, а единственной ценностью признать Красоту. Вот, брат, на что ты замахнулся.

Терпеливо выслушав излияния Мехова, Листопадов тихим голосом сказал, дотронувшись пальцами до локтя собеседника:

— Они были свободны. Там, на острове... Если кому-то захотелось уйти, он это мог сделать запросто. Шагай себе назад, болото перейдешь по кладн, а за ним есть невидимая граница, переступил черту — и ты в царстве Времени.

Он помолчал, посопел, проводил взглядом толстую цыганку, что шла через зал к выходу, и добавил:

— Но никто из них не знал, сколько лет прошло. Может быть, давно его земной срок кончился. Перешагнул черту и все, пылинки малой от тебя не осталось. Вот в чем суть.

Листопадов вздохнул, словно освободился от главного и самого тяжелого груза, и продолжил:

— Я никому не рассказывал замысел до конца. Мои приятели не поняли бы меня. Им чем нравится... нравилось то, что я рассказывал? Они так понимали, что это вызов сегодняшней действительности. Для них Остров бессмертия — это противопоставление советской власти, вызов режиму. А я не против социализма. Я совсем о другом хочу делать кино. Совсем о другом? Мессер Джан-Голеацца Горгольо, военный трибун Публий Гельвеций... Это антураж, завлекалочка. А мне Фролов дорог. Сашка Фролов. Только он.

И неожиданно заключил:

— Есть земные ценности, без которых жизнь теряет смысл.

И дальше ничего не стал объяснять, а продолжил рассказ о Фролове, детство и отрочество которого прошли на окраине маленького старинного городка на высоком берегу Западной Двины ниже Смоленска, в деревянном доме в два яруса, под малиновый звон колоколов. Семья была большой: с дедушками, бабушками, с тетушками, со строгим отцом, артиллерийским полковником в отставке, с милой маменькой и пятью сестрицами. В начале юности Александр влюбился в дочь соседнего помещика, и ему казалось, что в мире нет ничего красивее имени Наташа. Вдоль прибрежной кручи стояли в ряд тополя и были вконец одряхлевшими, дуплистыми и мрачными, но никто их не валил, потому что еще помнили: их посадил прапрадед. Юная парочка встречалась у этих тополей и клялась в вечной любви друг другу.

В ту ночь Семен Листопадов рассуждал о своих придуманных героях, как о реальных людях, приводя в пример многие детали и подробности, столь значительные в отношениях молодых людей, показывающие подлинность и глубину их чувств. В ту ночь Семен Листопадов говорил только о любви. А Никита Мехов слушал и догадывался, что Семен Лукич сам влюблен. Но в кого? Не в Ливанскую ли? Однако выяснять не стал.

— Так о чем же твой фильм? — спросил Мехов, когда Листопадов умолк.

— Пошли по домам, — вздохнул Семен Лукич. — Я устал.

Назавтра Никита Мехов, придя на работу, увидел Листопадова возле турникета.

— Проходи, — сказал тот ему и не стал смотреть пропуск.

Оказалось, что Семен Лукич на самом деле устроился вахтером. Удалось ему это потому, что охрана была вневедомственной. Своим появлением в форме, при фуражке с синим околышем он сильно шокировал руководство студии и особенно Госкино. Его вызвали в партком, хотя он был беспартийным, долго и терпеливо беседовали, уговаривая уволиться, даже предлагали работу в документальном кино, однако Семен Лукич не согласился из принципа. Ему нравилось говорить самому директору студии:

— Предъявите пропуск.

Конечно, тот возмущался: куда это годится! Но Листопадов молча показывал на вывеску, которую повесили по приказу того самого директора, призывающую предъявлять документ при входе.

Мерно текли безликие семидесятые годы, про режиссера Семена Лукича Листопадова постепенно забыли, уже и привыкли видеть в мундире, а он оказался толковым на этой стезе, продвинулся по службе, стал главным над охраной, имел кабинет во флигеле, подписывал все пропуска, без его подписи никак. Теперь сам был большим начальником, бумажки на столе перебирал при случае...

Иногда он заглядывал в кабинет Никиты Мехова, и если выпадало время, они тихо беседовали о чем-нибудь. Как-то однажды пришел, сел на диван и долго молчал, глядя в окно, потом вздохнул:

— Вот же наказание!

— Да что такое? — участливо спросит Мехов.

— Не отпускает, — пожаловался Семен Лукич.

— Кто?

— Не кто, а что? — грустно улыбнулся Листопадов. — Привычка...

Он повздыхал, глядя куда-то в угол, и грустно рассказал:

— Подхожу к лестнице на второй этаж, к тебе собрался. А по ней спускается девушка. Ну, такая прямо... Слов нет! Бывают же! Я остановился на первой ступени, смотрю на нее. Девица прошла мимо, пахнув дорогими духами. А я стою, замерев. И — раз! — посмотрел назад. Она проходит через двойные двери и на миг отражается в стеклах. Какой кадр!

Он расстроенно замолчал, должно быть, горько сожалея, что никто, кроме него, не видел того чудного мгновения.

— Так всю жизнь, — пожаловался тогда Семен Лукич. — Все вижу в рамке кинокадра. Проклятье какое-то! Сколько, Никита, я этих своих фильмов перевидал! Уму непостижимо...

— Я помню... про тот остров...

— Что ты помнишь? Я никому не рассказывал тот замысел до конца. Вся-то суть — в конце.

— Расскажи.

— Да какой толк теперь!

Он поднялся и ушел, сославшись на неотложные дела.

* * *

Между тем, людская жизнь струилась себе тихо да мирно. Потом ту пору назвали «застоем». Подобно равнинной реке текла та жизнь, да вдруг забурлила, разрушая берега, будто порожистые места пошли, перекаты, падуны... На киностудию хлынули какие-то нувориши с деньгами, позанимали кабинеты, назвали офисами, компьютеры наставили, длинноногих девушек посадили за них, клепали картины десятками. Один такой новый русский пристал к Листопадову, прослышав про его давнишний замысел. Семен Лукич свою выгоду быстро усек: угощался коньяком да кивал головой, но, оказалось, до поры до времени.

Продюсер от него секса требовал. Красивые девки и парни на острове бессмертия... Чем им заниматься, имея столько свободного времени? Конечно, сексом. Только представить: вечный сексуальный карнавал. Это грандиозно!

Семен Лукич кивал головой, попивая дармовый коньячок, а потом поднялся и сказал:

— А не пошел бы ты подальше, чучело?!

— Ты что? — не понял продюсер. — Я тебе зеленью отвалю. Ты таких денег в руках не держал. Мне такая картина — во как! — нужна. Я на ней миллионы загребу. Не брыкайся.

Однако Листопадов не стал разговаривать со своим благодетелем и даже коньячком пренебрег. А ведь мог еще тянуть волынку ради халявы. Но не выдержала душа пошлого измывательства над его замыслом. Взбунтовалась.

Уже к более позднему времени относится одна обстоятельная история, которая круто могла поменять жизнь Семена Листопадова, и все к тому шло, да опять осечка вышла. И причиной того был он сам.

Однажды после обеда Семен Лукич по обыкновению обходил территорию киностудии, изрядную площадь, обнесенную забором, на которой находились

столярка, пилорама, склады, фильмотека, пошивочный цех, гаражи, ремонтные мастерские — разные хозяйства. Смотри, охрана, в оба и не зевай.

За отдельным проволочным ограждением устроили оберегаемую стоянку для личных автомашин своих сотрудников, и возле нее Лукич столкнулся с Виталием Погудаловым, который только что поставил свою «Волгу» и направился в сторону главного здания.

В другой раз обошлись бы кивками, а тут Погудалов почему-то остановился.

— Сильно занят? — улыбнулся Погудалов.

— Да нет.

— Зашел бы... У себя буду. Обойдешь владенья, загляни. Лады?

— Лады.

И они расстались.

Обратно Семен Лукич возвращался по коридору мимо комнаты, которую уже несколько лет занимал Погудалов, человек заслуженный и занимающий на студии далеко не последнее место. По творческим вопросам директор не принимал решений, не поговорив с ним, не посоветовавшись.

Начинал Погудалов в одно время с Листопадовым, оба запустились с картинами, один — с комедией, другой — с партизанской темой. И если Семена Лукича за его труды в дегте выкупали, то Погудалова наоборот — обласкали. Начальство до того было довольно молодым режиссером, что тут же выдало трехкомнатную квартиру и распахнуло перед ним широкие ворота: иди и твори.

Семен Лукич остановился возле кабинета Погудалова. Скорее всего, постоял бы и пошагал дальше, не видя нужды в разговоре, но тут подошел к нему Никита Мехов. Он как раз направлялся в ту же комнату. Узнав о приглашении, Мехов энергично схватил Семена Лукича за плечи и распахнул дверь.

В комнате было несколько человек из съемочной группы, которым режиссер давал поручения, но, увидев вошедших, воскликнул:

— Все! Разбежались!

Он выждал, пока все ушли, и обратился к Мехову:

— Как раз кстати. Помнишь, его замысел?

— Об острове? Как не помнить?

Погудалов, продолжая разговаривать с Меховым, усадил Семена Лукича на диван и отошел к письменному столу.

— Может быть, наступило то самое время, когда нужно делать такого рода картины, — убежденно рассудил он. — Мне постоянно долбят, что нужно делать коммерчески выгодные фильмы. А как это сочетать с искусством? Мне кажется, Семен, твой замысел попадает в десятку.

— Считаешь, что можно запустить с фильмом Семена Лукича? — заинтересованно спросил Мехов.

— Как нечего делать, — бросил Погудалов.

Погудалов двинулся к двери, решительно бросив:

— Идем к директору.

В кабинете директора было ощущение простора, потому что небольшая по размерам комната была очень скупо обставлена: письменный стол, стулья вдоль стен, узкий, как пенал, гардероб, вот и все. На голых стенах висела единственная репродукция в небольшой рамке под стеклом: излучина реки среди долины.

Хозяин кабинета был человеком невысокого роста, большеголовый, лысый, с худыми плечами и с брюшком, но при всем том не казался невзрач-

ным, и сразу располагал к себе. И тому причиной были, видимо, добродушное лицо и пронизывающая всю его суть простота. Этот человек едва ли умел хитрить и притворяться. Как он в начальники вышел?

— Явились за него просить? — догадался он.

Директор смотрел на Семена Лукича с веселым и даже озорным любопытством в глазах.

— Как порох в пороховнице? — спросил он.

— Сухой, — ответил Погудалов. — В этом смысле даю полную гарантию. Талант не умирает, а крепчает со временем, как вино.

— Ну раз, как вино, — добродушно отозвался директор и налил в стакан воды из стоявшего на подоконнике графина. — Тогда за здоровье! Давай сценарий. Деньги выбью только под хороший сценарий.

Шагая к своему флигелю, Листопадов не чувствовал ни радости, ни грусти. Он оттого был спокоен, что понимал: постановка фильма вполне реальна. Мечта, которая томилась в нем десятки лет, может осуществиться. И все те кадры, что преследовали его воображение, теперь перейдут на экран. Что еще нужно художнику? Ради этого он готов отдать остаток жизни. Сколько раз Семен Лукич уверял себя, что его непременно вспомнят, и ждал этой минуты! Вот и пришла она.

Но более самого счастливчика был взволнован Никита Мехов, теперь он каждый день заглядывал в кабинет Листопадова и спрашивал:

— Как подвигается?

— Вполне, — отвечал Семен Лукич. — Тьфу-тьфу!

Когда прошла неделя, Мехов завалился к Семену Лукичу с утра.

— Где исписанные листы? Отдам на машинку.

— Да понимаешь? — начал мямлить Семен Лукич. — По вечерам приходится... Днем же на работе.

Одной недели для написания сценария, конечно, было маловато, и Никита Мехов предложил хотя бы набросать расширенную заявку, в которой Семен Лукич эмоционально изложил бы суть истории. Мехов был готов бескорыстно помочь приятелю доработать вещь.

Но прошла еще неделя. Никита Мехов пришел к Семену Лукичу уже с некоторой опаской.

— Принес?

— Да понимаешь...

— Ты хоть садился за стол? — напрямик спросил Мехов.

— Я думал...

— Что тебе думать? Ты столько раз пересказывал. Наизусть помнить должен.

— Оно так, конечно. Но понимаешь, Никита? Не поверят.

— Кто не поверит?

— Люди. Зрители. Они другими стали.

— Во что не поверят?

Это было в середине девяностых годов. Много тогда появилось такого народу, что стремились бросить свою страну и уехать за бугор, видя там рай земной.

— Посмотри, что творится, Мехов. Это же кто? Это же потребители. Что им до моего замысла?

— Что ты хочешь этим сказать? — встревожился Никита Мехов.

— Замысел устарел. Нынче о душе думают только старики, а молодежь — о деньгах. Какая любовь? О чем ты? Нынче любви нет, есть только секс. Кошелек набит, купи красавицу. Товар доступный.

— Что ты такое городишь, Лукич? Причем тут все это?

— Да и поздно мне о любви... Старый холостяк, седой, хворый... Что я понимаю в любви?

— Причем тут любовь? — недоумевал Мехов.

— Да как причем? Вся-то суть в этой любви. Я разве тебе не рассказывал финал?

— Не удосужился!

— Так чего с тобой толковать? Ты же не знаешь, о чем я хотел создать кино.

— Растолкуй, будь милостив.

— Зачем? Что это даст? Говорю, устарел сюжет. Помнишь Марину Ливанскую?

— Ну, помню.

— Как-то случайно встретил. Бог ты мой! Какие мы другие стали! Даже по глазам видно.

— Да Ливанская причем, если тебе дают постановку?

— Когда-то, Мехов, я любил эту женщину. Я ради нее сюжет придумал. И ни разу не рассказал ей до конца. Боялся, что скажет: сентиментально. Тогда это было ругательным словом. А теперь поздно. Нас нет, прежних, остались тени.

— Дурак ты, Лукич. И пошел ты к черту!

Тогда Никита Мехов ушел от Листопадова очень рассерженным, а когда остыл, всерьез задумался над его словами: не поверят. Ему страстно захотелось выведать, какое же разрешение сюжета замыслил когда-то Листопадов, если и тогда не осмеливался рассказать и теперь опасается договорить. Во что теперешний зритель не поверит?

Все старания Погудалова и Мехова оказались напрасными, Семен Лукич долго отлынивал от постановки, а потом и вовсе стал сердиться при упоминании о ней.

После короткого бума в начале девяностых годов благодетели-спонсоры исчезли, отмыли деньги, успокоились и в кино больше не видели выгоды. Студия еле кряхтела, вымучивая в год две-три картины. Стало столько безработных режиссеров, что о Листопадове снова забыли и теперь уже навсегда. А между тем время не отдыхало, свое дело делало: поредели волосы, сморщилось лицо, появилась сутулость, годы тихонько укатали сивку... Семен Лукич так и не сумел создать семью, жил в однокомнатной квартире бобылем и стеснительно попивал. К Мехову заглядывал редко, а как-то признался, что уже не снится ему кино, не видятся кадры.

Потом Семен Лукич незаметно вышел на пенсию. Полгода или более того Никита Мехов не встречал его, а как-то видит: идет по коридору важный, шубу распахнул, руки в карманах, на голове — вязаная шапочка, на ногах — сапоги в раструб.

— Здорово, Никита!

— Здравствуй, Лукич!

— Как жизнь молодая?

— А у тебя?

— Мне с тобой некогда. Займи на пивко. Со спонсором встречаюсь. Надо угостить.

— Так на два пива?

— Давай на два.

Эти ссылки на спонсора повторялись несколько раз, потом Семен Лукич сменил пластинку и уже спрашивал, завидев Мехова:

— Как здоровье?

— Да ничего...

— Может, прихворал? Так я за твое здоровье выпью. Одолжи на пивко.

Прошло еще сколько-то времени, и Мехов случайно столкнулся на дворе студии с Мариной Ливанской. Всегда больно после долгой разлуки увидеть, как постарел давнишний знакомый, особенно — когда это женщины касается, да тем более — бывшей красавицы. Зло берет на природу, безжалостная госпожа все-таки.

— Никита!

— Марина!

Сели на скамейку под раскидистым каштаном, который только что распустился и стоял в зеленом наряде довольный и праздничный. Была вторая половина апреля, хорошее время, Мехов сызмала любил весну, словно в эту пору дремавшая душа выбиралась из берлоги и доверчиво принимала солнечную жизнь. Снова чему-то хотелось верить и возникало чувство ожидания неведомой радости или утешения.

— Сколько лет, сколько зим!

— Сильно изменилась?

— Отлично выглядишь!

Марина горько рассмеялась. Она была в старом платье, выцветшем и застиранном, в черных волосах проступила проседь, но более всего изменились глаза, в них было выражение недоумения и покорности, отражение бедности и безнадеги. Марину давно сократили, а была она способным монтажером, но пришла пора малокартинья, не к чему было приложить уменье, и она работала в какой-то столовой уборщицей.

— Хоть платят?

— Да ты что! Гроши...

— Поискала бы чего лучше.

— А что я умею? Мне кино снится.

— Это кто-то уже говорил...

— Листопадов. Семен Лукич.

— Точно! Давно видела?

— Утром расстались.

Мехов промолчал, уже догадываясь.

— Ты не слышал? — вяло удивилась она. — Мы вместе... Он пришел ко мне как-то. Говорит: давай будем сдавать одну квартиру. У нас же по однокомнатной. Вот и перешел ко мне.

— Я всегда знал, что он любил тебя.

— Да ну тебя, Никита! Любовь, страсти... Все это в прошлом. Что-нибудь пишешь?

— Нет, — честно ответил Никита Мехов. — Даже не знаю почему.

— Печали много, — пояснила Марина. — А мы привыкли делиться радостью.

— Может, оно и так, — равнодушно согласился Никита Мехов. — А помнишь, как Семен Лукич рассказывал?

Она минуту сидела молча, о чем-то думая, потом ясными глазами посмотрела на Мехова.

— Я только теперь его разглядела, — сказала Марина. — Вечный неудачник. Сколько его обижали! А хоть бы кого-то осудил. Удивляюсь ему. Честное слово! Вот есть люди, которые не умеют обижаться. Почему, Никита? Что это — сила? Или наоборот?

— Не знаю, Марина.

Она тряхнула коротко стриженными волосами и посмотрела на Никиту Мехова.

— Вот и поговорили. По душам. Побегу. Ты уж будь. Будь!

Она поднялась, пошла торопливо, словно убегала.

Уже осенью, спустя пять месяцев, Никита Егорович шел пешком из дома на работу. Дорога его проходила мимо пивной, что стояла в низине: небольшое помещение из пластика и стекла в окружении девятиэтажек. Дверь была открыта нараспашку, трое пропитых мужичков скидывались, мусоля мятые рубли, и были так сосредоточены, что не заметили бы конец света. Никита Мехов кинул на них случайный взгляд и отвернулся бы равнодушно, потому что настроение было хорошее, светило осеннее солнце и оттого казалось, что хоть и увядает природа, шуршат под ногами облетающие листья, а все — праздник, но тут он увидел Листопадова.

Семен Лукич, вальяжный и довольный, показался в проеме двери с двумя кружками пенного пива в руках. Он двинулся к круглой стойке на одной ножке, что была вкопана в землю. За ним следовали двое приятелей и тоже несли по две кружки пива. Алкаши, считавшие свои гроши, застыли с одинаковым выражением на лицах. Листопадов поставил кружки на стойку и сделал царственный жест. Он извлек из кармана купюру и поднял, не оборачиваясь, выше плеча. Один из алкашей кинулся к нему и двумя пальцами, оттопырив мизинец, снял вожделенную денежку.

Семен Лукич был в своей неизменной шубе из искусственного меха, в тех же шароварах и резиновых полусапожках, но без спортивной вязаной шапочки. От прежнего облака волос ничего не осталось на голове, словно дунул кто-то и одуванчик оголился.

Никита Мехов стоял посреди тротуара. Он раздумывал, стоит ли подойти, не помешает ли компании. И все-таки решился, двинулся к тройке, но в трех шагах остановился. Стоявший к нему спиной Семен Лукич напористым голосом говорил:

— Но еще до таинственного исчезновения мессера Джан-Голеацца де Горголье, а именно пятого марта триста девяностого года от рождества Христова, в правление римского императора Феодосия военный трибун девятого легиона четвертой когорты Публий Гельвидий был направлен во главе отряда на кораблях в далекую Сарматию.

Приятели восторженно, с великим пониманием слушали, попивая дармовое пиво. Живительная влага осчастливила их, по лицам было видно, что испытывали они в эту минуту райское блаженство. Никита Мехов отступил, потом повернулся и чуть ли не побежал, почему-то сутулясь и вобрав голову в плечи.

Уже ближе к весне Никита Мехов столкнулся в коридоре с одной из прежних работниц монтажного цеха, которую звали Таисией. Она оформляла свою пенсию, собирала справки и потому оказалась на киностудии, маленькая, худая и ужасно говорливая. Рассказала о себе, как живет-поживает, как устроились дети, как дела на даче и как растут внуки. Вспомнили общих знакомых и, конечно, Марину Ливанскую, с которой проработала не на одной картине.

— Она вышла за Листопадова, — сообщил Никита Мехов. — Слыхала?

— Чего же нет? — даже возмутилась Таисия. — Конечно. А знаете, что она его держит взаперти?

— Да как так?

— Сама рассказывала мне. Мы иногда видимся. Утром выгуляет, как собачку. Рядом у них скверик. Побудут на воздухе, и ведет домой. Ключи его спрятала. Закроет — и на работу. А вечером вернется, опять прогуляет.

— Как так можно?

— А как иначе. С головой у него плохо. Пенсию получит и дружков угощает. Домой ни копейки не приносит. А то еще из дому утащит. Продаст — и к дружкам. Вот и запирает его Марина.

Никита Мехов представил, как мается Лукич целыми днями один в квартире, как выходит на балкон, стоит часами на девятом этаже и смотрит вниз. А там продолжается человеческая жизнь, чужая, уже недоступная ему. Он взирает на нее, как будто уже вознесся на небо. И должно быть, приходит в его шальную голову мысль: перевалиться за перила, раскинуть руки и броситься с высоты, чтобы коснуться земли, по которой так много ходил.

Не может не приходить, потому что там, внизу, люди, которым он всю жизнь рассказывал свою мечту.

Узнав от той же Таисии, когда Марина гуляет со своим Семеном Лукичом в скверике перед домом, Никита Мехов оказался там и долго изображал удивление случайной якобы встречи. Марина попросила мужчин посидеть на скамейке, а сама побежала в недалекий магазин прикупить чего-нибудь к чаю. Когда остались одни, Листопадов уставился на Мехова с усмешкой на губах, глаза даже заблестели с неким озорством.

— Я знал, придешь, — сказал уверенно Семен Лукич.

— С чего решил, что приду?

— Я тебя знаю, ты любопытный.

— И что из того?

— А вдруг помру, и ты не узнаешь, чем кончилась бы моя картина. Угадал?

— Да я случайно тут оказался...

— Не ври. А я ведь тебе расскажу, Мехов. Фролов-то вернулся.

— Куда вернулся?

— Не врубился, вижу.

— Нет, нет, я понял, понял, — торопливо уверил Мехов.

— Там не было времени. Там никто не знал, сколько прошло минут, часов, дней, лет. Фролова окружали красивые девушки, он знал, что райская жизнь продлится вечно. Но он помнил свою Наташу. Мне важен был миг, когда Фролов подошел к роковой черте. За спиной — бессмертие, поверни назад и ты будешь вечно жить. А за чертой — Наташа. Девушка, которая ждет с войны героя. И он, Фролов, ее любит. И он перешагнул черту. Вот собственно, Мехов, о чем я хотел... Он перешагнул черту ради своей Наташи! На бессмертие плюнул... Перешагнул черту и превратился в древнего старика, потому что много лет прошло. Спросишь, почему он это сделал? Не по уму жил. Вот почему.

Из-за угла дома показалась Марина Ливанская с авоськой. И тут Семен Лукич заторопился.

Минуту посидев в раздумье, Семен Лукич улыбнулся и проговорил с грустным и с каким-то вроде застарелым удивлением:

— Что же такое любовь, если человек готов ради нее из рая вернуться на грешную землю?

— Отчего? — заволновался Никита Мехов. — Скажи, отчего ты решил, что нынешние люди не поймут поступка Александра Фролова? Ты же потому отказался от постановки фильма, что уверился: не поймут. Ведь так? Кто же они, Лукич, если не поймут? Зачем в природе такие люди?

Листопадов не успел ответить, подошла Марина Ливанская и пригласила Мехова на чай, но он сослался на неотложные дела и отказался.

А вот нынче Никита Мехов узнал последнюю новость о Семене Лукиче. Позвонила Марина Ливанская.

— Как исчез? — растерялся Никита Егорович.

— Если бы знала! — Марина была сильно огорчена и растеряна. — Сам он уйти не мог, ключа не было. И дверь не взломана. Как-то связался, видать, с прежними дружками, и они ему отперли снаружи. Ничего не взял из вещей, кроме одежды, что носил. Даже остатки пенсии не тронул. Значит, не в пивную побежал. Да я уже все вокруг обошла. Нет его нигде...

Не мог же он бесследно раствориться в воздухе, как мечтал.

— Куда он мог уйти? — спрашивала Марина.

Скорее всего, трезво подумалось Никите Мехову, что Лукич ушел в бомжи, и живет на какой-нибудь городской свалке, как на острове, среди подобных себе отщепенцев. По вечерам у костра он вдохновенно рассказывает:

— Второго ноября 1812 года корпус под командованием генерала Ермолова столкнулся с арьергардом отступавшей Великой Армии. Молодой артиллерийский подпоручик второй бригады Александр Фролов...

Марине Ливанской Мехов обещал, что подумает, где искать Лукича, и она положила трубку. Да вдруг и так пронзительно — вопреки логике! — Никите Мехову захотелось поверить, что Лукич ушел из города умышленно и добрался до того непролазного болота, а ему навстречу вышла из леса дивная дева...

И теперь он там, на своем острове. Пронесенный им через всю жизнь вымысел оказался и не фантазией вовсе, а правдой. Человек так долго и так преданно верил в мечту, что она стала явью. И в эти минуты среди изначальной и вечной красоты безобидный Семен Лукич стал молодым, потому что скинул старость, как ветхую одежду, и с пышной копной волос на голове снова похож на одуванчик. Ему хорошо на том острове. Не может быть человеку плохо там, где нет смерти.

И только печаль о нас может тревожить Семена Лукича Листопадова. Вот из-за той-то печали не выдержит рая Семен Листопадов и перешагнет заветную черту. Он вернется ради того, чтобы никто не сомневался, что жизнь сама по себе ничего не стоит, будь хоть вечной, если не пронизана любовью, как солнцем день.

А кому, как не смертным людям, важно об этом знать?

ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

На циферблате луны

* * *

Средь лозы селение,
С муравой, как шелк,
Для меня — вселенная,
Детства бережок.

Княжество удельное,
Омут, плес и брод...
Жизни нить кудельную
Тянет век, прядет.

* * *

Что ж, история не чает
В нем души, и без конца
На ноге наш век качает,
Как внучонка-сорванца.

С ним качается полсвета
В светлом зареве калин.
И не верится, что этот
Будет завтра исполин!

Ведро

Тяжелое, будто ядро,
В колодец, с ключами подземными,
Летит, словно в бездну, ведро
Под Оршей иль где-то под Зембином.

И смотрит в немой глубине,
Куда даже ветры не лазали, —
Их сколько, созведий, на дне
Горит вперемешку с алмазами!

Нырнет на песчаное дно,
Слегка углубленное фирмою.
С водой зачерпнет заодно
И ярких жемчужин с сапфирами.

И вверх, как с богатством ларец,
Гребется, из сил чуть не выбьется,
Покуда, вздохнув, наконец
Из тесного сруба не вырвется.

И поит гряду за грядой
В жарищу, что дышит со стонами,
Живою глубинной водой,
На звездах рассветных настоенной.

А утро глядит из дворов,
Как будто из собственной курии:
Висит над колодцем ведро,
А может, мензурка с микстурою?

* * *

Лучший друг, вихрастый воробей,
Посмотри: снег с неба валит валом.
А в тепле, на юге, спит Бомбей —
Мы с тобой там сроду не бывали.

Мы совсем не мастаки ловчить.
Но скажу, что нужно научиться —
Мне, как тетку, рифму залучить,
А тебе — заморскую жар-птицу.

И когда рассветный звездопад
Станет с неба сеяться покорно,
Пусть он сыпанет и нам, как брат,
Зерен для обычного прикорма!

Ветер стих и не гудит трубой.
Не роятся больше звезд алмазы.
Слово я даю, что нам с тобой
Повезет, как не везло ни разу.

И поверь, как другу, воробей,
Что под гул метели-молодицы,
Нам приснится чародей-Бомбей.
С рифмой — мне! Ну а тебе —
С жар-птицей!

* * *

Жуткой бессоницы бремя.
В соснах грачей колуны.
За полночь катится время
На циферблате луны.

Эти оставить бы страсти,
Да улететь бы с земли,
Чтоб до поры затеряться
В звездной далекой пыли.

Исторический эскиз

Отрясая дней листву,
Мне сдается, что Радищев,
Путешествовал в Москву
Как по давнем пепелище.

Грохотал он по мосту.
И, скажу вам по-секрету,
Каждую почти версту
Брал с собой и вез в карете.

Возвратившись в Петербург,
Сплошь с ухабами дорогу,
Наведя на всех испуг,
Он свалил царю под ноги.

Царь за дерзость не казнил —
Всякий может поскользнуться.
И с улыбкой пощадил —
Объявил его безумцем!

* * *

Когда метет по лозам
И не видать ни зги, —
Закручены полозья,
Как дуги, у пурги.

У стужи, как у рыси,
Бесшумная хода...
Сосняк, посторонися,
Вон мчится Коляда!

* * *

Каждый встречный, наверное, знает,
Чтобы выковать красоту,
Слово пламенем обжигают
И возносят потом в высоту.

Побывав в двух шагах от рая
И поверив, что дни сочтены,
С неба падают и сгорают
Звезды первой величины.

* * *

Вот Бог, а вот порог,
Царевна-недотрога!
Сухарь, а не пирог
Возьми с собой в дорогу!

У дальних берегов
В нем — хочешь иль не хочешь —
Найдешь сто пирогов,
Когда в ручье размочишь.

* * *

А облака — провидцы.
У них с жарой вражда.
Им хочется пролиться
Потоками дождя.

А хлынут торопливо —
Тревога не нова:
Покатятся ли с нивы
Хлеба, как жернова?

* * *

Если встретишь в пуще лешего,
С прибаутками, с проказами, —
Удивленья ни малейшего,
Ради бога, не показывай.

И не спрашивай ни отчества,
Ни как местность называется.
Это чье-то одиночество
Заплутало и — шатается.

* * *

Забудешь о всех перламутрах,
Когда через двор, словно дож,
У ставен, разбуженных утром,
Крадется на цыпочках дождь.

И прежде, чем тихо в воротца
Пройти и за угол свернуть,
К тебе он лицом обернется,
Картуз приподнимет чуть-чуть.

* * *

Мне нужна такая верность,
Надо мною не стоя́щая.
И твоя во мне уверенность —
Сто́ящая! Настоя́щая!

Что за годы было создано, —
Не чужое, не заемное.
Правда эта вот не звездная, —
Трудовая! Черноземная!

Перевод с белорусского автора.

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

Звездный час

Рассказы

Золотая рыбка

Жил Владислав Антонович Елисей со своей женой Мартой Тарасовной, урожденной Кологривко, в добротном доме (сталинский ампир, стены полутораметровой толщины, огромные окна) по улице Морской. Они жили вместе уже ровно двадцать лет.

Жизнь, до сей поры не трепавшая эту пару серьезными штормами, с целью испытать на прочность, и впредь не предвещала им волнующих перемен, хотя и большими неприятностями также не грозила. При желании спокойное существование можно было назвать тихим счастьем; кому-то, не исключено, такая жизнь могла показаться скучным штилем. Это как посмотреть.

Владислав Антонович, которого приятели вслед за Мартой звали Елисей, очевидно, принимая фамилию за имя, был то ли несостоявшийся музыкант, то ли не раскрывшийся журналист, пишущий на темы культуры. Возможно, даже в нем погибал писатель, которому мешал журналист-поденщик.

Опять же, как посмотреть.

Елисей родился в этом доме под номером один, и сколько себя помнил, жил на Морской, рядом с площадью Победы, недалеко от Свислочи (тем, кто бывал в Минске, конечно, известно это замечательное место). Вначале он учился в музыкальной школе, потом закончил музыкальное училище по классу баяна. Однако по желанию своего педагога, чудака и кудесника Савелия Соболевского, которого ученики за глаза уважительно величали исключительно по отчеству — Ерофеич — Елисей исполнял не столько народный репертуар, сколько баллады Шопена. И Елисей влюбился в музыку Шопена, что закончилось печально: баян он невзлюбил, а на фортепиано играть прилично так и не выучился. А вот Ерофеич на любимом инструменте исполнял любимого классика так, что даже известные эстеты-пианисты давно перестали кривить губы.

Когда пришло время выбирать, где молодому человеку из хорошей семьи (почитавшей сугубо мирные профессии, как-то: врач-оториноларинголог, настройщик музыкальных инструментов etc.) получать высшее образование, Елисей отчего-то подался на журфак, хотя к тому времени уже испытывал отчетливые симпатии к художественной литературе (да и она, кажется, склонна была отвечать ему взаимностью). В журналистике он, естественно, разочаровался, а с литературой все складывалось непросто: рассказы, подписанные Елисей В-в (что смотрелось изысканным псевдонимом), были даже напечатаны, а вот роман...

Он чувствовал в себе силы написать роман, даже название придумал вполне экзистенциальное, но тот отчего-то не писался. На вопрос близких знако-

мых «как дела?» он все еще бодро отвечал: «да вот, пишу роман, и не надо круглых глаз, я вас умоляю»; однако к тому времени, когда с ним случились из ряда вон выходящие события, то есть, к тому времени, когда они прожили с Мартой вместе уже ровно двадцать лет, он стал стесняться своего честного ответа все больше и больше.

На Марте Кологривко он женился по любви, как человек порядочный и способный на глубокое переживание. Однако это знаменательное событие (женитьба, сколько ни шути, шаг действительно нешуточный) произошло в тот самый момент, когда будущий муж стал втайне сомневаться даже не в глубине своего чувства, а в самом его наличии.

Тут бесцеремонно вмешалась судьба, заставившая Марту испытать чувство абсолютной уверенности в том, что она беременна; впоследствии это не подтвердилось, но чувство абсолютной уверенности, бывшее, как оказалось, родовой отметиной Марты, с того самого дня тихо раздражало Елисея.

Впоследствии подтвердилась другая печальная вещь: Марта не могла иметь детей. И это определило отношение Елисея к чадам: он опасался выяснить свое настоящее к ним отношение, чтобы не причинять себе боль. Что-то подсказывало ему, что не иметь наследников — не самая завидная доля. На нет и суда нет.

Неудачный роман с музыкой, сомнительный роман с Мартой, его женитьба, ее бесплодность, неоконченный роман «Ленивая фортуна» — все эти железные факты заставили Елисея признать наличие в этом мире судьбы. Так получалось, что его мнением не особо интересовались; его просто ставили в предлагаемые обстоятельства и не очень-то баловали свободой выбора.

Что ж, судьба так судьба, Елисей плакаться не собирался. Да и кому?

Решения судьбы обжалованию не подлежат.

Этим, собственно, и ограничивался круг знаковых событий из жизни нашего героя, который мог бы характеризовать его как личность.

Немного — да, однако не так уж и мало по нынешним временам.

На лестничной площадке третьего этажа, прямо напротив Елисея с Кологривко (жена, внучка легендарного комиссара, наотрез отказалась брать фамилию мужа), жила-была Злата, деловая женщина, которая держала цветочный бизнес, приносивший, судя по всему, немалый доход. Рыжеволосая с зелеными глазами бизнес-леди лихо разъезжала на джипе «судзуки» цвета «брызг шампанского» с золотым отливом (хотя еще год назад у нее был не менее новый джип «тойота» цвета «пожухлой травы»). С мужем она была разведена и с удовольствием воспитывала ненаглядную дочь Марусю, которая посещала ту же музыкальную школу, в которой когда-то учился Елисей. Девочка брала уроки игры на флейте, параллельно осваивала саксофон, обожала английский бильярд снукер (тут их интересы с Елисеем неожиданно пересекались: он мог часами по телевизору наблюдать за хитроумными комбинациями с шарами; Марта, к сожалению, любила невысокого класса бокс).

Злата тоже всю жизнь прожила в доме номер один. Она, конечно, знала Елисея, и Елисей, разумеется, не мог не знать Златы; но она была на десять лет моложе него и принадлежала уже к другому поколению, у которого были иные взгляды на жизнь. Когда они случайно встречались во дворе или на лестничной площадке, то общались, словно древние приятели, иронично и снисходительно (этот язык устраивал оба поколения).

— Как дела, господин Елисей? Пишете короткие рассказы? Про любовь? Читала, читала...

— Краткость глупости не помеха, — как-то лихо и находчиво отвечал Елисей. — Более того, это оптимальная форма существования глупости. Я вот роман пишу, вырос из коротких штанишек...

— Скажите на милость... Я человек простой, современные романы не читаю. Тоже про любовь, полагаю?

Аромат ее духов, которым она хранила трогательную верность, волновал Елисея, ее стриженая шубка казалась ему верхом изящества и вкуса. Ее зеленые глаза искрились, в них нелегкомысленно плескалась какая-то стихия, которая умопомрачительно притягивала Елисея и, скорее всего, была ему необходима, как витамин; в этих глазах он угадывал вещество, из которого должен был состоять его выдохшийся роман, — нечто из боли и света. Но как человек порядочный, он не позволял себе лишнего даже в мыслях, даже в воображении (хотя тут он не был хозяином до такой степени, как в мыслях). «Эта тема» представлялась ему сладким омутом, гибельно кружащим голову простым парням. Он интуитивно избегал боли и несчастий.

— Вам бы, русалкам, все про любовь.

— Конечно. Иначе зачем жить на свете? Просвети меня.

— Не знаю. Вот допишу роман — скажу.

— Буду с нетерпением ждать.

— Придется мне отложить все дела и ускориться... Неловко заставлять женщину ждать. Тем более, такую женщину, мечту прозаиков...

После милых, ни к чему не обязывающих диалогов (хотя и он, и она говорили искренне и серьезно: он готов был поклясться в этом; как-то удавалось им совместить легкость и содержательность, и это была их маленькая тайна), он особенно отчетливо понимал, что никогда не напишет роман, ради которого, возможно, был рожден на свет. Не судьба.

Про себя он называл ее не русалкой, а Золотой Рыбкой. Вряд ли по причине пристрастия ее к ярким цветам. Скорее всего, из-за любви к свободе и независимости, которую он, возможно, ей приписывал.

Она открывала свою дверь, он — свою, они расходились с одной площадки в разные жизни, и у него в ту же секунду, словно по мановению волшебной палочки, гасли глаза и пропадал дар речи (это приходило как физическое ощущение). Навстречу, словно сонный сом из аквариума (комнатные кактусы и пальмы смотрелись буйными водорослями), выплывала блеклая Марта в заношенном халате («Купи новый, наконец!» — «А чем тебя этот не устраивает?»), мысли не хотели формулироваться, разбегались, чувства отказывались возгораться, и его светлые ум и душа выражались в скучных вопросах: что у нас на обед? что у нас на ужин?

— Ужин, ужин... Ужин нам не нужен, — говорил Елисей и ел почему-то, больше, чем ему хотелось.

Он так и не научился образовывать от строгого «Марта» уменьшительно-ласкательные глупости. Просто говорил: «купи новый халат» или «что у нас на обед». Когда злился, называл ее Марфой-посадницей (хотя плохо представлял себе, что значит «посадница»).

Елисей был бы весьма удивлен, если бы ему сказали, что он живет не свою жизнь или что он несчастен. Во-первых, от судьбы не уйдешь, а во-вторых, счастье есть отсутствие несчастий.

Все сходится. Жизнь — его. Что касается скуки...

Это как посмотреть. Да, он тосковал по запаху духов Золотой Рыбки, иногда специально под надуманным предлогом выходил на лестничную площадку, чтобы насладиться глотком воздуха, в котором уже было или вскоре будет растворено запретное горьковатое амбре, а то и просто посмотреть на

ее недавно поставленную особо прочную дверь; да, душа порой ноет и плачет — на то она, вероятно, и душа.

Но кто сказал, что Золотая Рыбка — для него?

Кто сказал, что ей, такой успешной, блестящей и свободолюбивой нужен человек с мутной судьбой?

Кто сказал, что она сможет полюбить его? Кто сказал, что он любит ее?

Кто сказал, наконец, что позволительно бросить Марфу после двадцати лет совместной жизни?

Кто сказал?

Они пережили бездетность и смирились с нею, а эта беда особенно сближает; они породнились уже настолько, что живут одной кровеносной системой, хорошо ли, плохо ли, но живут одной жизнью.

И у него, конечно, хватит силы воли избежать соблазна. Никаких омутов, никаких русалок, никаких сказок. Зачем смущать себя несбыточными мечтами?

Наверное, у каждого на дне души запрятано что-то глубоко личное, врожденно-печальное, что выразить смог только Шопен; но жизнь мало похожа на праздник, на «брызги шампанского». Разрушить надежный причал можно очень быстро; но кто даст гарантию, что скука тут же не будет вытеснена болью и несчастьем?

Судьба гарантий не дает; она просто указывает тебе место.

Все. Хватит. Точка.

Однажды сырым февральским днем (с привычно серого неба сыпал мокрый снежок, но утром — впервые за зиму! — тонко и вовсе не робко исходили писком какие-то птахи, продолжительно и призывно: то был недвусмысленный глас весны) Елисей собрался на работу.

Он вышел на лестничную площадку, вдохнул в себя теплый воздух (горько?) и тут же насторожился. Внимание его привлек не свежий запах духов, а звуки, доносившиеся из квартиры Золотой Рыбки. Оказывается, он всегда прислушивался и к звукам, но, кроме слабого стенанья саксофона, мучившего репертуар Битлов, ничего другого он никогда не слышал: толстые стены надежно хранили тайны хозяев.

В этот раз было иначе. Тупой стук сопровождал энергичную возню, напоминавшую драку. Елисей замер. Ему почудился сдавленный стон. Вновь борьба. Какие-то удары. Опять придушенный вопль. Потом все стихло.

Звуковой образ драки стоял в ушах. Елисей в нерешительности потоптался возле своей двери.

В этот момент внизу раздались шаги на лестнице (в доме старой конструкции лифт был не предусмотрен). Вскоре показалась шапочка с помпоном бодро марширующей Маруси. В ее руках был футляр от флейты.

— Здравствуйте, дядя Владислав, — сказала она, беспричинно улыбаясь.

— Привет джазбэнду, — тихо ответил он.

Она уже приготовила ключи, чтобы отпереть дверь.

— Подожди, Руся, — он обратился к ней так, как это обычно делала мать.

Она удивленно вскинула на него глаза. Он поманил ее указательным пальцем. Она подошла.

— У вас дома кто-нибудь есть?

— Да вроде никого, мама на работе. А что случилось?

— Мне показалось... Глупость, конечно... Там что-то не так. Руся, ты открой дверь, но не закрывай ее, а я постою рядом. Войдешь, убедишься, что все в порядке, потом вернешься и закроешь за собой дверь.

Во взгляде Руси появилась недоверчивость. Елисей неожиданно проявил напористость:

— Руся, ты должна мне верить. Я ведь знаю тебя с пеленок, ты была белобрысым мальком. Я только что слышал крики из вашей квартиры. Ну, хочешь, я Марту позову?

Она, ни слова не говоря, подошла к двери.

— Давай, я подержу твой инструмент.

Она молча передала футляр.

Бесшумно сработал замок, и она, не входя, открыла дверь настежь. На пороге стоял крепкий парень в наглухо застегнутой на молнию куртке и перчатках. Продолговатую голову его венчала толстая вязаная шапочка, и застывший парень — гладкое лицо, узкие глазки — напоминал лакированного оловянного солдатика с желудем на плечах. Хрупкая Руся шагнула назад и прижалась к Елисею.

По тому, как окаменела его маленькая соседка, Владислав понял, что она не знакома с гостем. Парень молчал и, очевидно, не расположен был к общению.

— Здравствуйте, — сказал Елисей.

— Проходи, — бросил лакированный солдатик с гладким лицом не ему, а Русе.

— А кто вы, собственно, будете? — на этот раз Елисей не собирался сдаваться.

— А вы?

Парень заметно растерялся и выигрывал время, не зная, что предпринять.

— А мы — соседи, — сказал Елисей и с вызовом надавил на кнопку звонка в свою квартиру.

В этот момент солдатик, который действовал явно не по плану, а по обстоятельствам, бросился на него, и Елисей, едва ли не в первый раз в жизни, удивил сам себя. Ребристым футляром он расчетливо врезал нападавшему в лицо по линии нос-губы-подбородок. Тяжеленькая флейта выскользнула и со звоном покатилась по бетонному полу. Это словно придало сил Елисею: он быстро ткнул неловко сложенным кулаком в желудь под шапочку и костяшкой попал точно в глаз. Парень опешил, и в этот момент Елисей, дивясь своей управляемой хладнокровной ярости, схватил его за плотно облегающую куртку и швырнул к лестнице. Уже в движении парень ухватился за дубленку Елисея, и они кубарем покатились вниз, с хрустом пересчитывая все десять ступеней пролета. Елисей вскочил, будто гуттаперчевый (он сгруппировался так удачно, что не получил ни ушиба, ни царапины: это был его день). Парень остался лежать. Его глаза были закрыты. Сверху на них, будто два ангела, смотрели Марта и Руся.

Скорая и милиция приехали одновременно. У солдатика с желудем пульс уже пропадал, с многочисленными переломами ребер и черепно-мозговой травмой его срочно забрали в реанимацию.

Злате тоже досталось: желудь избил ее — удары по печени, по почкам должны были деморализовать «объект» — и привязал к стулу, залепив рот скотчем; она страшно испугалась за Русю и не отходила от нее ни на шаг.

Едва ли не больше всех пострадала невинная Марта, последствия шока были печальны: у нее отнялись ноги.

На победителя Елисея завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Молодого следователя почему-то интересовал не столько бандит, который требовал у Златы кругленькую, не с потолка взятую сумму (узкоглазый

желудь добросовестно «работал по объекту»: неделю выслеживал ее, был в курсе всех нюансов ее бизнеса; он хорошо представлял, чего следует добиваться в данном случае), сколько отвлеченный вопрос: превысил ли Елисей допустимые меры обороны или нет?

Предварительно получалось, что превысил: парень был в коме, а Елисей отделался легким испугом, в результате чего резко повысилась его собственная самооценка (хотя последнее к делу не пришьешь). Подследственный защищался — да, несомненно, это доказано; однако по факту жизнь нападавшего оказалась под угрозой. Один участник инцидента здоров, а второй — едва жив. Это твердо установлено. Как отделить человеческий фактор от юридического?

Очень вредил Елисею злополучный футляр от флейты, ставший вещдоком: получалось, что нападение на бандита было едва ли не спланированным, чуть ли не умышленным. Элемент неожиданности, спонтанности, который послужил бы очень и очень смягчающим вину обстоятельством, становился козырем желудя, который неожиданно из агрессора превратился в жертву.

Стоит ли говорить, что Елисею пришлось не сладко; но — странное дело! — он вовсе не падал духом, поражая и Злату, и себя обнаружившейся в нем внутренней силой. А ведь ему грозила тюрьма. Реальный срок.

— Да ты мужик, королевич Елисей, — сказала ему Злата. Она попросила его «по-соседски» зайти на чай.

— Ну, что ты... Я всего лишь автор коротких рассказов. Самую чуточку — акула пера. Да, и мастер единоборств на лестнице, как выяснилось. Новый вид, однако: флейтой по фэйсу.

— Вот что, автор, умирающий от скромности. У тебя будет лучший адвокат. Мы выиграем дело, чего бы это нам ни стоило. Ясно? А за Руську я тебе по гроб жизни буду благодарна.

— Флейту жалко.

— У нее уже новая флейта, не беспокойся. Лучше прежней. Что касается Марты Тарасовны... Нужные лекарства мы ей достали. Ей необходим хороший санаторий — через месяц она выедет на лечение. В Австрию. Через час ей привезут инвалидную коляску. Мне очень жаль. Я всегда рада буду помочь, мастер. Как продвигается роман?

— Думаю, все не так безнадежно. Он пишется.

— Ты молодец, королевич.

— Спасибо за правду. Люблю объективность.

— Я тобой горжусь.

— А я... Очень вкусное печенье. Спасибо, Злата.

— Где ты был? — спросила Марта.

— У Златы.

— Ненавижу ее, — сказала Марфа-посадница. — Она превратила мою жизнь в ад.

— Марта, потерпи, все наладится. Сейчас тебе привезут инвалидную коляску. Она оплатит тебе санаторное лечение.

— Ненавижу! И чтобы ты к ней больше не ходил!

— Марта! Держи себя в руках.

— Я бы посмотрела, что бы ты запел на моем месте!

— Марта!

— Я бы посмотрела, что бы она запела на моем месте!

— Марта!

— Что ты раскаркался, как попугай! Попроси, пусть лучше она нам дверь входную установит, такую же, как у нее. Десять степеней защиты. Я теперь всего боюсь, каждого шороха.

— Мы сами в состоянии поставить себе дверь.

— Нет, пусть это сделает она. Кто у кого в долгу? Вот пусть и раскошеливается! Знаешь, сколько стоит такая дверь? Знаешь? Я специально узнавала...

— Марта! Марта!

— И чтобы к ней больше ни ногой!

— Как же я буду выпрашивать у нее дверь? А?

— Ни ногой!

Через месяц Марта улетела в Австрию, где ей предстояло обследоваться у лучших специалистов.

Только после того, как он остался один, Елисей понял, что Марта его жизнь превратила в ад. Очевидно, она принадлежала к тем людям, которым для полного счастья не хватает только тяжелой, в идеале неизлечимой болезни: с ее помощью терроризировать своих близких одно удовольствие. В этой ситуации она чувствовала себя как рыба в воде. Быстро адаптировавшись, она превратилась в заправского деспота и стала повелевать Елисеем так, словно он, беглый каторжанин, был ей кругом должен, и теперь всю оставшуюся жизнь ему надлежало находиться у нее в услужении. Он мог разве что сменить одну тюрьму на другую, если повезет, конечно.

Возможно, именно поэтому предстоящий суд Елисея не страшил; возможно, была еще причина. Хотя шансы его попасть в другую тюрьму, надо отдать должное Злате, ухудшались день ото дня. Адвокат работал не покладая рук.

Вечером Елисей, как и обещал, зашел к Злате на чай (собственно, последнее время он делал это каждый вечер, «по-соседски»).

Они быстро, без лишних слов и эмоций, обсудили мелочи, которые могли возникнуть в процессе судебного разбирательства. Злата ориентировалась в деталях не хуже адвоката. Видно было, что она принимала близко к сердцу эту несправедливость судьбы: как же так, благородную жертву перепутали с палачом!

Вообще, она была очень внимательна к деталям: на столе стояло то же печенье, которое вскользь похвалил Елисей, чай был заварен именно так, как нравилось Елисею (он бегло отметил отменное искусство подавать чай в меру крепким и горячим — и вот теперь все повторилось точь-в-точь, как в прошлый раз). А самое главное — на ней было то самое облегающее платье в блестках, напоминавших чешую золотой рыбки, платье, которое так понравилось Елисею, хотя он ни словом не обмолвился об этом. И вдруг...

— Нравится платье? — спросила Злата.

— Да, — сказал он, не поднимая глаз. Он никогда не смотрел на то, что ему очень нравилось.

— Почему же ты не смотришь на меня?

И Елисей покраснел как маков цвет: так он полыхал единственный раз в своей жизни — тогда, когда Марта сообщила ему о своей беременности. Странно, но только сейчас он с грустной обреченностью понял, что Марта откровенно соврала: она элементарно поймала карасика Елисея на голый крючок. Расчетливо и цинично. Раньше он боялся называть вещи своими именами так откровенно и грубо (нельзя, нельзя плохо думать о человеке,

с которым бок о бок проживаешь свою жизнь: прежде всего, это неуважение к себе). Он приучил себя к мысли, что, скорее всего, не до конца постигает странные (кто поймет женщин!) мотивы ее поведения.

И вот сейчас, рядом со Златой, он почувствовал, что на свете есть *другие женщины*, по крайней мере, есть одна другая, которая не будет ему умышленно лгать, не станет своей болезнью корить направо и налево, заставлять при каждом удобном случае испытывать чувство вины. (Плохо так думать, но мысль отогнать было уже невозможно: у Марты действительно парализовало ноги или она симулирует болезнь?)

— Она превратила твою жизнь в ад? — спросила Злата, и Елисей вовсе не удивился ее вопросу: он уже был уверен — она и есть *другая*, то есть нужная ему, его женщина, которая понимает своего мужчину без слов.

Поэтому он сказал не то, что должен был сказать приличный и воспитанный человек, не то, что должен произнести мужчина в его положении, не то, что ей приятно было бы слышать, — словом, не то, что сохраняло бы дистанцию между ними.

Напротив, с его губ сорвалось:

— Я тебя люблю, Золотая Рыбка.

И в ответ услышал то, что запрещал себе слышать даже в самых отважных фантазиях:

— Сними с меня платье. Смелее, королевич.

Ее тело оказалось теплым и желанным, а его руки — уверенными и нежными.

Три дня и три ночи, длившиеся дольше, нежели вся предыдущая жизнь, пролетели как одно мгновение.

— Завтра суд, — сказала Злата. — Рассказать тебе анекдот?

— Расскажи.

— Дело было в аквариуме. Одна золотая рыбка спрашивает у второй: «Как ты думаешь, есть Бог или нет?»

Та отвечает: «Не знаю. Но кто-то же меняет нам воду в аквариуме...»

— Забавно, — отозвался Елисей. — Только это не анекдот, а притча.

— Может, и притча. В жизни все так перепутано...

И был суд, и суд был справедливым, и Елисей оказался на свободе со своим счастьем. Произошло это в десять часов утра первого апреля.

Судьба, кажется, иначе стала относиться к Елисею (или Елисей — к судьбе?).

В этом предстояло разобраться. Судьба и здесь не стала ничего откладывать: к вечеру первого апреля вернулась посвежевшая Марфа. Достаточно было посмотреть на нее, чтобы убедиться: ей стало значительно лучше, но она пока не вставала с коляски (что выглядело даже несколько противоестественно). Правда, Елисею в какой-то момент показалось, что в приоткрытую дверь ванной он увидел *пустую* коляску.

С этой секунды ему стоило больших трудов побороть соблазнительный зуд подсматривать за ней. Он начинал злиться то ли на себя, то ли на Марфу, то ли на весь белый свет. Марфа была дома только час, а казалось, что целых бесконечных шестьдесят минут.

— Может, стоило бы позвать Злату? Мы бы отметили твое выздоровление. В конце концов, надо поблагодарить ее.

— Мое выздоровление? Кто сказал тебе, что я здорова? Речь идет об улучшении состояния, не более того.

— Воля твоя, но я бы позвал Злату. Иначе нехорошо получается.

— Я не желаю видеть эту выдру, из-за которой потеряла свое драгоценное здоровье.

Елисей испытал прилив такой испепеляющей, лютой злобы, что даже обрадовался: с такими чувствами вряд ли он сможет жить с Марфой дальше. Не судьба?

— Как можно винить человека в том, что со всеми нами произошел несчастный случай? В чем ее вина? Она помогла тебе от чистого сердца, заметь, по доброй воле; она меня из тюрьмы вытащила...

— По-твоему, теперь мы должны этой миллионерше всю жизнь в ножки кланяться? Жили себе, горя не знали, и тут — воровку грабят... Может, благодетельница сама все это и подстроила. А ты, как лопух, все за чистую монету принимаешь.

Елисей в полной мере чувствовал себя обитателем ада. Душившая его ненависть не могла скопиться за час; очевидно, она подспудно тучнела в нем двадцать лет и вдруг взяла за глотку. Приступ хладнокровной ярости, частично истраченный в схватке с желудевым парнем, просто сотряс Елисея.

Но Марфа хорошо знала своего мужа, — гораздо лучше, чем он сам.

— Ты хочешь ее видеть? Зови, — смиренно заявила она.

Он развернулся и вышел из комнаты. Остановился перед зеркалом. Глядящие на него в упор глаза спросили: «Что теперь будем делать с аквариумом?»

На следующий день, вернувшись работы, он застал Злату и Марту, мирно беседующих за чаем на кухне у Елисея.

— Вы поставите нам такую же входную дверь, как у вас? — простодушно привередничала Марта, приглашая Елисея к разговору. — Мой муж сказал мне, что просил вас об этом, и вы обещали заменить нам дверь. Это так мило с вашей стороны. После всего того, что я перенесла, и после того, что сказали мне врачи, имею ли я право попросить вас еще об одной услуге... Это будет единственная моя просьба...

— Конечно, конечно, я сделаю все, что в моих силах, Марта Тарасовна.

— Вряд ли я когда-нибудь встану с инвалидной коляски, вы меня понимаете? А если все же встану, то при определенных условиях. Мне надо забыть пережитый кошмар: желательно сделать ремонт, поменять обои, мебель, даже одежду. Так сказать, сменить среду обитания. Так рекомендуют лучшие врачи. Мы люди небогатые, боюсь, мы не осилим перемены в таком объеме. Вы меня понимаете?

Марфа говорила, Золотая Рыбка сдержанно кивала.

Потом Злата поблагодарила за гостеприимство и ушла, не глядя на Елисея.

Под тяжелым взором Марты Елисей так и не поднял своих глаз.

Через неделю Елисей увидел возле двери Златы ухоженного мужчину, распространявшего вокруг стойкий запах дорогого парфюма, — по иронии судьбы, гладковыбритого и узкоглазого, только не молодого, а уже в годах. Он с удовольствием блокировал и разблокировал замок, наслаждаясь работой затейливого механизма. Заметив внимательный взгляд Елисея, он миролюбиво пояснил:

— Я ваш новый сосед, человек смирный и одинокий. Прошу любить и жаловать. У вас, я вижу, такая же дверь. Замок надежный?

— А где же Злата?

— Бывшая хозяйка? Она в срочном порядке продала мне эту квартиру. Очевидно, поменяла место жительства. Это все, что мне известно. Очень милая женщина, не правда ли?

— У нее был скверный характер, — на пороге их квартиры стояла Марта Кологривко в новом лиловом халате. — А замок надежный. Нам нравится.

В ее голосе звучали нотки абсолютной уверенности.

Владислав Антонович Елисей рассмеялся от души. Его супруга, словно расслышав нотки фальши, изумленно повела бровями.

— Знаешь ли ты, Марта Кологривко, кто меняет воду в аквариуме?

Брови поднялись еще выше.

Новый сосед ничему не удивлялся.

Звездный час

— Зачем он это сделал? — правдоискательски спросил Захар.

Уж если он задавал вопрос, то от пытливого молодого человека невозможно было отвязаться.

— Зачем бывший летчик поставил своему ученику неудовлетворительно? — уточнил я.

— Нет, зачем летчик добился того, чтобы его ученики в обязательном порядке читали «Маленького принца»? Он хотел, чтобы люди стали лучше?

— Не думаю. Скорее, он хотел подчеркнуть значимость того, что совершил он сам.

— Этот летчик действительно считал тот бой важнейшим событием своей жизни?

— Ничего более значительного в его жизни не произошло.

— Забавно.

— А что произошло в твоей жизни? Вот если бы ты сейчас писал мемуары — чем бы ты удивил мир?

Мы сидели на просторной кухне, где еще можно было ощутить сырой запах бетона, и неспешно чаевничали, можно сказать, отмечали мое новоселье. Пирожные, чай, в который мы добавляли ароматный бальзам. Одинокая роза в керамическом горшке на подоконнике, которую я постоянно забывал поливать (в окно на кухне на уровне одиннадцатого этажа врываются тревожные закаты, которые я не люблю, вот и страдает ни в чем не повинный цветок). Чем не новоселье?

Мой собеседник, Захар Замухрыго, утверждавший, что доктор Живаго, небезызвестный персонаж скучного романа, списан с его предка, явно пытался сосредоточиться.

Захар когда-то был моим студентом, любопытным и нерадивым филологом одновременно. После окончания университета он сменил десятка два профессий: от редактора желтой газетенки и экскурсовода до мастера-плиточника. Очень любил путешествовать, как всякий человек, пытающийся убежать от себя. Первое, что он оценил в моем новом жилище, — неровность стен и сомнительное качество отечественной плитки. Он долго покачивал головой, то ли как неподкупный эксперт, то ли как фарфоровый китайский болванчик. Продолжительность и многозначительность покачивания, судя по всему, должны были намекать на необратимость произошедшего. Потом промычал что-то нечленораздельное, очевидно, чрезвычайно деликатное по содержанию; смысл послания, надо полагать, сводился к тому, что, дескать,

не хочу расстраивать уважаемого профессора и без пяти минут счастливого отца, но стены...

Все эти раздражающие простонародные ужимки, которых я терпеть не могу, сегодня на меня не действовали. Подобные ужимки породили жанр притчи, не сомневаюсь в этом. Ведь что такое притча? Это долгое и многозначительное покачивание головой. По поводу и без оного.

Мою жену (вторую; с первой, которая едва не добила меня своей эгоистической любовью, я давно развелся, что, безусловно, записал себе в актив) забрали в роддом, она вот-вот должна была родить. Захар зашел ко мне вернуть старый должок: толстую книгу «Маленький принц», которую он держал у себя лет пять. Тоже поступок из серии загадочных: ты либо верни вовремя, либо вообще не приноси, казалось бы. Но Захар всегда найдет, чем удивить: пять лет мы не возвращаем, но и не забываем; мы колдуем над книгой, неспешно усваиваем сакральные смыслы... Мы выше суеты, мы слышим шорох растущей травы и звон падающей звезды.

Несмотря на приступ великодушия, я не удержался и рассказал Захару историю, которую вычитал недавно в интернете. Бывший немецкий ас, летчик «Люфтваффе», после войны переквалифицировался и стал человеком исключительно мирной профессии, а именно: учителем литературы. Он буквально насаждал добро: заставлял своих учеников читать «Маленького принца» много раз. Однажды он, взбешенный, поставил своему нерадивому ученику низшую оценку за то, что тот не знал дату гибели Сент-Экзюпери, которую все должны были знать назубок: 31 июля 1941 года.

Став инспектором образования в своей федеральной земле, бывший летчик активно содействовал тому, чтобы повесть-сказка с картинками автора была введена в школьную программу в качестве произведения для обязательного изучения. Это было в самом начале 1960-х, многие недоумевали и даже оказывали сопротивление бывшему учителю литературы в его начинаниях. Преклонение инспектора перед легендарным французом и его повестью также стало легендарным.

Наконец, в своих мемуарах бывший ас раскрыл тайну: 31 июля 1941 года где-то между 22.00 и 23.00 на Лазурном берегу ему удалось подбить французский самолет-тихоход. Это был самый значительный, можно сказать, звездный час в его жизни: он сбил самого Антуана де Сент-Экзюпери. Того самого, великого автора знаменитого «Маленького принца». Вот кого он сбил. И ему хотелось, чтобы как можно больше людей узнало о том, какой подвиг совершил г-н инспектор во времена своей боевой молодости. Какую глыбу завалил — вот, оцените, почитайте повесть о благородном принце...

Замухрыго надул губы и стал покачивать головой: вероятно, перебирал в уме события своей жизни, которые можно считать главными. Очевидно, выбор был велик, потому что покачивание затягивалось.

— Я посадил дерево, — наконец изрек он. Явно в стиле Маленького принца, все понимающего не так. — Да, дерево.

— Баобаб? — уточнил я. Во всем люблю ясность.

— Нет. Клен, кажется.

— И еще ты построил дом. И обложил его плиткой. Не надо скромничать, — сказал я.

От Захара последовательно ушли три жены, превратив его спальню в проходной двор, поэтому тему сына я решил не затрагивать.

— Да, пожалуй, дома три я построил, — промолвил он после паузы (очевидно, считал: точность — это честность мыслителей) и по-утиному вытянул губы. — Вот этими руками.

С чувством юмора, как у всех склонных к серьезной задумчивости людей, у него было туговато. Ладони его, самая востребованная часть существа, были широкими и грубоватыми.

— Захар, а тебе не приходило в голову, что дерево — это всего лишь дерево? А дом — это всего лишь кирпичи, замаскированные холодной плиткой. А?

— На что ты намекаешь, профессор?

Он был единственным из моих бывших студентов, и ныне поддерживающих со мной отношения, кто позволял себе обращаться ко мне на «ты» и получать при этом некоторое «заслуженное» удовольствие. Меня и этот пустяк — «ты» свысока, откуда-то снизу — сегодня не раздражал.

— Да я не намекаю, я прямо говорю: пиломатериалы и глина не имеют отношения к жизни человека. Это не те события.

— А что имеет отношение — рождение ребенка?

На сей раз губы вытянулись в подобие горьковатой и беззащитной улыбки.

— Я скажу тебе одну парадоксальную вещь, но ты не торопись ее отвергать. И не ищи слона в удаве. Готов? Слушай. Рождение ребенка не может быть главным событием в жизни человека. Можно всю Землю утыкать деревьями и под каждое посадить младенца. Счастливее жизнь от этого не станет.

— А что же становится важнейшим событием в жизни, профессор? Скажите, — он с некоторым страхом посмотрел на меня.

Я не торопился.

— Когда человек подводит черту и начинает думать иначе, более правильно, чем он думал раньше, значит, что-то случилось. Количество перешло в качество. Произошло событие. Упала звезда. И это меняет всю его жизнь. Вопрос: что меняет жизнь человека? Ответ: качество мышления. Не дерево. И не плиточная глазурь. И не обосранные пеленки.

— Но ведь дерево — это жизнь, ребенок — это жизнь, а дом — это укрытие и сохранение жизни. Еще в Библии...

— Дерево и дом гроша ломаного не стоят без мысли. Скажи мне, зачем тебе дерево и дом, и я скажу, стоит ли тебя подпускать к саженцу.

— Но ведь сказано: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. О мысли вообще ничего не сказано...

— Это очень похоже на заповедь слепого, и потому, увы, сердобольного, дурака. Искать надо разумом.

Пока Захар независимо принимал позу Будды-утки, в его глазах вновь отчетливо мелькнул страх, и он понял, что я заметил этот страх и успел верно прочитать его. Содержание страха было одинаковым у людей, которые скрывают от себя самое главное. Неужели я до сих пор жил зря? — вот что сребрknown звездно мелькнуло в глазах Замухрыго.

И еще там мелькнуло нечто вроде обреченной уверенности: да, я знаю, что зря променял литературу на плитку. И теперь меня все время тянет к чему-то более высокому, чем дерево или дом.

И еще в глубине зрачков удалявшимся блеском отразилось удивление: неужели все так просто? Что-то понял — и произошло событие?

И еще: неужели я пришел к вам за этим, профессор?

«А зачем же еще? — молчал я. — Не книжку же вернуть, верно? Толстую. С маленькой никудышной сказкой для не желающих взрослеть взрослых».

Я знал, что станет делать Захар Замухрыго дальше.

— Который час? — реализовал он первый пункт моего сценария, не откладывая дела в долгий ящик.

— Одиннадцать скоро, мы всего час сидим.

— Мне пора. Завтра вставать вместе с солнцем...

— Да, конечно. Кстати, ты обращал внимание, каким бывает небо ранним летним утром? До восхода солнца оно расписано прохладной дымчато-голубой акварелью, на которой облака застывают плоскими серо-голубыми гладышами. А закатное небо? Бледно-голубая плоть импрессионистически исполосована багрово-сиреневыми мазками, словно рубцами... Переживешь один такой закат — впечатлений на год. Окна нашей спальни обращены на восток.

Он вышел на улицу. Первым делом поднял голову вверх. Впервые за много лет увидел высокое звездное небо, которое, оказывается, давило на него своей обманчивой колючей невесомостью. Тихо стронулась с места и, спотыкаясь, покатилась вниз, по невидимым ступеням, звездочка. И тут же пропала. Стало грустно. Он поежился и быстро опустил глаза под ноги. Плотно уложенная тротуарная плитка — под линеечку — приятно успокаивала глаз. Каблуки летних туфель с мягким стуком касались шершавой поверхности серых брусков.

Дальше Захар Замухрыго, можно в этом не сомневаться, посвятит всю оставшуюся жизнь тому, чтобы скрыть от себя случившееся сейчас прозрение. Он будет сажать и сажать деревья, поливать их, обмазывать штукатуркой кирпичи, заглядывать в грустные глаза бродячих собак и стараться зачать сына. Бессознательно выполнять программу своего пребывания на Земле. Жить, чтобы выживать, а не с целью познавать себя. Для того, кто не способен мыслить, время тянется медленно, и он устанет жить.

А на пенсии в ненаписанных мемуарах, заброшенных на самую пыльную полку в самый дальний уголок души, он тихо признается сам себе в том, что в его жизни был один час, целый час, проведенный за чаем с уверенным в себе профессором, которого он со страху называл на «ты».

Ибо все остальное в его жизни окажется пустым: будничным, незаметным, бессмысленным. Как небо без звезд.

Вот почему сын Захара, Антон, изо дня в день будет слушать утомительные истории своего впадающего в старческий маразм отца об одном и том же: «Зашел я однажды к профессору вернуть ему книжку «Маленький принц» французского летчика Сент-Экзюпери, который сбивал фашистов над Ла-Маншем... А у профессора в квартире стены неровные, плитка выложена коряво, пол кривой...»

Последнее, кстати, неверно: ровный пол с подогревом, на который так приятно становиться босыми ногами, будет радовать меня и моего маленького сына долгие годы, которые пролетят быстро.

Я сидел на кухне, смотрел в темное небо и испытывал приятную тяжесть на душе, которая обычно наваливается на меня после очередного доброго поступка. Мне сладко было сознавать, что я удержался от соблазна и не рассказал Замухрыго продолжения истории о немецком асе-учителе.

После выхода мемуаров ему любезно сообщили, что он может снять, наконец, тяжесть с души: самолет де Сент-Экса нашли на дне морском, и достоверно установлено, что самолет этот никто не сбивал. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что это было самоубийство. Перед роковым полетом граф (кстати, бездарный летчик, сбить такого — все равно, что устроить избиение младенца) раздал все свои рукописи, любимые вещи — и полетел, якобы, к звездам, а на самом деле — спикировал вниз.

«Маленький принц» был написан также незадолго до самоубийства. Сказку, в известном смысле, можно трактовать как предсмертную записку. В ней намек.

Узнав об этом, ас пошел и утопился: спрыгнул с самого высокого моста в городе.

Спустя несколько лет я получил письмо от Замухрыго.

«Не хотел Вас огорчать, профессор, но правда жизни такова. Немецкий ас...»

И он описал все то, что я от него утаил.

Из письма я узнал также о том, что он растит дочь, читает ей сказки на ночь. Добрые. Для детей.

О «Маленьком принце» в письме не было ни слова.

Леший

— Дауншифтинг. Мой случай — это чистый дауншифтинг, — сказал давний приятель Андрея, смакуя дорогое французское вино. Красное. Сухое.

Приятеля звали Леха. На нем был болотного колера заношенный свитер, связанный, казалось, сугубо по случаю: неброский пестренький узор, мнилось, был сплетен из пожухлой, бледно-зеленой и грязно-зеленой травы. Скулы Лехи удивительным образом загнали глаза цвета хаки под лоб, и оттого казалось, что на слегка заросшей лысой голове не хватает то ли рогов, то ли копыт, то ли хвоста какого: чего-то дикого, лесного, неприлично натурального. Когда Леха улыбался (рот живо-лукаво растягивался, будто в него вставляли ивовый прут), глаза пропадали, и казалось, что на том конце стола маячит ловко вырезанная из дерева фигура забавного азиата с помесью камышового кота.

Описываю это не потому, что получаю удовольствие от складно придуманного образа, а ради того, чтобы передать степень своего удивления: мне не пришлось ничего выдумывать, да я бы и не состыковал так все детали, — травинку к травинке, волосок к волоску, крапинка к крапинке, — ибо ничто так не нарушает законы правдоподобия, как голая правда. Но что поделаешь: передо мной восседало чудо природы и с лесной непосредственностью налегало на деликатесы.

Далее цельный, натуральный образ глыбы-человека, отвергшего город в расцвете его цивилизационных возможностей, только усугублялся.

Жил Леха на витебщине, на самом краю отечества, где рукой подать было до границы с Латвией, на хуторе, близ озера, но не на берегу, как это принято у туристов, боже упаси. Если коротко — в краю лесов и озер.

«Врач, хирург-травматолог. Хотя хирургов-травматологов не бывает, есть просто хирурги». Он произнес это с едва уловимым желанием произвести впечатление. Одно дело, дескать, если в лесу живет отшельник, которому нечего терять, который ничего другого и не видел, и совсем иное — тот, кто обрел эту новую жизнь, кто принял ее как новый уровень, как далеко не всем доступную возможность. В первом случае перед вами аутсайдер, господа, во втором — дауншифтинг. Разница такая же, как между низом и верхом, если кто не понял.

Леха явно интриговал, пытался вызвать к себе мой *писательский* интерес. Жил-был, как говорится, обитал себе в центре города Минска. Работал, как все, долго, упорно и бесперспективно, словно слепо запрограммированный природой муравей в огромном муравейнике. Потом, когда город вконец утомил своей суетой, бессмысленностью существования, снизошло прозрение, как роса на траву, и он нашел себя в том, чтобы раствориться в природе.

Быть муравьем — это одно, а раствориться в природе — это, почему-то, совсем другое.

— Почему, Леха? — спросил я.

Мы выпили и, надо полагать, опуская условности, которыми так изобилует жизнь человека, сразу перешли на *ты*, от чего, по моим наблюдениям, удовольствие получал, скорее, Леха, нежели я. Он явно стремился к тому, чтобы мы говорили не только как люди одного, само собой, потерянного поколения (при этом, как водится, славно пожившего), но и как *избранные, нашедшие себя*, объединенные далеко не всем доступным уровнем мышления (пусть и придерживающиеся разного образа мыслей: это также подчеркивало нашу индивидуальность).

— В лесу думать никто не мешает, — ответил он примерно с той интонацией, далекой от суеты и близкой к звездам, с какой изрекают книжную мудрость, бережно сдувая с нее пыль веков. «Сиди на берегу, и труп твоего врага проплывет мимо тебя» — что-нибудь в таком духе.

— А зачем думать, Леха? — спросил я, уплетая редис. Люблю натуральный редис, который сегодня научились выращивать в городе.

— Смысл жизни искать, как положено.

Последнюю реплику он произнес уже откуда-то сверху.

Телека у нас нет, интернета нет, только старенький радиоприемник имеется, который, впрочем, исправно поставляет самые свежие новости. Что делать с досугом, если Бог предоставил столько времени?

Нашел себя в творчестве. Вырезает фигурки из дерева. А дерево вымачивает в речной воде, и тогда оно открывает ему свою красоту, свою таинственную природу, свой характер. Никому не открывает, а ему открывает.

— А что за фигурки, Леха?

— Леших. Братьев наших меньших.

— Ты хочешь сказать, что лешие — это наши братья?

— Нет, — тут он снисходительно *дал камышового кота*, то бишь, ухмыльнулся. — Как сказал Сергей Александрович Есенин, все звери — это наши братья меньшие. Вырезаю фигурки разного зверья.

— Например? — проявил я писательскую дотошность.

— Вот, лося недавно вырезал. Славный лось вышел, славный.

— Так, так. А почему — лося?

— Будь добр, Андрей, плесни еще мне полстакана, — попросил Леха, подставляя бокал, хотя до вина ему было тянуться ближе, нежели Андрею.

Андрей с готовностью и без лишних слов выполнил его просьбу.

Кто кому делал одолжение — осталось для меня загадкой.

Андрей, как я понимаю, угощал мной Леху, а Лехой — меня, писателя. Можно сказать, потчевал нас друг другом. А себя — забавной дуэлью чудаков, не умеющих зарабатывать деньги. Зачем это надо было ему, успешному и скрытному бизнесмену, было не очень понятно. Я смутно подозревал, что время от времени у него возникала настоятельная потребность в очередной раз доказать себе, что деньги — всему голова. Именно тогда он приглашал меня в свой роскошный загородный дом, стоящий на берегу озера, мы с ним неспешно, от души парились в бане березовым и дубовым вениками, засиживались допоздна за столом, неизменно поражавшим заморскими разносолами, играли в русский бильярд. Низкий свет, искрящийся в бокалах с коньяком, успокаивающий цвет бильярдного сукна, какой-то домашний стук шаров располагали к беседам о самом главном, и я с удовольствием делился своими мыслями и замыслами, которых у меня накапливалось в таком количестве, что я удивлялся сам себе. Если я успевал запомнить то, что говорил

(прежде всего — формулировки, выражения, порядок слов, порой — причудливый звукоряд), через пару дней из-под пера моего рождалось нечто достойное внимания.

Андрей не возражал, как правило, молча впитывая смысл моих острых замечаний и концепций. Глаза его живо блестели, и он покачивал головой, соглашаясь то ли со мной, то ли с собой.

При этом одну свою слабость Андрей даже и не пытался скрывать: он органически не умел проигрывать и не на шутку заводился, если я по рассеянности закатывал несколько шаров кряду в узкие лузы.

А я...

Искренность была моей не только первой, но и второй натурой, я наслаждался телесно и, отчасти, душевно, не забывая при этом называть вещи своими именами, от чего я получал главное удовлетворение в жизни.

Мы с Лехой явно платили своим обществом за радушие хозяина, только Леха всячески старался подчеркнуть свою независимость, что меня забавляло, а я — свою зависимость, что меня забавляло еще более.

— Выйдешь ночью справить нужду малую, а перед тобой лось стоит, ушами прядет, ноздрями поводит. Потом наподдаст копытом, взроет землицу и ускачет восвояси, — изронил Леха, покачивая перед лицом бокалом с остатками вина.

И замолчал, словно вспоминая эти волшебные ночи. Потом ни с того ни с сего добавил:

— Внучка недавно отмочила номер: в детсаду присела пописать на лужайке. Переполох, воспитатели не знают, как реагировать. Ребенок ведет себя как ребенок, как дитя природы: это же неслыханно.

Милая зарисовка с натуры подается как притча, смысл которой недоступен непосвященным.

— Хирург-травматолог хочет сказать, что именно поэтому вырезал фигурку лося, хозяина леса?

— У леса нет хозяев. Я хочу сказать, — быстро поправился он, — нет хозяев среди тех, кто живет в лесу. У леса другой хозяин.

Интонация — с двойным дном, разумеется. Губы поджаты. Не шутим.

Мне вспомнилась история Андрея, который обожал авантюрные путешествия. Однажды в зимней тайге, нет, кажется, в тундре, он наступил на спящего лося. Дело было так. Теплая или, если кто не понял, сильно нетрезвая компания в несколько человек шла то гуськом, то шеренгой, перебираясь с кочки на кочку. И вдруг надежный с виду бугорок, на который бодро ступил Андрей, ожил, под человеком в мгновение ока вздыбилась гора, и в следующую секунду он летел уже в сторону — *голова-ноги-голова-ноги*, — молясь и чертыхаясь от страха одновременно. Когда пришел в себя, то увидел в заштрихованной снегом дымке огромную, на полгоризонта, резко очерченную фигуру лося, который удалялся с гордо поднятой головой куда-то в местные восвояси. Где там, в тундре, эти заповедные восвояси, бог весть.

На сердце у теплой компании похолодело. Ведь запросто мог зашибить копытом властелин тундры, любитель ягеля. Отделались анекдотом, хотя были в шаге от трагедии.

Эта история про лося показалась мне интересней. Менее правдоподобной, но более правдивой.

— А однажды я отучил самого начальника милиции — начальник милиции в тех краях фигура ого-го! — курить у меня на участке. Да, да, очень просто. Он швырнул окурок, а я молча поднял его из травы и положил в банку. Начальник милиции посмотрел на меня вот так (здесь Леха округлил глаза,

еще более уподобившись коту) — и больше никогда при мне не бросал бычки на землю. Со мной с тех пор здоровается за руку.

— А начальник милиции зачем к тебе приезжал? Нога заболела? Или ухо? — пытался догадаться я.

— Не, — камышово улыбаясь, ответил Леха. — Не угадал. Рука. Начальник милиции перепутал дымовую шашку с динамитом, сунул ее в нору, чтобы крота выкурить у себя на участке, — вот такой дом, на берегу озера стоит, — и в результате ему, начальнику, а не кроту, чуть руку не оторвало, а глаза землей засыпало. Его привезли ко мне, он ничего не видит. Помоги, говорит, гражданин хирург, век помнить буду. Я помог. Клятву Гиппократа никто не отменял.

— А откуда он знает, что ты врач?

— А там все знают. Приносят мне продукты, я и лечу местных жителей.

— Ты не хирург-травматолог, ты практически доктор Айболит, — сказал я. — Если у тебя есть внучка, стало быть, у тебя и жена была. Или есть?

— Есть. Она живет в Минске.

— В центре города?

— В центре, — улыбнулся Леха.

— Скучно это все, — внезапно сказал Андрей.

— Что скучно? — расслабленно парировал Леха.

— Да все. Жизнь — скучна.

Я внутренне принял позу «ушки на макушке». Вот он, момент истины. Бизнесмена, кажется, разобрало. Сейчас и мне перепадет, не сомневаюсь. Что ж, за удовольствия надо платить. Андрей, видимо, давно включил вот этот свой *предполагаемый, если что,* натуральный порыв в счет для посетителей своей загородной резиденции. Кто платит, тот и позволяет себе резать правду-матку в глаза.

— Мне кажется, вы скрываете от себя единственную страсть, которая украшает человека, — зарабатывать деньги. Причина банальна, если что. Вы не способны это делать. Это не дауншифтинг, хирург-травматолог, это аутсайдерство. В чистом виде. Если кто не понял.

Здесь Леха улыбнулся уже не как кот, не интимно, а лучезарно, глобальной улыбкой всепрощения, будто Будда, снисходительно щурясь на грешную суть людей.

— Ты ошибаешься; тебя город испортил. Потребление тебя в бараний рог скрутило.

— Леха, ты же как крот живешь. Не как Диоген, а как крот. Вот чем ты отметился на земле? Тем, что ослепшего начальника милиции отучил бычки в грязь бросать? Внучку научил ссать на травку-муравку? Лучше бы обучил ее искусству руки мыть после этого. Леха, не зли меня.

— А ты полагаешь, что быть писателем почетнее? — Леха неожиданно перевел стрелки на меня. — Пишут, пишут — и что? Изменилось что-нибудь на земле? Поэтому Лев Толстой бросил писать и стал проще.

Я *искренне* замолчал. Не потому что мне нечем было крыть, а потому что мне интересно было узнать, что они скажут дальше. «Они»: я не сомневался, что у них между собой больше точек соприкосновения, нежели у меня с каждым из них. Я уже мысленно объединил их в силу, мне противостоящую.

— С писателем сложнее, — задумчиво произнес Андрей. — А может, проще. Пока не разобрал.

Я молчал.

— Я бы давным-давно помог писателю, если бы захотел. Он не просит, ладно, гордость, понимаем. Но я бы сам предложил помощь, если бы

почувствовал, что искусство выше бизнеса. Но чем оно выше? Тем, что непонятнее? Тем, что это особого рода кайф для посвященных? «Много званых, да мало избранных». Я больше всего ненавижу избранных. Кто их избирал? Зачем? С какой целью?

Странно: он говорил в мой адрес, но при этом не смотрел на меня, тем самым признавая, что некоторым образом предает меня; хорошо, не предает, — но, как минимум, ставит в неловкое положение. Я не напрашивался, меня, если что, звали как избранного. Чтобы теперь вот объявить мне, что я не избранный. Меня обманывали, не я обманывал; со мной лукавили, не я лукавил.

Я молчал, что Андрея, очевидно, стало раздражать. Он вел себя так, будто проигрывал в бильярд.

— Ты написал много прекрасных книг, N. Волнующих. Заставляющих размышлять. Хорошо. Если бы твои книги стали издаваться сумасшедшими тиражами, это был бы неплохой бизнес. Если они не издаются, значит, они никому не нужны. А я очень ждал, когда к тебе придет успех. Откровенно говоря, я удивлен, что ты не востребован на рынке. Другие востребованы, ты — нет. Значит, ты не угадал? Я бы очень хотел посмотреть, как бы ты повел себя, когда бы разбогател.

— Я бы тоже, — искренне ответил я.

Леха сузил линию рта, отчего стал казаться не строгим судьей, но злобным хорьком. Самым небольшим из наименьших братьев.

— Зачем нужны книги, если их никто не читает? А? — бизнесмен подвел черту, которая плавно превратилась в знак вопроса.

Андрей и Леха в упор смотрели на меня. Вопрос стал обретать очертания крюка, на который я был уже виртуально подвешен.

— Низачем, — ответил я. — Не берите в голову. Я не угадал.

— Нет, нет, так не пойдет. Гордыню в сторону. Давай, говори всю правду, — сказал Андрей и поднял на меня по-деловому честные глаза.

Леха молча налил сам себе бокал до краев.

— Я писал свои романы из презрения к таким, как вы, — сказал я и отодвинул от себя дорогую тарелку со сладкой чужой пищей, будто мне подсунули отраву.

Леха выпил бокал залпом. Андрей и ухом не повел.

— Я это знаю, — сказал он. — Я не понимаю другого: зачем ты это делаешь?

— Я пишу свои романы из сочувствия к вам; вам некуда деваться, вы поменяетесь, если захотите жить. Вот тогда скажете мне спасибо за мои романы.

Леха фыркнул, как лось, заставший человека за справлением малой нужды.

— Только хозяину леса об этом, пожалуйста, ни слова, — продолжил я. — Расстроится. Я ничего не произвожу; точнее, я создаю то, что не пользуется спросом. Пока не пользуется. И пока я ем ваш хлеб. В благодарность за это я хоть как-то задумываюсь о вашем будущем. Кто-то должен за деревьями видеть лес.

Андрей напрягся. Никогда я не видел его таким серьезным и хмурым.

— Не знаю, — наконец, сказал он. — В этом что-то есть. Но меня это не убеждает.

— Что мешает тебе перестать общаться со мной? Это ведь ты меня зовешь к себе; я тебя к себе не зову.

— Не знаю. Без тебя скучно. Но ты не решаешь моих проблем. Перца в жизни все равно не хватает. Кстати, в следующий раз я обыграю тебя под

ноль. Через неделю. Слышь, олень, — обратился он к Лехе, — давай русалок пригласим.

— Жену, что ли? — округлил глаза хирург-травматолог.

— Блядей, — уточнил я: тяга называть вещи своими именами обострилась во мне чрезвычайно.

Следующее его мимическое послание, вытравленное на лице, можно было понимать так: что позволяют себе эти разнузданные писаки, Господь Всемогущий! И как их только земля носит!

Однако отказываться от предложения Андрея он и не подумал. Может, просто забыл.

А вот я отказался по совершенно прозаической причине, внешне никак не связанной с чистотой морального облика *осмелившегося писать* человека.

— Мне пора. Моя последняя и горячо любимая жена беременна. Скоро у меня будет дочка, девочка, — сказал я. — По-моему, это наиболее приемлемая форма дауншифтинга сегодня.

— Предлагаю за это выпить, — сказал Андрей. — Неужели в тебе запас прочности больше, чем во мне?

«Пусть это будут твои проблемы», — с наслаждением, несколько унижающим мыслящего человека, подумал я. Сказал я при этом то, что хотел давно сказать:

— А твои фигурки, Леха... Ну, творчество. Спросом пользуется?

— Отрывают с руками.

— А как называется деревня, возле которой находится твой хутор, Леха?

— Лукоморье.

Я ждал улыбки кота, но в грустных глазах лешего прочитал: «Не дождешься...»

ПЕТР БУГАНОВ

Классика души

Я полюбил однажды осень

Я полюбил однажды осень...
С моих очей упал покров,
И я увидел неба просинь
В плену свинцовых облаков.

Я полюбил дождей завесы,
Идущих с каждым днем смелей,
Убранство сказочное леса,
Картины скошенных полей...

Люблю среди берез и сосен
Вдыхать грибную тишину.
Люблю заплаканную осень,
А сорок лет любил весну.

Классика души

Как склонна мода к перемене!
Непостоянство — моды лик,
Из поколенья в поколенье
Стремятся к ней хотя б на миг.

Но, к счастью, не уйдут из моды
Вдали бегущая река;
Цветущий мир под небосводом;
В полете плавном облака;

И солнца луч в еловой гуще;
Весны веселая капель;
И птиц, во славу дня поющих
На все лады живая трель;

И летний вечер, постепенно
Исчезнувший в ночной тиши...
Здесь невозможны перемены:
Все это — классика души.

В Божьем храме

Во время службы в Божьем храме
Перед распятьем у окна,
Прижавшись осторожно к маме,
Молилась девочка одна.

Она пока что неумело
Молилась строгим образам,
На лик Всевышнего несмело
Глядели детские глаза...

Я думаю, дойдет до Бога
Молитвы детской чистота,
И поведет ее дорога
По жизни к истине Христа.

И силы темных повелений
Не одолеют нас, пока
Святую веру поколений
Сжимает детская рука.

Шепот умирающих берез

Над рекою лес стоял красивый,
Но его печальный ждал удел:
С визгом взвыл рой бензопил спесивый —
И пошел повальный беспредел.

Пробудился лес от дремы сладкой,
Зашумел, почуяв боль свою...
Падали деревья в беспорядке,
Как солдаты в яростном бою.

И в плену корысти абсолютной
Лесники, с природою борясь,
Ради жалкой «зелени» валютной
Божью зелень втаптывали в грязь.

И кружило в кронах злое лихо,
Подрубая корни сладких грез...
До сих пор я слышу тихий-тихий
Шепот умирающих берез.

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Юбилейный клиент

Рассказы

Ерофей Павлович

Сергею Иванычу исполнилось шестьдесят четыре. Жизнь его складывалась не то чтоб неудачно, но и не чересчур удачно — в общем, как у всех. В свое время окончил институт, сходил в армию, женился. Слава богу, тут-то как раз повезло: ни тебе развода, ни особых скандалов. Конечно, всякое было за столько-то лет совместной жизни, но вспоминалось теперь только хорошее. А хорошего было достаточно. Как они с Машей мыкались по первоначалу без квартиры — не хотелось вспоминать, а вот как поехали в Крым в свадебное путешествие, наоборот, хотелось. Поездили по стране, да. Бывало, всю зиму копили деньги, по червонцу откладывали, зато летом уж — это если отпуск летом попадался, тут уж постараться надо было — тратили на всю катушку. Молодые были, бестолковые. Зато счастливые. И не жалеет Сергей Иваныч о тех деньгах ни чуточки.

Везде, кажется, побывали: и в Крыму, и на Кавказе, и север русский с Карелией ухватить сумели (это уж когда Наташке четыре года было), а вот самую-то заветную мечту свою Сергею Ивановичу осуществить так и не пришлось.

Давно, в школе еще когда учился, увидал шестиклассник Сережа на карте название такое: Ерофей Павлович. И любопытно стало ему: что это за Ерофей такой, в честь кого город назвали? Впрочем, и не город, наверное, а так, городок небольшой, станцию на железной дороге. Не очень-то много было в том месте названий на карте, не то, что где-нибудь возле Москвы; там, в далеке таком, поди, и поселку малому рад будешь. Да все равно, не каждую и станцию этак с вывертом назовут. Вот, скажем, Сергей Иванович — с таким названием нет станции, а Ерофей Павлович почему-то есть. Или это первопроходцы чудили, ну, строители дороги этой самой?

По молодости приходили Сергею Иванычу сны. Снилась ему солнечная тайга, идти по которой было так легко и радостно, как никогда и нигде больше с ним не бывало; снился поселок на склоне, и даже жители снились — правда, забывались сны эти быстро, сразу после пробуждения, однако же помнилось ему, что народ там был приветливый и доброжелательный, легко с ними было. И попадал во сне Сергей Иваныч всегда в одно и то же место, хотя каждый раз немного по-разному там бывало — видать, тоже жизнь на месте не стояла. Ну, да потом все реже стало сниться такое, а после сорока и вовсе перестало, а поди ж ты — совсем не забывалось почему-то, хотя и не тревожило. И почему решил тогда Сергей Иваныч, что это именно Ерофей Павлович, — хоть убей, непонятно, скорей всего, конечно, совсем другое это было место, если уж вообще было.

Как бы там ни было, а крепко запала ему мысль: поглядеть хоть когда-нибудь, что это за Ерофей Павлович такой. Может, там и нет ничего особенного — да и скорей всего, что ничего нет — а вот поди ты! Не то, чтоб постоянно беспокоило его это желание, нет, бывало месяцами не вспоминал, а попадется под руку географический атлас — непременно Сергей Иваныч откроет его на нужной странице и посмотрит. Давно уж знает он, что назвали так станцию в честь Ерофея Хабарова, и Хабаровск, кстати, тоже его именем назвали — ну, заслужил человек, значит, по заслугам и честь. А только желание это жгучее — самому побывать там, на самой границе Амурской области — никак не проходило. Что греха таить, мечтательный человек был Сергей Иваныч! Да и названия на карте рядом какие-то диковинные и чудные: Могзон, Ингода (это еще в Читинской области) или Текан, скажем... Поневоле вздохнешь да в затылок полезешь; а все же какая-то истома сладкая в них есть! Тянет.

И ведь чуть не сорвался было, это аккурат год назад, в прошлом феврале, когда случаем зять Николай на денек завернул. Рассказал, что посылали в командировку на дальний восток, так вот — видал он эту самую станцию. Ничего, мол, интересного: разъезд как разъезд, снегом засыпанный по самые уши, поезд даже не останавливается, не успел опомниться, как промелькнул.

— И что там?

— Да ничего, говорю же! Тем более, вечер уж был, смеркалось. Вокзал малюсенький: пара столбов с лампочками да щит фанерный. На щите мужик с бородой, и написано: Ерофей Павлович. Борода рыжая, задранная. А больше ничего не рассмотрел, укатили мы в ночь, и поминай как звали.

Сергея Иваныча аж колотнуло. Только Маша начеку была, смекнула сразу, что к чему:

— Даже и не думай! Тебе с твоим давлением на край света только и тащиться! Еще, поди, задница от уколов не отошла, а туда же. Да было бы из-за чего, а то, видишь ли, интерес у него! Да ты хоть знаешь, сколько интерес твой сейчас стоит?!

Это да. Дороговаты нынче билеты, даже хоть и в плацкартном — все равно дороговаты. Были отложены, конечно, у них деньги, да ведь на что отложены: вдруг случится нехорошее? Не юноша уже, седьмой десяток отщелкивает. Да и Маша тоже не молодушка, тоже все болит. А специально на билет собрать, по чуть-чуть из пенсии никак не получалось: то одно подвернется, то другое, и везде — дай и дай. Да и как не дать? Не с собой же на тот свет забирать... Впрочем, и ехать-то было боязно, давно уже он никуда из Минска не выезжал, только на дачу да с дачи — вот и все путешествия, а тут, шутка сказать, чуть не полземли проехать. Поезд, поди, целую неделю идет. Ну, или дней пять, тоже срок немалый. Нет уж, ну его, этого Ерофея Павловича, шут с ним! В молодости Бог не дал, так к старости и грешить нечего.

Был Сергей Иваныч думающим и наблюдательным человеком. И видел он, что с течением жизни отношение его к этой самой жизни меняется. Он сознавал, что стареет — хотя бы потому, что вспоминались ему теперь большей частью молодые годы, а то и детство. Не самое раннее, а то, когда новый человек начинает осознавать себя в мире. И вспоминался ему то запах цветов на клумбе, мимо которой он в летних трусиках вприпрыжку пробегал (понимал Сергей Иваныч, что запах тогда сильнее казался — потому, что сам он был мал и нос ближе к цветам находился), то вспоминалась горячая нега летнего вечера, когда прохладный воздух сумерек не в силах остудить горящее в поту тело, и так хочется еще побегать, а уж зовут домой... А то вспоминал он сырой озноб тайги — это уж много позже было, тогда совершенно неожиданно в июне пошел снег, пролежал до вечера, и лиственницы глаз дразнили

юной зеленью из-под слоя мокрого снега, налипшего на ветви. Бывал в тайге Сергей Иваныч, бывал, а вот в Ерофее Павловиче так и не пришлось. Поэтому казалось, что там-то и должно быть самое таежное средоточие: и запах таежный гуще и пьяней, и воздух чище — так, что легкие ломит от желания надышаться, — и самые верные природные краски-расцветки, полуразмытые голубизной расстояния, через которую, голубизну-то, за многие километры горы видны.

Так и проходил год за годом. Летели недели, месяцы катились, как колесо под горку. И жил себе Сергей Иваныч как бы в придуманном собой мире. Нет, не то, чтоб отошел он от жизни, а просто там, в этом мире выдуманном, было ему лучше. Думалось все больше о приятном: никто там, в жизни этой второй не ругался матом (и вообще никто не ругался), не было там ни протекающих труб, ни лопнувших подметок, а погода, казалось, специально подстраивалась под настроение. И было все легко и просто, любое дело спорилось само собой, и самое главное — удовольствие придуманная жизнь приносила несказанное. Или просто научился Сергей Иваныч чувствовать приятное в самых обыденных вещах. Вот солнышко светит, розовеет от него стена дома; вот ветер подул, и заиграла листва на тополях — ах, как здорово! И неужели никто этого чуда не видит?

А может, и не видит, может, такое зрение-знание с возрастом дается — да ведь никто о таком никогда и не говорит. Впрочем, и Сергей Иваныч никому тоже не говорил, даже Маше. Скажешь, а тебя же потом к блаженным причислят (впрочем, у нынешней молодежи словечки и покруче припасены) да у виска пальцем покрутят. Хотя Маша-то, наверно, поймет...

А может, не замечают, потому что некогда замечать. Слишком много вокруг суеты. Можно их и пожалеть, в таком-то случае, да только жалость эта им тоже без надобности, опять же еще и посмеются над тобой.

Как-то шел Сергей Иваныч с почты домой — пенсию получал не в срок, седьмого не было их с Машей дома, пришлось поэтому самому за деньгами идти — и увидал он вдруг плачущую девчушку, почти еще девочку — это с точки зрения шести десятков лет рассудил так Сергей Иванович. Лицо обычное, не красавица и не уродина, губы припухли слегка, косметика размазалась. Рыжие, почти огненные волосы. Короткая курточка в тон, сапожки на рыбьем меху — небось, продрогла, бестолковая, в такой-то одежде.

Плакала она, зло прикусив губу, судорожными рывками какими-то, да не то удивительно, что плакала — эка невидаль! — а то, что среди всхлипываний сам собой прорывался у нее время от времени смех. Расхохочется — и опять плакать.

Не так, чтобы такое уж небывалое явление это: слезы девичьи, а остановился Сергей Иваныч. Видно было, что горько ей сейчас приходится, а только подожди — вот сейчас-сейчас возьмет она и улыбнется. Вот ведь странно как: словно горечь и обида приближали ее к чему-то очень хорошему, и за горем, знала она, обязательно будет счастье, только его, горе это, непременно нужно вначале избыть.

— Ты чего плачешь? — так прямо и спросил Сергей Иваныч.

Девушка подняла на него глаза, долго, испытующе так посмотрела. И видно, прошел испытание Сергей Иваныч, потому что ответила она спокойно и серьезно:

— Ничего, не беспокойтесь. Наверно, каждому человеку нужно время от времени поплакать.

— Может, тебе чем помочь надо?

— Спасибо, не надо. Это я сама виновата. Меня сейчас с работы выгнали.

— Вот как, — сочувственно вздохнул Сергей Иваныч. — Ну, это, конечно, причина. Только плакать все равно не стоит: если ничего изменить нельзя, то глупо, а если можно — тем более.

— А вы не такой, как все, — тень улыбки скользнула по губам девушки. — В такой ситуации обычно спрашивают «за что?».

— Ну хорошо, — согласился Сергей Иваныч. — Так за что?

— Давайте зайдем в кафе, — предложила рыжеволосая. — А то здесь холодно... Вы не против?

— Не против, — улыбнулся Сергей Иванович. Что с того, что задержится он на полчаса? Нигде его не ждут, Маша только к вечеру явится: к подруге поехала, давно не видались. Жизнь на пенсии приучает к неторопливости. Теперь он сам хозяин своему времени.

В кафе Сергей Иванович прежде всего заказал горячего крепкого чаю — для себя и для девушки: уж больно та замерзла, рассудил он, а для таких случаев горячий чай — самое потребное средство.

— Меня зовут Сергей Иванович, — представился он и посмотрел вопросительно, как бы намекая, что и собеседнице тоже не мешает назвать себя.

— Вика! — выпалила та. — Извините, я сейчас... — она судорожно вздохнула последний раз, прогоняя остатки слез, вытащила из сумочки зеркальце и занялась своей физиономией, ничуть не смущаясь чьим-либо присутствием. Справилась она как-то слишком быстро и умело: тут подтерла, там, наоборот, подкрасила, и макияж вдруг перестал казаться размазанным и приобрел вполне нормальный вид — даже с налетом некоей дерзкой утонченности.

— Вот и все, — заключила она. — Да не смотрите так, я ведь профессионал, я в центре красоты работаю... Работала, — поправилась она. — До сегодняшнего дня. А сегодня утром вдруг решила провести эксперимент: один день говорить только правду. А у нас, то есть теперь у них, клиентки та-а-акие дамы!.. Ну, я и высказалась по поводу одной... Всегда в себе держала, а тут озвучила. Что началось! Представляете?!

— Представляю! — согласился Сергей Иванович, улыбаясь ей вослед. — Да уж... Ну, будем считать, что высказанное мнение было справедливым. И все же стоило ли обижать человека? Ведь если честно, ты знала, что обидишь ее, так? Конечно, говорить правду — желание заманчивое! Только не говорить — в некоторых случаях более мудрое. Хотя, — спохватился он, — тут не мне судить, я ведь не знаю всех твоих обстоятельств.

— Правильно, — кивнула Вика. — Все так, да только если один раз не сказать, второй не сказать — так зачем тогда она, правда эта? Я ведь и вам про себя рассказываю именно потому, что человек должен отстаивать свою точку зрения. И имеет право требовать, чтобы ее выслушали. Иначе грош цена такому человеку! Я не права?

— Наверное, права, — медленно сказал Сергей Иванович, размышляя. Юная его собеседница оказалась с характером непростым, и разговор начинал ему нравиться. Вот ведь, подумал он, сколько мы сетуем на новое поколение, ругаем их за прагматичность, за бездуховность, а оно вот ведь как бывает! Разные, ох, разные они! И хотя таких, как Вика, явное меньшинство, да разве прогресс — хоть в материальной сфере, а хоть и духовный — когда-нибудь определялся большинством?! Впрочем, одернул он себя, это лишь первое впечатление, и делать окончательные выводы слишком рано. Но пока — пока! — такой задел пришелся ему по душе. И разговор ее, сама структура речи, отличалась правильностью и неожиданными для столь юного существа оборотами, была насыщенной и какой-то вкусной, что ли; Сергей Иванович слушал с удоволь-

ствием, кивая в одних местах и вставляя короткие реплики в других, стараясь не заступить за ту тонкую грань, за которой собеседник начинает ощущать чуждое вмешательство в личную жизнь. Если она начала рассказывать, рассудил он, расскажет до конца. Или столько, сколько сочтет нужным.

Чай давно был выпит, и официантка уже поглядывала на них с раздражением. Ишь ведь, только зря столик занимают! Следи тут за ними, чтобы солонку или пепельницу не сперли... Но Сергея Ивановича занимала не официантка, и даже, как ни странно, не Вика. Почему-то думалось в основном о себе. Кто он, Сергей Болдырев? Чего достиг в жизни? Правильно ли жил — нет, не так сказать надо, а — праведно ли жил, да что там, не жил, а прожил жизнь? Так вернее, вполне уже можно сказать — прожил. Или еще не совсем — чуток осталось? Ишь ведь, девчонка сопливая, а уже как сумела себя поставить; а он сам, Сергей-то Иванович, смог бы так: только правду всем, а? И почему это так его волнует?

Вика вдруг остановилась среди рассказа и пытливо взглянула ему в лицо:

— А ведь вас это нисколечко не интересует — ну, то, что я сейчас рассказываю. Так ведь?

— С чего ты взяла? Очень даже интересует. Я внимательно слушаю.

— Ничего подобного. У тех, кто слушает, лицо не такое.

— А какое?

— Ну, не знаю. Не такое, как у вас, Сергей Иванович. Вы скажите, если я вам надоела — я сразу же уйду, я не обижусь, честное слово. Вы и так вон сколько времени на меня потратили.

Сергей Иванович потер ладонью лоб.

— В общем, так, Вика. Сам не знаю, почему, но навела ты меня на целый ряд мыслей. И пока я их сам для себя не решу, разговора у нас, ты права, не получится. Хотя мне очень нравится сидеть с тобой здесь, и мы обязательно посидим еще когда-нибудь. Даже не когда-нибудь, а в скором времени. Ты мне обещаешь?

Вика тряхнула рыжими кудрями:

— Обещаю. С вами не так, как со всеми. Вы и молчите как-то интересно. Так я пойду?

— Н-ну, в общем-то...

— Пойду, — решила Вика. — Я понимаю. До свидания.

— До свидания, — попрощался Сергей Иванович, но тут же спохватился. — А как же я тебя найду потом?

— Не беспокойтесь, — засмеялась девушка. — Я вас сама найду. Я часто вас вижу, когда вы с супругой здесь гуляете, до сквера и обратно... Она там голубей кормит. А это удобно будет, если я к вам вдруг подойду?

— Удобно, — улыбнулся Сергей Иванович. — Маша у меня дама общительная, да и слишком уж мы с тобой в разных возрастных категориях, чтобы неудобно было. Так что подходи смело!

Вика упорхнула, а Сергей Иванович еще некоторое время сидел, бесцельно перекатывая пальцем хлебные крошки. Потом вздохнул, натянул на седую шевелюру берет (втайне гордился он, что к своим шестидесяти пяти обошелся без лысины) и вышел на улицу. Шел он глубоко задумавшись, и опомнился только тогда, когда блеснула перед ним бронзовая рукоятка тяжелой старинной двери, а может, лишь стилизованной под старину, сейчас ведь не поймешь, старая это вещь или новодел, хорошо делать научились. И тут понял Сергей Иванович, что пришел он не куда-нибудь, а на вокзал. Он пожал плечами, оглянулся почему-то — не видит ли кто? — хотя скрываться ему было решительно не от кого, и потянул на себя тугую тяжелую дверь. Последняя

мысль у него мелькнула: Маше дать телеграмму, не позвонить, а именно телеграмму. Не был вполне уверен в себе Сергей Иванович: отговорить может. Женщина — она всегда сто резонов найдет, чтобы по-ее вышло...

Садилось солнце, и над Москвой чуть розовели облака. Были они скучными, седыми, слоились плоско, не так, как летом, но все равно — красиво. Жаль только, никогда мы на эти облака не глядим, некогда нам. Да и ни к чему вроде. Так и вся жизнь проходит, без красоты. А надо, надо иногда глаза к небу поднимать. Богаче будешь.

И под этими серо-розовыми облаками продолжалась своя жизнь. Пожилая кассирша выдала билет, ничуть не удивляясь, почему это кому-то вдруг понадобилось ехать на край света, девица в почтовом окошке приняла телеграмму и споро выдала квитанцию. Помнил Сергей Иванович те времена, когда квитанции эти руками выписывали, это теперь так: ткнул пальцем, и машина сама все распишет и укажет. И был он благодарен Вике за то, что перевернула она его жизнь, весь уклад, годами сложенный, — пусть сама о том не ведая ни сном ни духом. Ждал, ждал, наверное, Сергей Иванович такого толчка, только и сам себе боялся в этом признаться. А теперь и отступать не хотелось: уже завертела его кутерьма дороги, появился в руках какой-то пакет со снедью, и только на самом донышке сознания червячком копошилась мысль, ела потихоньку: как это он несобранный, без чемодана, без тапочек...

Да ладно, неделю как-нибудь перебиться можно. Ведь если не сейчас, то никогда Сергей Иванович никуда не поедет, это-то он знал точно.

Оставалась позади Москва, падало солнце к горизонту, а в маленьком купе скорого поезда среди обыденной суеты дорожного обвыкания, среди зарождения скоротечной дорожной компании, сидел старый человек и, время от времени улыбаясь чему-то своему, глядел в окно. Глядел на бесконечные снега, на заметенную вровень с рельсами колею, на хибарки путевых обходчиков, на старые водокачки, насмерть прокаленные стужей, на деревья, цепляющиеся голыми сучьями за черно-красное небо, что отгорало северным холодным закатом. И было ему хорошо.

Ведь где-то впереди на дороге, вся исколотая колючим снегом, была маленькая старая станция с удивительным названием: Ерофей Павлович.

Юбилейный клиент

Сергей Иванович ненавидел полонез Огинского. Впрочем, «ненавидел» — это слишком сильно сказано. Просто очень не любил с некоторых пор. Конкретно — с тех пор, как в подъезде установили железную дверь с кодовым замком и домофоном.

Дело в том, что в качестве мелодии в этом самом домофоне использовали ни в чем не повинный полонез. И хорошо бы только в одном домофоне — нет же, по всему району, в каждом доме, в каждом подъезде — везде звуки были одни и те же.

Раньше Сергею Ивановичу даже нравилась эта мелодия. Она звучала в электронном будильнике, стоявшем на кухне (впрочем, никогда не употреблявшемся по прямому назначению, поэтому лучше сказать так: не то чтобы звучала, но вполне бы могла звучать в принципе); однако после двухмесячного функционирования домофона даже этот теоретический аспект исключался.

Поэтому Сергей Иванович слегка поморщился, когда висевший в прихожей аппарат разразился такой знакомой, но примитизированной до безобразия трелью.

— Кто? — спросил он строгим голосом, но без раздражения. Человек за дверью не виноват же в том, что кому-то установили этот надоедливый предмет.

— Извините, вы не могли бы открыть дверь? — послышался приятный мужской голос. — Я к вашим соседям, но они почему-то не отвечают. Может быть, у них домофон отключен?

— К каким соседям?

— К Парфеновым, из сорок седьмой.

— Да у них, наверное, никого дома нет, Егор в командировке, а Людмилу Васильевну вчера скорая забрала, подозрение на аппендицит.

— Вот как. Не повезло... А может, все же откроете, вдруг кто-нибудь все же дома? Я приехал издалека...

— Да точно никого нет, раз не отвечают, — пробормотал Сергей Иванович, но кнопку все же нажал.

И так бы и канул этот случай в Лету, но, однако, имел он продолжение.

Через пять минут раздался звонок — на этот раз в дверь. Сергей Иванович и думать забыл о только что бывшем разговоре, но на пороге стоял тот самый незадачливый гость, желавший навестить Парфеновых. Это Сергей Иванович определил по голосу. Хоть и искажает домофон звуки, но уж не настолько, чтоб узнать человека совсем нельзя. Был неожиданный гость ростом невелик, наружность имел приятную, лицо интеллигентное и чистое. В руках держал он большую дорожную сумку и коробку с тортом, на которой кое-как примостился букет гвоздик.

— Извините, что опять потревожил. В самом деле, в сорок седьмой никого нет, я уж и не знаю, как быть.

— А в чем дело?

— Понимаете, я в Минске в командировке, сам-то я из Сибири, когда еще выберусь в следующий раз. Хотелось бы очень повидать соседей ваших, да, видно, не судьба... Завтра с утра самолет, мне дальше лететь, а тут торт этот — не в гостиницу же с собой тащить, тем более, что поди найди ее еще, гостиницу эту. Короче, не возьмете ли его вы? А потом Лидии Васильевне перескажете, мол, был Николай из Нюрбы, да не застал, кланяется, мол, так и так...

— Да не достоит торт, ее вчера только положили, уж дней-то пять ее точно не будет.

— Ну что ж, не достоит так не достоит, не в торте дело. Торт — это так, гостевой атрибут, не более. В любой момент другой купить можно. А этот — вам. Возьмите! И цветы вот.

— Да вы проходите! — это уж Маша, супруга, подошла. — На улице дождь начинается, куда вам в такую погоду. Я сейчас чаю поставлю, с тортом-то в самый раз будет. Пока посидим, поговорим, может, и развиднеется.

Молодой человек поколебался, но потом все же вошел. С явным облегчением поставил сумку в угол.

— Ой, спасибо, чаю с удовольствием выпью, весь день сегодня на сухомятке.

Командированный, представившийся Николаем, действительно пил чай с нескрываемым наслаждением, так вкусно и заразительно, что Сергей Иванович не утерпел и выставил на стол заветную бутылку ямайского рома. Чай от нескольких капель этого напитка приобретал поистине волшебный

привкус. Гость оценил редкостный вкус (надо сказать, такого рома не было в магазинах, и досталась бутылка Сергею Ивановичу случайно от друга, побывавшего за границей) и после минутного смущенного колебания попросил вторую чашку, которую выпил с не меньшим удовольствием.

После чего заторопился:

— Вы извините, но мне пора. Поеду гостиницу искать.

— Какую еще гостиницу! — встрепенулась Маша. — У нас переночуете, на раскладушке, а то не по-людски получается: человек бог знает откуда приехал, устал, наверное, а ему — в гостиницу какую-то! По дождю таскаться! Да и Парфеновы на нас обидятся: что, мол, не могли гостя на одну ночь приютить?

Николай с видимым облегчением согласился:

— Спасибо большое! Если честно, так не хотелось в эту непогоду, да с сумкой, да без зонтика... Постараюсь вас сильно не стеснить. Мне, кстати, завтра рано вставать, так что, не обессудьте, уеду не попрощавшись.

— А я вам будильник поставлю, — предложила Маша. — На сколько?

— На четыре.

С формальностями, таким образом, было покончено, и они принялись чаевничать дальше, теперь уже никуда не поспешая, с тортом, с вареньем, с рассматриванием фамильного альбома и неторопливыми рассказами о различных жизненных случаях. Рассказчик Николай был отменный, и побывать ему пришлось — работа такая, пояснил он — в самых разных и удивительных уголках. И за границей тоже. В самом деле, интересно же послушать впечатления человека, лично повидавшего знаменитые египетские пирамиды. Или Стену Плача в Иерусалиме.

Но больше Николай рассказывал о Сибири, Байкале и Дальнем Востоке. Это ж надо, ему удалось своими глазами повидать уссурийского тигра! Видеть, как растет жень-шень! Случалось и золото мыть, но это уж, правда, совсем недолго.

Сергей Иванович, в прошлом заядлый рыбак и охотник, слушал-слушал, да порой и сам вставлял всплывавшие в памяти случаи, про которые без повода не вспомнил бы. Уж больно давно было, словно в другой жизни. Этак вспомнишь — словно помолодеешь, честное слово!

Так незаметно время пролетело. Опомнились, когда за окном совсем уж почернело. Дождевую тучу перегнало, над мокрой столицей зажглось электрическое зарево, присущее всем большим городам. Стали стелиться.

— Я постараюсь не шуметь, — пообещал Николай. — Вы не тревожьтесь, пожалуйста, я потихоньку соберусь и уеду. Спасибо вам!

— Это вам спасибо! Потешили стариков! Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Утром Сергей Иванович проснулся поздно. Видно, причиной тому была лишняя рюмочка ямайского рома, которую он, не утерпев, позволил себе в честь неожиданного праздника. Маша тоже еще спала: набегалась вчера, пусть отдохнет.

Николай, как и обещал, исчез бесшумно, никого не потревожив. Алюминиевая раскладушка стояла у стены, рядом на табурете — аккуратно сложенная постель. А на столе кухонном — лист бумаги. Письмо, что ли? Сергей Иванович достал очки, надеваемые в таких случаях, и оседлал ими нос.

Действительно, письмо. Распечатанное. Значит, заранее составлено, или как? Разве такое может быть? Стал читать.

Уважаемые Сергей Иванович и Мария Степановна!

Так получилось, что вы являетесь юбилейными клиентами. То есть сотой квартирой, выбранной мною для посещения. Будем называть вещи своими именами: я домушник, мошенник, совершающий квартирные кражи и пользующийся доверием и беспечностью людей. Согласитесь, вы вели себя вчера беспечно: в наше время не стоит доверять первому встречному, даже если он владеет кое-какими сведениями из вашей жизни. Получение информации о клиенте является частью профессиональной подготовки, без которой ни один мало-мальски толковый специалист не станет предпринимать никаких действий. Как я получаю такие сведения — это моя тайна.

Например, я знаю, что у Сергея Ивановича имеется орден Боевого Красного Знамени, который, прошу не обижаться за утилитарную точку зрения, на черном рынке котируется достаточно высоко. А в старой броши Марии Степановны третий слева кристалл — не горный хрусталь, а бриллиант, хотя и мелкий и со сколом рундиста.

Впрочем, не беспокойтесь, вашему имуществу ничего не грозит. Как я уже упоминал, вы — юбилейный объект, если позволите выразиться таким образом.

Может быть, вас удивит, что даже у людей моей профессии иногда прорезаются романтические чувства. Возможно, через много лет, сидя на нарах где-нибудь в Нарьян-Маре (что, вообще-то, крайне маловероятно), я буду, посмеиваясь, вспоминать нашу встречу. Хотя, скорее это произойдет где-нибудь на канарских или мальдивских островах, в многозвездочном отеле. Моя деятельность хотя и сопряжена с некоторым риском, но приносит высокий и достаточно стабильный доход. Почему бы не позволить себе небольшое развлечение в рутинной деятельности?

Обычно я специализируюсь на весьма обеспеченных слоях населения. Прошу не воспринимать как намек мою оценку вашего социального положения. Я знаю, о чем говорю. К тому же, богатства земного плана ничего не стоят по сравнению с сокровищами души, а если бы вы знали, как порой скудны бывают души тех, кто окружен материальной роскошью! Так что не спешите осуждать меня за тот способ заработка, которым я пользуюсь. В моей профессии, как и в любой другой, присутствуют свои отрицательные моменты.

Больше вы меня никогда не увидите. Прощайте!

Николай.

P. S. Пожалуйста, уничтожьте это письмо.

Снизу была приписка от руки, печатными буквами:

«Во всяком случае, при общении с вами я был свободен от многих негативных эмоций, обычно присутствующих при работе. Благодарю за это. На память о нашей встрече я позволил себе захватить небольшой сувенир: ваш кухонный будильник. Его мелодия некоторым образом связана с моей работой, а вам, как я заметил, эта вещь особо не нужна. В качестве компенсации на его место я кладу пятьсот долларов. Удачи!»

Сергей Иванович протянул руку. Действительно, на полочке, там, где раньше стоял будильник, лежала маленькая стопка грязно-зеленых бумажек. Он пожевал губами, покрутил головой и отправился в комнату.

Орден был на месте, равно как и брошка. Сергей Иванович посмотрел на спящую Машу, но будить ее не стал. Он, усмехнувшись, вернулся на кухню и некоторое время сидел, изучая листок. Потом чиркнул спичкой и долго

смотрел, как огонь медленно продвигается по бумаге, уничтожая текст. Когда бумага догорела, он выбросил пепел в мусорное ведро, открыл форточку и тщательно проветрил кухню.

За окном сплошной пеленой стоял туман, и привычные звуки утреннего города были поэтому какими-то округлыми и смягченными.

Начинался новый день.

Охота на медведя

На нашем кордоне высокого начальства отродясь не бывало. Потому как добираться сюда не просто: дороги у нас сами знаете, какие. А сегодня прибыли сразу двое, на джипе-внедорожнике — черном, здоровенном, внутри музыка по ушам долбит. И сами разные: один здоров, как бугай, башка брита, а другой, наоборот, маленький, глазки шустры, так и скачут туда-обратно... И сразу быка за рога:

— Где тут у вас начальник?

Надо сказать, что здесь всего-то нас трое: я, да Степаныч, да Варька. Мы оба-два егери, а Варька метеостанцией заведует, заодно и готовит кой-чего. Тайга-то с голоду пропасть не даст, само собой...

Я и говорю:

— А чего вам, добрые люди, надобно?

— Начальника, — говорят, — надобно.

— Ну, — говорю, — все начальство перед вами как есть, потому как Степаныч только к вечеру будет, он в Лосиный распадок подался, а дорога туда не близка, так что давайте, люди добрые, выкладывайте свое дело как есть. Зовут меня Иван Трофимыч, по фамилии Шлыков, по должности — старший егерь, а более никакого начальства тут нет и не предвидится.

Переглянулись они.

— Послушай, Иван Трофимыч, — говорит тот, что помельче. — А есть тут у вас медведи?

— Есть, конечно, — говорю. — Чай, не город, похаживает хозяин-то, где ж ему еще быть, как не тут.

— Это хорошо, — говорит мелкий. — Потому как наш босс шибко хочет в медвежьей охоте поучаствовать. Это завтра можно организовать?

— Послушайте, — говорю, — уважаемые господа, не знаю как вас по имени-отчеству. Я тут специально для того поставлен, чтобы таких вот как вы отваживать. Не обессудьте, а только ни завтра, ни послезавтра никакой охоты у вас не получится. Вы про такую вещь, как лицензия, слыхали?

А тот улыбается, рожа масляная:

— И только-то? На вот, держи — лицензия на отстрел, а вот письмо из лесхоза об оказании всемерного содействия. Так что будь добр это самое содействие оказать, в накладе не останешься... Уразумел, старший егерь?

Гляжу — и впрямь лицензия, по всей форме, и печать, и подпись самого Воротилова... Делать нечего.

— Ладно, — говорю, — уразумел. Будет вам охота. Только медведь не перепелка, он зверь умный, просто так его не ущучишь, выслеживать надо. Через неделю приезжайте, поговорим.

— Ты, братан, не понял, — это уж второй встрял. — Нам завтра надо. Завтра, усекаешь?

— Усекаю, — говорю. — А только ты это медведю сам скажи, если встретишь. И смотри, герой, чтоб он тебя первым не нашел.

— Подожди, Витек, — вмешался маленький. — Ты, Иван Трофимыч, сразу скажи — сколько? Босс за деньгами не постоит.

— Да не в деньгах дело! Медведь не дерево с корнями, на одном месте сидеть не обязан. Оно ведь как бывает: ты думаешь, что вот он, вон-вон в том ложке затаился, а в это время он к тебе сзади подходит: ау, милок!

— Что же, у тебя, егерь, ни одной берлоги на примете нет?

Тут я понял, что дело еще хуже, чем казалось.

— Взгляни в окошко, — говорю, — мил человек. Лето на дворе, али не видишь? Какая такая берлога тебе в июле-то месяце, а? Тебе сказано, через неделю — вот тогда другой разговор может быть, и то не обещаю. Тут точных планов строить нельзя. Короче, неделя сроку, а не то — езжайте с богом откуда приехали.

Вижу, оторопели они. Думали, медведи им под каждым кустом водятся.

— Ладно, — говорят. — Мы пока во дворе посовещаемся.

Совещались они, совещались, спорили, руками махали, оглядывались, затылки чесали, по телефону не раз звонили, наконец, являются:

— Все, Трофимыч, к завтрему будет тебе медведь, мы договорились!

Тут уж у меня глаза на лоб полезли:

— Это что, с медведем, что ли?!

Нет. Оказалось, что купили они медведя! В областном зоопарке купили. И уже везут его сюда, прямо в клетке. Выходит, босс-то этот ихний и впрямь человек очень непростой, коли даже шестерки его такие вопросы походя решают. И сильно это мне не понравилось.

Дальше — больше. Тот, который поздоровее, отозвал меня в сторонку (хотя зачем? нету ж никого вокруг-то!) и, голос понизив, спрашивает:

— А как тут у вас насчет женского полу?

— А никак, — отвечаю. — На сорок верстов в округе никого из баб нету, окромя нашей Варвары, только к ней лучше и не подкатывайся: напарник мой, Степаныч, эту территорию давно уж застолбил, а станешь буром лезть — обломает не хуже медведя. Это у него просто.

— Ну что ж, — говорит тот, усмехаясь. — Собственно, нечто такое мы и предполагали. Ничего, своими силами обойдемся... Но хотя бы баня у вас тут есть?

— Вот что есть, то есть. Да такая, что всем баням баня, можешь не сомневаться.

— Ну и отлично. Завтра баньку протопи к вечерку, а? И шашлычков бы заделать... Не бойся, за все будет заплачено. И Степанычу твоему с Варькой тоже. Ну, как?

Конечно, заработать кто ж не хочет? Пообещал я ему и баньку, и шашлык. Вчера как раз косулю завалил, мясо, слава богу, есть.

Тот бугай аж скривился да руками замахал:

— Какая еще, на хрен, косуля? Мясо мы с собой привезли, пошли, покажешь, куда сгружать. Уже в уксусе-маринаде, в холод поставить — и все, пускай доходит!

Ну, пошли, сгрузили. Мяса-то они приперли — куда там моей козе... Небось, целый кабан пошел. И водки два ящика, и винища, и еще всяких-разных наворотов, я таких и не видывал... Хорошо живут слуги народа.

Так, слово за слово, дело за дело — вечер. И Степаныч как раз вернулся.

— Нет, — говорит мне, — Иван Трофимыч, неправ ты был, это не браконьеры стреляли, это геологи. Зря только ходил. Так что можешь успокоиться...

— Да погодь ты, — говорю, — со своими геологами! Тут такое дело...

В общем, обсказал ему все, как чего приключилось и как нас на охоту с шашлыками подрядили.

Степаныч, конечно, перечить не стал. Еще бы, такие деньжищи сами в руки плывут!

Тут и медведя подвезли. Ничего медведь, крупный, одно плохо — что ручной. Лежит смирно, глазами только следит за нами. Чисто собака, только хвостом не виляет. Смертничек, дурашка...

— Вы чего же, — спрашиваю, — так в клетке его стрелять и будете?

— Зачем? — отвечает тот, что поменьше. — Сейчас его отведем, к дереву привяжем, чтобы куда не ушел, а завтра босс его издалека и застрелит. Нам тут главное дело успеть потом веревку скрыть, чтобы ничего не заподозрил...

Не к сердцу мне такое пришлось, и Степаныч, гляжу, тоже засопел. Ну ладно. Наше дело служивое. Отвели, привязали. А и ночь уж скоро, звезды высыпали — на небе ни облачка, месяц полыхает, полнолуние. Хвойный дух такой, что голову кружит, кому без привычки... По всем приметам завтра жара будет.

Тут я напоследок к этим двоим подкатился:

— Может, ваш начальник просто шкуру возьмет? Есть у меня как раз, прошлогодняя...

Их прямо даже на смех пробило:

— Ну, ты, Трофимыч, и скажешь! Да ему не столько эта охота нужна, сколько имидж — слыхал такое слово? Фотография с ружьем, и чтоб ногой на медведя опершись... На охоту-то он в первый раз собрался. У него друзья — не тебе и не нам чета; надо, понимаешь, своему кругу соответствовать... А шкура — что ж, и ее заберем, почему нет. Тоже пригодится.

Ну, делать нечего. Утро вечера мудреней. Уложили их в горенке, а сами на чердаке, на сене пристроились. Хорошо, комната свободна, Варьки не было — только с утра явиться обещалась.

А утром переполох — нет медведя! Веревки только кусок остался, измочаленный. Я-то молчу, делаю вид, что не в курсах, куда это Степаныч ночью отлучался. А что эти-то двое забегали, заругались! Ажно с лица счернели — и друг на друга, и на нас волком глядят, чуть не шипят от злости — еще бы, вчерась по телефону все в готовности расписали, а тут такой облом! Не сладко, поди, придется!

— Иван Трофимыч, выручай! — чуть не в ноги падает маленький (его Виталием зовут, как выяснилось). — Найди мне этого зверя, не пожалеешь! Далеко ж он не мог уйти, а?!

— Кто ж его знает? — говорю. — Может, он и рядом совсем, а может, уже в соседний район подался. Медведь — он ходок добрый... Так просто его в лесу не найти. И пробовать нечего.

— Что же делать?!

— А нечего делать. Позвони своему хозяину, объясни, мол, так и так, медведь — он и есть медведь...

— Исключено, — мотает тот головой. — Да нас теперь... Ведь они все сюда уже едут!

— Ничего, пусть едут. Шашлыки уже на подходе, банька тоже топится... Постреляют вон по банкам, да и дело с концом... Тут главное — водки не жалеть.

— Ты не понимаешь...

Смотрю — совсем ребята духом упали. Ждут своего босса, как казни неминуемой. Даже жалко их стало.

— Ладно, — говорю, — есть у меня одна задумка.

Чисто живой водой их окатили:

— Что нужно? Говори — все сделаем!

— А нужно им глаза отвести, — толкую. — Вон твой Витек по размеру — чистый медведь! Пусть шкуру напялит и ревет по-медвежьи, я покажу, каким манером... Особо из кустов показываться не след, пару раз мелькануть — и довольно будет. Вот пусть твой хозяин издалека и стреляет... Да не бойся, мы у него жаканы-то подменим. Он, поди, и ружья-то в руках прежде не держал? Так и не поймет. Варвара как раз курей резать собралась, крови собрать можно да маленько там побрызгать — вот и будет твоему боссу честь: и стрелял, мол, и попал, и ранил — да только ушел зверь...

И пока я этак распинался, вижу — повеселели ребята, переглядываться стали.

— А что, чем черт не шутит? Глядишь, и пронесет... Все равно другого выхода нет. Давай сюда свою шкуру!

Эх, смотрю, закипела работа! Варвара мигом иголку достала — здоровенную, с дратвой, обшивает Витька́; Степаныч с патронами колдует; а я отправился место приготовить. Это ж тоже уметь надо, кто медвежьей лежки не видал — нипочем не сделает, как надо. Там веточку обломить, там кору содрать да мох примять, там шерсти клок, да и следы какие-никакие оставить нужно, да так, чтобы не отличить было.

Короче, когда этого их начальника привезли, все уже у нас готово было: мясо в самом соку, каменку накалили, погода — лучше не бывает.

Вылезли они, в двух машинах восемь человек прибыло. Сам начальник с другом, два шофера, еще один — то ли повар, то ли так, прихлебатель на все руки; и три девицы — понятно, для чего. Намазанные, длинноногие, юбки выше пупа. Хохочут-заливаются, весело им. Ой, смотрите, ежик! Ой, муравейник! Тьфу. Подумаешь, муравейник — невидаль какая...

Однако подошли мы со Степанычем, знакомимся. Оказался Петр Ильич — так босса звали — невидным собой мужичонкой в очках с толстущими стеклами. Тоже, стрелок ворошиловский! Нет бы в дурака подкидного играть, а ему охоту подавай... И смех, и грех. Друг его, правда, вполне с виду справный, зато чуть на ногах стоит. То ли после вчерашнего, то ли уже сегодня успел. И вообще они, вся компания, можно так сказать, не первой свежести. Бурно ночь провели, видать. И девицы тоже.

От шашлыка они наотрез отказались: сыты были, по всему заметно. Так только, по верхам перехватили — для закуси. И того, однако, достало — друг его тут же за столом вырубился, и шоферня тоже как один спать отправилась, и остался наш охотник сам-один — бабы-то, натурально, не в счет. И, конечно, тут же подавай ему медведя! Удачно, в общем, получилось.

Я говорю:

— А позвольте полюбопытствовать ружьецом вашим! Потому как в силу профессии интересуюсь всякими оружейными системами и такой агрегат вижу в первый раз.

Потрафил ему, улыбается. Ружье-то ему на заказ делали — доволен, что можно прихвастнуть. А я тем временем в обоих стволах патроны сменил незаметно. Хвалю вещицу — она и вправду хороша, жаль, неумехе досталась — и краем глаза наблюдаю, как напарник мой к патронташу подбирается: все сработал ловко и быстро, молодец парень. Ну, теперь можно и Витька запускать, не страшно. Да и босс торопит, вишь, невтерпеж ему.

Пошли. Я специально Дружка дома оставил, чтобы в ногах не путался, да и мало ли что. Обиделся пес, а только воспитан так, чтобы хозяину не перечить. И привязывать не надо, приказать достаточно, будет ждать, где сказано. А этот Петр Ильич — тоже специалист липовый: даже не знает, что на медведя без собаки не ходят...

Пришли на место, босса, конечно, первым номером поставили. Справа Виталий, слева мы со Степанычем. Я рядом, напарник чуть подале. Женская команда — сзади, со строжайшим наказом: ни звука. Куда там! Хи-хи да ха-ха, то сучок у них треснет, то ветку заденут... Ничего, в случае — скажем, они и спугнули.

— А где Виктор? — вдруг босс говорит. — Что-то я его не видел давно. Надо ему позвонить, — и мобилу достает.

— Стоп, — говорю, — это баловство отставить! Охота тишину любит. Так что аппаратик желательно выключить, а Виктор ваш сейчас загоняет зверя прямо на нас. Как увидите — можно стрелять, первый выстрел ваш.

Ничего, проглотил он эту ахинею. А я думаю: вот был бы номер — идет на нас медведь, а у него в лапе мобильный звонит...

И тут, точно по времени, завозился впереди наш медведь. Кусты шевелит, взрыкивает — хорошо у Витька́ получается, прямо как я учил. Особо не показывается, а сям-там мельтешит.

У начальника даже очки вспотели, руки дрожат, ствол ходуном ходит — спасибо, что не зажмурился. Конечно, первый раз на охоте, да сразу на хозяина — кто не заволнуется.

— Ты ствол-то на сучок положь, — шепчу, — а этак не то, что в медведя, а и в сарай попасть мудрено!

Послушался он, пристроился поудобнее — да как пальнет! Дуплетом, из обоих стволов — тут же его отдача на задницу опрокинула, очки слетели.

Тут, я слышу, и Степаныч стрелил, жаканы у него с воем, специальные. Ничего, Степаныч дело знает, в ста шагах промаху не даст, это он так, для острастки, видно. Ну, и я один ствол в воздух разрядил — для порядка тоже, надо ж комедию поддерживать.

И тут гляжу — несется на нас наш медведь на задних лапах, и орет так, что аж в ушах свербит:

— Спасите! Помогите! А-а-а-а!

Точно — вылетает за ним, за Витьком-то, медведь, да настоящий. Нашему-то медведю чужая шкура мешает, ноги заплетаются, а поди-ка — шпарит, как страус, ноги выше головы. Держит дистанцию.

Тут я и обмер: медведь-то не тот, не домашний, а пришлый, из тайги — видать, на куриную кровь пришел. Подошел на запах, а тут и нет ничего. Осерчал, конечно.

А из всех патронов, почитай, только у меня один и остался, в левом стволе. У Степаныча-то штуцер одноствольный, пока перезарядишь; Виталик не стрелок: вчера на пробу в сосну ни разу попасть не мог; а про начальника-то ихнего и говорить нечего. Да и заряды у него сами знаете какие.

А медведь-то вот-вот Витька достанет! Веду я его на прицеле, выбираю момент, и знаю: промахнуться мне сейчас никак нельзя. Спускаю курок — осечка! Тут на меня вроде как остолбенение нашло: ну, думаю, прощай, Витек, да и нам со Степанычем крышка — не обеспечили безопасность, посадят теперь на столько, сколько люди не живут...

И вдруг — визг! Пронзительный, слов не разобрать, да и были ли там слова-то — это до нашей женской сборной дошло, что дело поворачивается совсем не так, как задумано. Я вроде и не оборачивался к ним, а только в память запало: стоят, за руки держатся, глаза накрепко зажмурили, и орут так, что в области без телефона слышно.

Медведь-то тоже оторопел. Метнулся назад — только его и видели.

А шкуру из-под Витька мы потом Петру Ильичу подарили. Варвара отстирала — и подарили...

АНДРЕЙ СКОРИНКИН

Я уходил в духовный мир...

Беглец

Mentre che'l danno e la vergogna dura,
Non veder non sentir m'é gran ventura...
Michelangelo*

Я уходил в духовный мир —
Туда, где есть покой и воля,
В разгар веселья бросив пир,
На полпути оставив поле...
Но беглеца в сырой юдоли
Смогла настичь твоя любовь,
Лишив надежд о лучшей доле...
И вот я слышу: в жилах кровь,
Как льдины, трогается вновь...

Зачем меня ты оживила
И привела на этот брег,
Где ничего душе не мило:
Ни кислый дождь, ни серый снег,
Ни кровожадный человек?..
Зачем, царица мирозданья,
Ты прервала страдальца бег?
Твои горячие лобзанья
Лишь подслащают яд страданья...

Эолова арфа**

Ее мелодией печальной
Я очарован, потрясен;
Заложен в ней какой-то тайный,
Судьбой отмеченный, резон.

---

* В то время, как злоба длится,
Не видеть и не слышать — для меня большое счастье...
Микеланджело (итал.)

** Беседка в Пятигорске, в которой установлен струнный инструмент, издающий под действием ветра музыкальные звуки.

Который год в порывах ветра,
Все дни и ночи напролет,
Она волнует наши недра,
Она привет нам чей-то шлет.

И часто мнится, что не звуки,
А слезы струны арфы льют,
Как будто души в вечной муке
Псалом раскаянья поют...

Бессонница

Ты ночь не спал — все ждал звонка
Своей избранницы прелестной...
Но вдруг раздался рык из бездны...
И многоточие гудка...

Крещенским холодом дохнуло
В твою израненную грудь...
Ты понял истинную суть
Той, что надежды обманула...

И вновь добавилось седин,
И вновь пьешь горькие лекарства...
Зачем безумные мытарства
Среди сердцеподобных льдин?..

Зачем терзаться понапрасну,
Что ты плутовкой не любим?
Поверь, ей выгодней с другим
Предаться плотскому соблазну...

Вздохни с улыбкой и забудь
Всю эту явь, как сон кошмарный!
Порадуйся заре янтарной,
Росе, что освежает путь!..

Давно ли трелью соловьиной
Ты упивался по утрам?
Давно ли посещал ты храм,
Склоненный головой повинной?..

Ты с горних круч спустился ниц,
Но оказался в мире лишним,
Теперь молись перед Всевышним,
Чтоб спас тебя от дьяволиц!..

Опрокинутый крест

Налетела буря на селенье,
В ярости с костела крест свалила...
Как же так? — выходит, Провиденье
Самоосквернене совершило?..

Или с католическим престолом
У него особенные счеты?..
Или всуе древнего Эола
Посчитали умершим народы?..

Или все иначе обстояло
С этим необычным злодеяньем?—
Просто над селеньем пролетала
Буря, обделенная сознаньем...

Жаркая осень

Растаял снег, в туман и слякоть
Хотелось спать и даже плакать...
Но, как звезда, из темноты,
В моем пути сверкнула ты!..
«Люблю тебя!» — ты мне сказала...
И вновь душа затрепетала!..
И вновь я бросить все готов,
И прилететь к тебе на зов,
И у горящего камина
В забвенье слиться воедино!..

Ужель все это наяву?..
Ужель на небе синеву
Узрели мы среди ненастья?..
Ужель в порыве сладострастья,
Раздув пожарище в крови,
Опять летим в страну Любви,
Где ждет весна и процветанье?..
Прощай, эпоха увяданья!..
Пора уныния, прощай!..
Пускай в сердцах бушует май!..

Жертва урагана

Любовь моя, поймешь, быть может,
Терзанья сердца моего:
Его тревожит глубоко —
Что многих вовсе не тревожит...
Который день тону в слезах,
С трудом переживая муку...
Ты помнишь, как на небесах
Мы были верными друг другу?..

Мы были на одной волне,
Нас музы к звездам возносили...
Но одного из нас во сне
Завоеватели пленили...
Срывая платья и чулки,
Они творили — что хотели...
Но в душу не прошли враги —
Она покоилась не в теле!..
Под окровавленной луной,
В часы жестокого насилья
Твоя душа была со мной —
Ее спасли святые крылья!..
Прости, я этого не знал...
И сразу затянулась рана!..
Считай, никто не изменял —
Мы стали жертвой урагана...
Любовь сумеет победить
Всю черноту и злобу мира!..
И вновь тебя боготворить
Моя не перестанет лира!..

Прощальное письмо

За жаркой осенью холодная зима
Ворвалась в мир любви, как страшная чума,
И с каждым новым днем мы дальше друг от друга...
Прощай, любимая, желанная подруга,
Источник нежности и ласки огневой,
Безумной ревности и грусти вековой...
Отныне будет мне смертельно одиноко,
А вместе быть с тобой — на то нет воли Бога,
Хотя по-прежнему бушует в сердце кровь...
Прощай, последняя и первая любовь!
Поверь, я ни о чем нисколько не жалею!
При мысли о тебе я до сих пор хмелею,
Лишаясь разума, спокойствия и сна,
Как будто в нашу жизнь опять спешит весна...
Ты лучшая из всех красавиц образцовых!
С тобой не замечал я дней в судьбе суровых,
Но время настает проститься навсегда...
Я долго не смогу забыть твои уста,
Твой звонкий детский смех и кудри золотые,
Глаза пожухлые, как травы луговые...
Прощай, спаситель мой, губитель мой, прощай!
Полюбит кто тебя — любовью отвечай,
А я, покрыв главу морозной сединою,
Отправлюсь в мир теней, но прежде тишиною
Упьюсь в сени дубров парнасской высоты,
Где кровью допишу заветные труды,
И лучшие из них напомнят непременно
Читателям моим твой образ несравненный!..

ТАТЬЯНА МУШИНСКАЯ

Здравствуй, Грушевка!

Документальная повесть

В молодости большинство из нас верит, что настоящие герои находятся где-то далеко, в ином пространстве. О них пишут в газетах, они — на театральных подмостках или на телеэкране. Их знает вся страна. Но с возрастом начинаешь понимать: далеко не каждый, кого знает страна, — герой, а необыкновенные люди часто живут рядом.

Интеллигенция всегда высоко ценила то, что рождено фантазией, интеллектом, ценила талант, воплощенный в произведениях искусства. В народной среде высоко котировались люди, которые многое умеют делать руками. К таким людям относились моя бабушка Мария Ивановна и дедушка Федор Федорович Кленовские, родители мамы. Жизнь сталкивала меня со множеством ярких и незаурядных личностей. Однако с полной ответственностью могу сказать: более самобытных людей не встречала.

Время и место

Далеко не все счастливые новоселы знают, что именно на Грушевке, которая нынче активно застраивается современными многоэтажными зданиями, находились истоки легендарной Немиги. В XIX веке здесь писал свои пейзажи Наполеон Орда, и самое удивительное, что они сохранились! Когда-то район Грушевского поселка был окраиной Минска, ведь он возник в конце XIX — начале XX века. Здесь селились железнодорожные рабочие, городская беднота. Поселок не без оснований считался минским Гарлемом, где собралась разная публика по своему социальному статусу.

Сегодня это район, в котором уживается старое и новое. Эффектные и суперсовременные здания на проспекте Дзержинского и заброшенные яблоневые сады. Вывески новых фирм и старые, покосившиеся заборы. Петухи, куры, козы ходят по переулкам, и совсем рядом мчатся по асфальту современные машины. Патриархальные пейзажи контрастируют с фасадами банков. Старый кинотеатр «Авангард» на улице Папанина, заброшенный парк рядом с ним, двухэтажные бараки по улице Щорса — и новая, трехуровневая развязка на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова.

Со временем от старой Грушевки, которая всегда напоминает мне зеленый остров, плывущий между стремительными магистралями, ничего не останется. Возникнет новый, престижный микрорайон, близкий к центру и вокзалу, с дорогими квартирами и развитой инфраструктурой. Тем дороже сердцу, как говорят кинематографисты, «уходящая натура».

Как сочетались здесь черты городского и деревенского быта и уклада? Как жили до войны и после нее? Как менялись условия и реалии повседневной

жизни в 60-е и 70-е годы? Какими представали люди, населявшие этот удивительный район города? Именно на такие вопросы я и постараюсь дать ответ.

Само название «Грушевка» и все, что с ним связано, дорого для меня. Как и название улиц Разинская, Декабристов, Папанина, Щорса, Железнодорожная. На Грушевской я родилась и жила первые шесть лет. Здесь родилась моя мама, прошли три десятилетия ее жизни. С Грушевкой связаны судьбы многих известных в стране творческих личностей: писательницы Галины Василевской, поэта Анатолия Аврутина, композитора Марины Морозовой.

Воспоминания детства — бездонный колодец, из которого человек черпает всю оставшуюся жизнь. Важно только, чтобы вода в нем оказалась чистой.

«Даганяючы — не нацалуешся!»

Бабушка сидит и шьет. Я сижу рядом и рассказываю о своей студенческой жизни. Вспоминаю о подруге, которая влюблена в одного парня. Только о нем и думает. Она восхищается, любит, но издали. А тот не очень часто посматривает в ее сторону.

Бабушка дослушала, поднимает голову от шитья и с говорит:

— Ой, унучачка, нічога з гэтага не будзе! Даганяючы — не нацалуешся!

Сколько раз потом вспоминала я эти слова, выслушивая драматичные или трагикомические сердечные истории подруг! Оно и правда, «даганяючы — не нацалуешся...» Взаимопонимание или отсутствие его, драматизм одиночества женщины и одиночества мужчины, которые не могут найти свою половинку... Многие эмоциональные и психологические проблемы отношений Его и Ее можно объяснить этим коротким афоризмом. В подтексте мысль о том, что для счастья нужна взаимность, а не мечты, оторванные от реальности. И если почему-то не складывается здесь, сейчас и с этим человеком, значит, и не должно сложиться.

До сих пор я не могу ответить на вопрос: откуда у моей бабушки, которая никогда не училась в школе, даже начальной, не читала повестей и романов о любви, такое точное понимание сути любви и брака? Следствие наблюдательности, природного ума и остроумия? Получается, житейская мудрость не зависит от образования и количества прочитанных книг.

«Жаніся, каб дурні не звяліся...»

Как известно, язык человека — точное отражение его мышления.

Бабушка Мария Ивановна была одним из самых превосходных знатоков белорусской лексики и фразеологии, какие мне встречались в жизни. Яркие и сочные словечки и выражения буквально слетали с ее языка.

«Хто ў лесе не злодзей — той дома не гаспадар!» (одна из любимых поговорок; при том, что за свою жизнь она чужой нитки не взяла). Никогда не забуду, как заливисто хохотали мои знакомые оперные певицы, когда однажды в кулуарах театра я озвучила этот афоризм.

«Хто спіць, той не грэшыць»; «Не дай, Божа, свінні рогі, а мужыку панства». Сколько здорового юмора в каждом из этих выражений!

«Каб твае кляты, ды табе ў пяты» (иначе, чтобы тебе вернулось то, чего желаешь другим).

«Да пары збан воду носіць — ручка адарвецца, і збан разаб’ецца». «Абедаў — ды жывот не ведаў», — любимая поговорка деда Федора. Или же

«Абед на абед не пашкодзіць!», — если гости отказывались сесть за стол, ссылаясь на полный желудок.

Некоторые выражения были, возможно, и грубоватые, но без злости, всегда со смешинкой: «Пень прыбяры, і той прыгажэйшы!»

У городских детей и подростков, которые изучают язык по книгам, а не в живой и естественной языковой среде (а его, белорусского языка, в городе никогда много не было, а теперь все меньше и меньше), язык почти всегда имеет вкус дистиллированной воды. Вроде бы и вода, вроде и прозрачная, вроде и жажду утоляет... А не колодезная, не родниковая. Вкуса настоящего — нет... Нет, и все тут!

Очень сожалею теперь, что не записывала за бабушкой, когда была школьницей, а потом студенткой. Осознание самобытности таких присказок и поговорок, сочности народного языка пришло позже. А тогда было просто интересно и весело слушать, потому что колоритные словечки всегда создают благожелательную и непринужденную, а главное, душевную атмосферу.

«Што я буду сядзець, як атручаная?» — то есть неподвижно, молча.

«Яму палец у рот не кладзі»; «Да трох не гавары» — про человека своенравного, с характером. «Узялася за дзела, як вош за цела» — про старательного, аж чрезмерно. «Пнецца, як жаба на корч» — про того, кто переоценивает собственные возможности. От бабушки впервые услышала выражение «пацеры казаць». Значит, молитвы произносить.

Смотрим вместе телевизор. В кадре — негр или, как теперь принято говорить, афроамериканец. Наверное, из Центральной Африки, потому что черен, как сажа. «Ты глянь, які асмалак!» — восклицает Мария Ивановна. Разве такое слово придумаешь сам? В быту чаще услышишь выражение «чорны, як галавешка з печы».

Те, кто жил на городских окраинах, где быт ближе к деревенскому укладу, а не городскому, чаще разговаривали на «трасянцы», в которой органично и естественно соединялись собственно белорусские, русские и польские слова. Например, Мария Ивановна никогда не произносила по-белорусски мягко «ёсць». Она говорила «ест» — почти по-польски. Слово «театр» — «ціятар» или даже «ціянцэр». Но что мне с того! Новое платье («яго можна і ў ціянцэр надзець...») и душевная теплота гораздо важнее, чем неправильно произнесенное слово.

Каждое из выражений бабушки содержало в себе яркий образ. Точнее, систему образов и взаимоотношений. Выразительность усиливалась артистизмом произношения, неповторимой интонацией. Каждое выражение звучало как моральный вывод, который подытоживал ситуацию. «Забіў сабаку — брашы сам!» Мол, не нравится, как говорит или делает кто-то, осудил чужой труд, — начинай вместо него.

«Жаніцца — не ўпіцца, упіўся — праспаўся...» В этой фразе — печальный или оптимистический опыт многих поколений.

«Жонка — не лапаць, з нагі не скінеш...» Когда слышу это выражение, вижу перед глазами немолодую и, наверное, не очень красивую, настырную тетку, которая до смерти надоела, с которой рядом давно не интересно. Но никуда не денешься, будешь терпеть! Как у Высоцкого, «придешь домой — там ты сидишь...»

«Жаніся, каб дурні не звяліся...» Выражение, достойное Франсуа Рабле! В нем — очевидный юмор и припрятанная горечь. Ведь мир не изменился! И никогда не изменится, и каждое новое поколение с радостью и азартом только повторяет ошибки предыдущего. Нечаянно обнаруживается, что ничьи ошибки никого не учат. Есть в этой фразе и затаенная насмешка в адрес того, кто объявляет о своей женитьбе.

Через много лет бабушкино крылатое выражение стало частью припева в моей песне, посвященной именно женитьбе. Правда, композитор Анна Козлова решила, что «дурні» со сцены будет звучать грубовато. Лучше заменим на слова «цешчы» — «каб цешчы не звяліся». Конечно, смысл получается иной, но что поделаешь, если хочешь в конце концов эту песню услышать!

А вот еще присказки и поговорки Марии Ивановны, посвященные всегда актуальным и волнующим темам замужества, семьи, взаимоотношений Его и Ее: «Дваццаць тры — дык замуж пры. Дваццаць пяць — у запечку сядзь». Мол, все надо делать вовремя. «Абое — рабое»; «Два боты — пара»; «Чорт сем пар лапцей стаптаў, пакуль гэтую пару сабраў». Думаю, это аналог русскому: «Муж и жена — одна сатана».

А теперь о наследственности: «Родам куркі хахлатыя»; «Якое ў люльку, такое і ў магілу». То есть от наследственности никуда не денешься. Моя одноклассница, умная и ироничная женщина, которая много лет работает неонатологом в родильном доме (врач, чья специализация — новорожденные дети), эту же идею формулирует иначе: «Гены пальцем не раздавишь».

Но вернусь к поговоркам Марии Ивановны. «З’ядзім спачатку твае, а потым — кожны свае...» Ну, разве повседневная жизнь и истории дружеских отношений не дают блестящих примеров тому, что с тобой дружат, пока ты нужен для дела? «З’ядзім спачатку твае...» Разве не сверкает, не сияет, не переливается?

«Мосціцца, як курыца на курасаднях». Про человека, который долго собирается что-то делать. Или долго крутится в кровати, не может уснуть.

«Гразь не сала, як у ваду — дык і адстала». «З носу кап — у рот хап». Смешно еще и потому, что, оказывается, ничего не пропадает, даже капля из носа.

«Палез, як цыган па драбінах на неба». Наверное, про человека удачливого, а может, слишком самоуверенного, который быстро двигается от одного успеха, возможно, не очень заслуженного, к следующему. Ой, бабушка, какая же ты была мудрая! В полной мере я понимаю это только теперь.

«Искусство кройки и шитья...»

Всю жизнь Мария Ивановна была частной портнихой. Этой профессией зарабатывала на жизнь, занималась ею ежедневно. Просыпаешься летним утром, а ее швейная машинка давно уже стрекочет.

Что бабушка шила? Буквально все, на что имелся спрос и в довоенные, и в послевоенные годы. Шили у нее соседки (почти вся Грушевка, а чаще жительницы близлежащих улиц: Грушевская, Разинская, Щорса, Железнодорожная), родственницы соседок, знакомые и соседи родственников, знакомые знакомых. Позднее — сослуживицы и подруги моей мамы и тетки, мои однокурсницы.

Но тут надо сделать небольшое отступление. Как сильная половина человечества воспринимает новую одежду? Прагматично и функционально. Чтобы в ней было тепло зимой или поздней осенью и не жарко летом. Чтобы одежда оказалась удобной и не мешала движению.

Представительницы прекрасной половины человечества воспринимают свои обновки иначе. Эта блузка мне идет? Она мне к лицу? Хороша ли я в этой одежде? Молодит и стройнит, или наоборот? Новое платье (конечно, если на него есть деньги) — это всегда обещание и призрак счастья. Реального. Близкого. Неуловимого. Женского. Даже если призраком и останется.

Иллюзия, что вот в этом платье я буду другая! И вся моя жизнь будет теперь другой: более праздничной, счастливой, веселой и яркой. Как эти маки или ромашки на ткани. Неслучайно в одной из песен Булата Окуджавы есть такие строчки: «Сулит мне новые удачи / Искусство кройки и шитья...» И потому для каждой молодой девушки или замужней женщины портниха — всегда чуть-чуть волшебница. Она — человек, которому доверяют и рассказывают семейные тайны и секреты, чьего житейского совета спрашивают.

Замечу, портниха — профессия вневременная. Новые платья и костюмы нужны людям при любой власти и любом социальном строе: при нэпе, социализме, капитализме.

Мода как искусство, мода как мощная и разветвленная индустрия — эти явления пышно расцвели в последние десятилетия. Имена известных модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, Дома моды в Париже и Милане — об этом мы узнали гораздо позднее. Как и о баснословных гонорарах моделей. Как об астрономических суммах, которые звезды мирового кино готовы платить за эксклюзивные наряды, в которых они потом дефилируют по «красной дорожке» кинофестивалей в Каннах или Лос-Анджелесе.

Одежда — показатель принадлежности к определенной социальной группе, визуальное воплощение общественного статуса, прочности экономического положения той социальной прослойки, к которой ты принадлежишь. «По одежке встречают...» Темп современной жизни таков, что, к сожалению, часто как встречают, так и провожают. Исключительно по одежке.

Теперешним детям, подросткам, студентам трудно представить, что жизнь в 1960—1970-е годы, не говоря уже о довоенной, разительно отличалась в повседневных проявлениях от той, какой стала позже.

Приведу маленький пример. Помню, в середине 60-х годов, когда я училась в первом или втором классе школы, зимнее детское пальто купить было почти невозможно. Во-первых, дорого, а во-вторых, его надо было искать, а потому — ездить по магазинам. Ни у кого не находилось на это ни времени, ни лишних денег. Поэтому бабушка сшила зимнее пальто из собственного, бордового, драпового. Только сначала перелицевала его (значит, аккуратно распорола старое, постирала, отутюжила, а дальше уже кроила и шила). Голь на выдумки хитра! В то время о супермаркетах и специализированных магазинах, о рынках, где можно купить любые вещи, о распродаже товаров и сезонных скидках никто не слышал. А юмористическое выражение «релаксирующий шопинг» отражает реалии последних десятилетий.

До войны и после нее городские окраины жили бедно, если не сказать, в нищете. Ателье являлось привилегией небольшой и достаточно зажиточной категории людей. И потому для многих людей со средним достатком было выгодно купить в магазине ткань (дешевую или подороже, это уже как позволял кошелек) и занести знакомой портнихе. Особенно, если она недорого берет и к тому же живет недалеко. Тем более, если соседка или родственница уже щеголяют в обновке, сшитой именно этой мастерицей.

Женская одежда, которая в советские времена висела в магазинах на вешалках, часто воспринималась как полное и точное отражение «совкового» вкуса. И «совковой» реальности. Вся она была, как теперь понимаю, простоватая, неуклюжая, напрочь лишенная изящества. Если старой бабушке, то можно надеть, а тем, кто моложе, хотелось чего-то более красивого. Потому у Марии Ивановны все время появлялись новые и новые заказчицы.

Когда женщина приходит на примерку, то мастерице всегда надо в юбке или блузке что-то поправить и подогнать по фигуре. А значит, заказчице

нужно подождать. И каждая рассказывала о семье, детях, муже, его и своей работе. Самых разных женских историй бабушка знала бесчисленное множество.

Что бабушка умела шить?

Платья, халаты, сарафаны.
Юбки, блузки, деловые костюмы.
Мужские рубашки, брюки, шорты.
Пальто, куртки.
Стеганые ватные одеяла.
Занавески, шторы.
Чехлы на стулья и топчаны и т. д.

Ткани в руки Марии Ивановне попадали самые разные. Ситец и шерсть, штапель и бумазея, лен, сатин и креп-сатин, искусственный шелк и драп, репс и ацетат. Когда после войны пришли более зажиточные времена, появился крепдешин и креп-жоржет, а потом — жаккард и трикотаж, попадалась даже парча. И каждая ткань требовала соответствующей технологии и подхода. В детстве названия многих из этих тканей звучали для меня загадочно и таинственно. Как волшебная музыка и знаки другой, не будничной, не повседневной, а более романтичной жизни. «Бархат на шифоне», «маркизет»... — произнесешь про себя, и думаешь: наверное, когда-то давно особы, приближенные к королевскому двору, или артистки из заграничных фильмов носили одежду из такой ткани.

Через много лет в мою жизнь прочно вошел театр. И понятно, безмерный восторг вызывали костюмы, оперные и балетные, сшитые по эскизам театральных художников. Были они фантастически красивые, расшитые камнями и стразами, украшенные блестками и вышивкой. Но разве могла бы я в полной мере оценить роскошь фантазии художника, если бы процесс создания обычной одежды не наблюдала во всех подробностях?

Но вернемся на улицу Грушевскую. Позднее, кроме шитья, Мария Ивановна как-то очень быстро и легко освоила вязание на спицах и крючком. Что она умела вязать?

Шапки, шарфы, кофты из шерсти и мохера, ажурные летние блузки из хлопковых нитей, свитера, джемперы, пуловеры, салфетки, кружевные воротники и манжеты...

Все названное вязалось из самых разных ниток. Если легкое, для лета — из хлопчатобумажных. Если для зимы — из шерстяных или овечьей шерсти. Подбирались цвета, их сочетания, рисунки. Узоры бабушка заимствовала из модных журналов, книг по вязанию, чьей-то уже готовой одежды. Иначе говоря, Мария Ивановна являлась фабрикой художественных изделий. Но все, что выходило из-под ее рук, существовало в единственном или нескольких экземплярах.

В чем проявляется профессионализм?

Что такое портниха? Прежде всего — наличие вкуса, тонкое восприятие красоты: цвета, линии, ткани. Понимание, что кому идет, что к лицу. Но она еще и психолог. Все заказчицы разные, с непохожими характерами, и надо к каждой найти подход. Иногда догадаться, что та хочет, но не может объяснить словами.

Мастерица, которая работает одна, — всегда мини-ателье. Она одновременно художник-модельер, закройщик и швея. Мария Ивановна всю жизнь собирала журналы мод. По фотографиям или рисункам, которые рассматривала долго и внимательно, бабушка могла догадаться, как надо скроить и сшить, чтобы получилось, как на картинке, которую выбрала заказчица. Еще с довоенных времен журналы бабушка в буквальном смысле слова коллекционировала. Были они минские и московские, рижские и таллиннские (о зарубежных тогда никто толком не слышал). Покупала или договаривалась со знакомыми киоскерами «Союзпечати», чтобы оставляли ей новые номера. В 1960—1980-е годы они были дефицитным и ходовым товаром. Ценностью всех журналов было и наличие выкроек, от которых во многом зависел элегантный вид одежды.

Новые фасоны или, говоря современным языком, художественные и конструктивные идеи Мария Ивановна находила где угодно. Иногда «собирала», иного слова и не придумаешь, в транспорте, советовала дочкам присмотреться, как одеты модницы в театре.

Глядя художественный фильм или новости по телевизору, бабушка, кроме всего прочего, имела еще одну заботу, профессиональную. Она пристально и с любопытством рассматривала: как сшито платье у актрисы, как выкроена блузка у дикторши? Какой фасон, какая ткань, какой воротник? Моя неграмотная бабушка мыслила очень логично: если актрису в фильме или диктора именно так одели, значит, это модно и актуально! А потому можно брать на «вооружение»...

Мне нравилось копаться в обрезках тканей, которые остались после шитья, рассматривать их рисунки и фактуры. И фантазировать о том, какая женщина носит вот это платье? Она высокая или маленькая, хохотушка или задумчивая? Еще ходит в барышнях или уже взрослая дама, у которой есть муж и дети? Чувствует себя счастливой или чаще грустит?

Удивительно, что портновскому делу бабушка нигде профессионально не училась. Самые простые приемы шитья ей, еще подростку, показала знакомая. По-видимому, Мария Ивановна имела от природы немалые способности, потому что очень скоро освоила профессию и потом все время, говоря современным языком, обновляла и расширяла ассортимент. Моя немолоденькая бабушка решительно шла в ногу со временем. Она хорошо знала, что теперь «носят», что «не носят», что актуально и современно, а что давно устарело. И потому время от времени инструктировала дочек, всегда выше головы занятых работой. Кстати, дочери переняли ее многие способности, умение шить и вязать.

Мода постоянно менялась. Длина юбок (мини-, миди-, макси-), покрой рукава (реглан, «окат», спущенный) — за всем этим надо было следить, чтобы не отстать от жизни. Каждый заказ оказывался более сложным или более простым, но произведением искусства. На помощь приходили идеи и образцы из журналов мод, но и фантазия бурно цвела! Оборки, воланы, «защипы», юбки-«солнце» и «полусолнце», юбки гофрированные и плиссированные, косой клеш, вышивка, кружева, тесьма, пуговицы и замки... Каким однообразным выглядел бы мир без изобретательности портних!

Одна из комнат бабушкиного дома представляла собой швейную мастерскую. Тут стоял большой стол для раскроя тканей и утюжки готовой одежды. Замечу, раскрой всегда считался более сложным делом, чем шитье. Одно неверное или неосторожное движение ножницами, — и ткань, а значит, и будущая вещь испорчены!

«Надакучылі гэтыя анучы!» или «Надакучылі гэтыя транты!» — время от времени с досадой произносила бабушка. Делала паузу, занималась огородом,

ехала в центр города, чтобы посмотреть, что там происходит, в чем ходят, что продают. Но появлялась новая заказчица, и «производственный цикл» начинался сначала.

Мы привыкли думать, что для счастья и полной жизненной реализации современному человеку обязательно нужно если не высшее, то хотя бы среднее специальное образование. Но как бабушка могла, не получив образования, быть востребованной, нужной такому огромному количеству людей, не понимаю до сих пор.

Что умел делать дед Федор?

А теперь самое время рассказать про деда. Федор Федорович, мамин отец, родился в бедной семье. Молодым парнем он отправился из деревни в Минск. Пришел с фанерным чемоданом.

В довоенные годы не хватало самого необходимого, тем не менее купил балалайку и стал учиться играть. Купил краски, кисти и начал самостоятельно учиться рисовать (жалко, но во время войны все дедушкины картины сгорели). Наверное, страсть к творчеству, искусству, желание расширить реальный мир, в котором существуешь, всегда свойственна человеку.

Федор Федорович был мастером не меньшим, чем Мария Ивановна. Только в иной области. Что умел делать дед? Попробую перечислить, хотя, наверняка, вспомню не все.

Построить деревянный дом на три комнаты с русской печкой, сенями, погребом, застекленной верандой. Обшить дом вагонкой. Сделать двери и окна. Входные двери — филенчатые, межкомнатные — с узорным стеклом. Все окна имели ставни. При необходимости они закрывались и со двора, и изнутри, из дома. А раскрытые ставни напоминали кружева. Вырезанные из дерева узоры приклеивались и аккуратно красились более светлой, чем ставни, краской.

Окна во всех комнатах были двойные. Зимой между рамами лежала вата, украшенная вырезанными из бумаги снежинками. Весной вторые окна Федор Федорович снимал, чтобы можно было легко распахнуть створки в любой комнате.

В сарае, который построил дед, было три части. В одной хранились брикет и уже подсушенные дрова, вторая была... курятником, сделанным по всем правилам — с насестом, а третья являлась дедушкиной мастерской, где стоял рабочий стол, верстак и в ящичках лежало множество столярных инструментов. Там же, на полках, до самой весны хранились собранные в саду яблоки.

Дед умел сделать забор — штакетина к штакетине, соорудить калитку с двухскатной крышей-«навесом», кирпичом вымостить дорожку между палисадниками, построить беседку, которая изяществом напоминала игрушку: если смотришь сверху, беседка выглядела шестигранником; крыша, покоившаяся на столбах-опорах, казалась похожей на шатер. Густо оплетенная виноградной лозой (летом зеленой, а осенью ярко-красной), беседка выглядела очень романтично.

Как-то Федор Федорович сделал небольшого деревянного человечка, у которого благодаря внутренним секретным механизмам двигалась голова, поднимались руки и ноги. Такой человечек долго был любимой игрушкой моего младшего брата Андрея, пока он не взял его с собой в детский садик. Конечно же, все дети захотели с ним поиграть, подергать за руки-ноги... Отремонтировать было невозможно. Согласитесь, коллектив — это страшная сила!

Патриархальный уклад жизни требовал исключительной изобретательности и сообразительности, умелых рук. И потому народная выдумка не заставляла себя ждать! К числу умений Федора Федоровича можно отнести пошив и мужских сапог, и легких женских сапожек.

Что еще умел мой дед?

Он делал мебель. Для себя, дочерей, родственников, знакомых. Все, что производил Федор Федорович, оказывалось тонкой, если не ювелирной работой. И каждая вещь — с придумками. Если это круглый стол, стоявший в центре зала, то полированный, «под орех», на изящных, слегка изогнутых ножках. Он имел две половинки и раздвигался, если надо было посадить гостей и многочисленных родственников. «Абедаў, ды жывот не ведаў...»

Если трюмо, то опять-таки на фигурных ножках. Около огромного зеркала, метра полтора в высоту, с удовольствием вертелись бабушкины заказчицы, рассматривая свои обновки. Столик и рама зеркала, инкрустированные узором из древесины разных пород, выглядели очень презентабельно.

Задолго до возникновения многочисленных фирм, которые изготавливают и собирают в квартирах заказчиков шкафы-купе, Федор Федорович сделал в квартирах дочерей подвижные межкомнатные двери на подшипниках.

Каждое лето дед если не красил, то что-то ремонтировал в своем доме. При жизни Федора Федоровича тот выглядел, как игрушка. Но и мебелью, и ремонтом в доме он занимался в выходные, после работы, в отпуске. Много лет работал столяром в мастерских, где производили кузова для военных машин.

Кстати, многие дедушкины способности переняла моя мама. Она умеет соорудить в городской квартире антресоли, почистить в печке дымоход... Или из тонкой черной кожи сшить внуку «чешки» для уроков ритмики. Но что же удивляться! Как любила говорить бабушка, «родам куркі хахлатыя»...

В окрестностях губернского Минска

Проявления яркого и самобытного характера всегда заставляют задуматься о том, как он сформировался. И тут хотелось бы сделать небольшое отступление и вернуться во времени на столетие назад, в начало XX века. Обрисовать читателю жизнь в тех небогатых, а иногда и совсем бедных белорусских деревеньках, расположенных в окрестностях губернского Минска. В них прошло детство Марии Ивановны, которая родилась в 1910-м, и Федора Федоровича, который появился на свет годом раньше.

Девичья фамилия моей прабабушки была Ломако. Звали ее тоже Марией. Фамилия ее мужа, а значит, и девичья фамилия моей бабули — Садовская. В большой семье росли, не считая ее, семеро детей.

О матери Марии Ломако (получается, моей прапрабабушки), известно немного. Родственники вспоминали, что была она женщина симпатичная — быстрая, поворотливая, деловая. В деревне Закружка, что недалеко от Минска, у нее был небольшой участок земли. Ее родной брат, Ломако, еще до революции уехал в Америку, прижился там. И уже после войны, может, сам, а может, его дети, присылали в Закружку, где жила племянница Федосья (Фенька) Сакович, посылки с одеждой, зная о всеобщей бедности.

Эта шустрая женщина стремилась пристроить своих дочерей в горничные и прислугу. Одну из дочерей, Марию Ломако, отдали на богатый двор девчонкой. Исполнилось ей лет десять, может, чуть больше. Она должна

была пасти скотину, кормить свиней. Как жили батраки у хозяина? Таскать свиньям ведра с помоями — тяжелая работа. День — до вечера, день — до вечера... Следующий такой же. Натаскавшись за день, спали каменным сном.

Так Мария и жила, пока не выросла, при хозяйке, а не при матери. Когда она вышла замуж в деревню Крышники, то не умела ни хозяйство вести, ни порядок в доме поддерживать. Хозяйственная хватка у нее так и не выработалась. Если дочери живут с матерью, то наблюдают и перенимают опыт: как белье постирать, еду приготовить, скотину досмотреть. Крестьянская наука передается из рук в руки, от поколения к поколению. А если ребенка бросили в омут жизни, заставили делать примитивную работу, он ничему и не научился. Ведь свиньи чужие, коровы чужие... И отношение ко всему, как к чужому. Даже и свое делала, будто не своими руками. Когда родились дети, Мария не умела их досмотреть, ни рубашку ребенку сшить, ни огород держать в порядке. Как будто ничего ее и не касалось...

За Ивана Садовского, красивого светловолосого парня, Мария вышла замуж в начале XX столетия. Мария была девушка черноволосая, у Ивана — светлые, почти соломенные волосы. Кто-то из детей оказался похожим на мать. А большинство походило на отца: синеглазые, с таким же красивым овалом лица, прямым носом, светлыми волосами...

Восемь детей! Рождались один за другим. По-видимому, родители были люди крепкие, сильные, и потому все дети выжили. В семье Кленовских дети в младенчестве часто умирали, а у Садовских — нет. Старшие, как обычно, нянчили младших.

Феньку, старшую дочку, рано отдали в батрачки, дома она фактически и не жила. Также рано отдали и Антю. О старших детях мать мало заботилась, потому что была занята младшими. Позже, вспоминая свое бедное, не очень веселое детство, Мария Ивановна с недоумением рассуждала: «І нашто столькі дзяцей? Нашто жабракоў у свет пускаць? Каб валяліся ў гразі? Напладзілі дзяцей, бо нічога болей рабіць не ўмелі. І клопату ніякага ў жыцці не мелі...»

Мария Ивановна Ломако-Садовская умерла во время войны. То ли в 1943, то ли в 1944 году. Но не от старости. Поздней осенью ходила босая, когда уже заморозки начались. Сильно простудилась, началось воспаление легких. А лечить нечем. Было ей всего под шестьдесят.

Муж Марии Ломако, Иван Садовский, работал на железной дороге. Как и жена, заниматься хозяйством не любил. Был порядочный выпивоха. В деревне Крышники имелась корчма, и там собирался народ, который жить не мог без чарки. Там же играли в карты, пили, ссорились, дрались, туда ходили женщины непонятного поведения.

Питейный дом стоял на горке. Время от времени Мария Ломако, Иваниха (женщин называли именем мужа) бегала с дрючком, чтобы своего мужика оттуда забрать. В доме полно детей, их надо кормить. А он последние деньги пропивает! Водку или вино в корчме давали на слово, но записывали, кто сколько должен. Рассчитаться можно было позднее.

Однажды женщины, чьи мужья часто засиживались в корчме, сговорились и подперли входные двери. Разозленные мужики разбили окна, повылезали, и каждый пошел свою жену «учить разуму». А значит, сразу — драка. Одним словом, в деревне была веселая жизнь.

Иван Садовский умер еще молодым, в 1918 году, когда началась эпидемия «испанки». Она выкосила половину деревни. Причем умирали преимущественно молодые мужчины.

Детство моей бабули

В это время моей будущей бабушке исполнилось восемь лет. Ее, как и сестер, отдавали в батрачки, но она нигде не могла прижиться. Плакала, горевала и убегала домой. В конце концов мать решила: пусть остается дома.

Еще подростком Мария занималась хозяйством. Когда в семье родился самый младший сын Иван, заботливая сестра ему шапочку сшила, потом рубашечку. Очень любила его.

Никто не подумал тогда, что и ей, и другим детям нужно образование. Половину зимы ходила Мария в школу, но только буквы выучила. Зимой нечего надеть, поэтому обучение скоро и закончилось. Дорога до школы — километра два или три, и та по полю. Невольно вспомнишь строчки классика отечественной литературы: «Мне мудрасці кніжнай не даў Бог пазнаці, // Мой бацька не мог даць раскошаў такіх...»

Еще живя в доме матери, Мария научилась шить. От деревни к деревне ходила обшивавшая всех женщина. Есть портнихи, которые умеют хорошо шить, но по готовым выкройкам. А раскроить — большая наука и особенное умение. Эта женщина умела все. Портнихи в дореволюционной, да и в послереволюционной деревне пользовались большим авторитетом. Портнихами часто были еврейки. Неслучайно возникла поговорка: «Зробім, як Сора казала!» Еще одна поговорка «Наша Сора то шые, то пора...», — но это про не очень удачливую портниху, которая часто переделывает свою работу.

Марии нравились и стрекотание машинки, и сама портниха, еще молодая, лет под тридцать, к тому же добрая и приветливая. Маня приходила в дом, где шила женщина, и помогала. Крутила ручку машины, чтобы скорей работа двигалась, присматривалась. А та и рада помощнице.

Дед Тодор

Кленовские — фамилия моего деда и, соответственно, девичья фамилия мамы. Семья его тоже была немаленькой, в ней росло шестеро детей. Деревня, в которой жила семья Федора Федоровича, его родители, братья и сестры, находилась недалеко от деревни Крышники, где жили Садовские. Деревня называлась Неўмывакі, хотя некоторые сельчане произносили иначе: Немавакі.

Отец Федора, дед Тодор был колоритной личностью. Прежде всего мастер на все руки. Делал сани, колеса для возов, оконные рамы (многие способности отца перешли к сыну). Видимо, и знахарские способности имелись. Лечил всю деревню — от простуды, от воспаления легких — ставил банки на спину.

Мальвина Викентьевна, его жена, происходила из более зажиточной семьи. Хозяйство у Кленовских оказалось большим, чем у Садовских. Свой дом, большой огород, сенокос, участок под картошку, пара лошадей, несколько коров. Земли своей почти не имели, арендовали у попа. Потому и говорили: «Поехали на поповщину!» В смысле на поповскую землю. Там косили, пахали.

За свою жизнь родители Федора Федоровича большого богатства не нажили, но, видимо, их относительное благополучие кому-то мозолило глаза. В 1930-е годы семью деда Тодора собирались раскулачить. Спасло то, что два сына, Федя и Антон, в это время служили в армии.

Мальвина Викентьевна

Дед Тодор — среднего роста, широкоплечий, коренастый, круглолицый, с прямым коротким носом. Мальвина Викентьевна — красивая, выше его ростом, имела роскошную рыжеватую косу, высокий лоб, тонкий продолговатый нос с горбинкой, который передала сыновьям и дочери Анне.

Дед Тодор был православным, Мальвина Викентьевна — католичкой. Поэтому в праздники он шел в церковь, а она — в костел. Дважды в семье праздновали Пасху, дважды — Рождество Христово. На праздники в хате царили мир и согласие.

Мальвина Викентьевна, как и муж, явно имела знахарские способности. Иногда ее звали соседки, чтобы она «пярэпалахі пакачала» (заговорила испуг, если ребенок плохо спит и плачет без причины). Она брала хлеб, из мякиша скатывала шарики и качала их по спинке и животику ребенка. А при этом шептала «пацеры» (молитвы).

Очень она любила заниматься огородом: сеять, полоть, поэтому у нее все хорошо росло. Дед Тодор иногда помогал, но огород традиционно считался женским делом.

Тодориха, женщина живая и компанейская, дружила с соседками. Дед Тодор по характеру был своенравный и тяжелый человек. Внучки очень любили бабку Мальвину. Она умела и сказки рассказывать, и песни петь.

Дети и хозяйство

У Мальвины Викентьевны и Тодора родилось четырнадцать детей. Выжило только шесть. Восемь детей умерли в младенчестве. Почему?

Тодор зарабатывал тем, что делал сани. Но трудно работать в темноте, на снегу. Притянул Тодор сани, обледеневшие, снегом запорошенные, в дом. И сразу же становилось холоднее. А рядом — дети маленькие, новорожденные. Потому и умирали один за другим. Мальвина Викентьевна вспоминала и плакала: «Як уцягне гэтыя сані, схавацца няма дзе!» Пока лед и снег растаят, пока дерево нагреется... Надышался холодного воздуха — и все! В доме к тому же была большая парность: варилась еда и для свиней, и для коров.

Хозяйство у Кленовских немаленькое. Кур много, ими занималась хозяйка. Всю остальную скотину смотрел хозяин. Считал: главное, чтоб коровы, овцы, телята были сытые. Ухоженные и гладкие. А что корова мало молока дает, так это уже не так важно...

Когда телилась корова, это была целая эпопея. Несколько ночей не спали, караулили, чтобы не пропустить... Коровы телятся зимой: в январе или феврале, когда стоят большие морозы. А только что родившийся теленок мокрый. Если прихватит мороз, может сразу и помереть. Поэтому его надо было сразу же завернуть во что-то теплое и принести в дом.

Три или четыре коровы давали не много молока, но оно было вкусное, жирное. Бабушка Мальвина делала и творог, и сметану. Продавать ездили в Минск, на ближайший базар, Суражский. Теперь на его месте, на улице Московской, расположен завод «Белмедпрепараты» (раньше в народе его называли пенициллиновый завод).

Ездили на своем коне. Случалось, Мальвина Викентьевна отправлялась на рынок одна. До Минска недалеко, 20 километров, дорога занимала часа два. Ехали по Разинской, Железнодорожной, и многое можно было продать по дороге, чтобы поскорее вернуться домой.

Мария Ивановна, когда жила у свекра и свекрухи, часто наблюдала, как они собираются на ярмарку.

Дед Тодор: «Ты ж, Мальвіна, не забудзься, бутэлечку купі. І селядцоў...»

А если дед едет: «Ты ж, стары, купі бутэльку, бо ўжо скончылася...»

Перед завтраком или обедом один у другого спрашивают:

«Ну, дык ты ўжо пакаштаваў?»

«Пакаштаваў! І ты пакаштуй...»

Бутылка водки стояла в сенцах. Каждый ходил и пробовал. По очереди наливали. Понемногу. Но и самогонку гнали.

Так незаметно приучили одну из дочерей, Ганьку, пить. Она сидела возле аппарата, наблюдала. Там же нужно посуду менять: самогонка то капает, то струйкой бежит. А посуда небольшая... («Во время войны, — вспоминала мама, — почти все в деревне гнали самогонку, чтобы продать или на что-то обменять»). Ганька любила посидеть перед самогонным аппаратом. И приучилась пить. Когда стала взрослой, то уже крепко выпивала...

Замужество. Невестка

Крышники, деревня Садовских находилась недалеко от деревни Немаваки, где жили Кленовские. Молодежь из одной деревни часто ходила в другую на вечеринки, где можно было познакомиться, повеселиться, пошутить. Федор и Мария были знакомы друг с другом с 16—17 лет. Вместе бывали на вечеринках, вместе танцевали, песни пели.

Поженились в 1929 году, Федору исполнилось двадцать, Марии — девятнадцать. Вскоре, в 1930-м Федора забрали в армию. Служил он на Витебщине, в Лепеле, а потом в Смоленске. Два года, пока муж не вернулся из армии, невестка жила у Кленовских, в семье мужа. Свекор со свекровью не очень хорошо относились к невестке, обижали. Они были недовольны, что сын взял в жены сироту, девушку из бедной семьи, что приданого за ней не дали. Можно же было жениться и на той, что побогаче!

Две сестры Федора уже вышли замуж, жили отдельно. С родителями оставалась одна только Ганька. Невестку называли не Марией, как сам Федор, а слегка пренебрежительно, Манькой. Большого взаимного уважения ни с одной, ни с другой стороны не было. Но родители мужа и сестра жили в своем доме, а невестка — в мужнином, потому ей приходилось молчать, хотя сладко не было.

Только один пример. Надо печку протопить, чтобы постирать белье. Топили печку не только дровами, но и еловыми, сосновыми шишками, их собирали в лесу. Шишки были смолистые и хорошо горели. Дед Тодор — невестке:

— Ты мае шышкі не бяры!

Что значит «не бяры»? Значит, иди и сама насобирай! Сноха вытерла кулаком слезы и отошла в угол. (Когда сын вернулся из армии, дед Тодор — Федору: «Ты маю куфайку не надзявай!»). С одной стороны, проявление нищеты, а с другой, жесткости и бесчувственности. И через двадцать, и через сорок лет Мария Ивановна те сосновые шишки вспоминала. И каждый раз плакала от старой обиды и недоброжелательности родни.

Свекор со свекровью, по-видимому, надеялись все-таки молодых развести. Когда Федор был в армии, писали ему кляузы на невестку. Мол, Манька гуляет... (Бабушка через много лет вспоминала те годы: «Ну, што я буду вечарам сядзець дома адна? Музыка гучыць, гармонік іграе... Моладзь смяецца і весяліцца. А я буду сядзець як атручаная?»)

Приехал сын на побывку, молодые, конечно, после таких писем поссорились и даже собрались разбегаться. Мария тогда Федору сказала: «Если ты мне не веришь, а им веришь, так с ними и живи!»

Дед Тодор был человеком тяжелым. Обижал не только невестку, но и жену. У Мальвины Викентьевны были рыжеватые, густые и красивые волосы. Уже дети взрослые, а коса — ниже колена. Старый Тодор, человек жестокий, без причины как вцепится в эти волосы...

Время от времени возникали драки. Мария однажды наблюдала такую сцену. В тридцатые годы детей в доме уже не было, выросли, жили отдельно. Мальвина разжигает печку. Горит огонь, она двигает чугуны. Старый Тодор подскакивает и без объяснений — хлоп ее кулаком по голове. Она — за вилы и на него! Он вилы откинул, повалил ее, крутятся клубком на полу.

На улице через дорогу знакомые хлопцы строили дом. Мария выскочила из дому и к ним:

— Павэлак, ідзіце хутчэй! Стары старую забівае!

Один из парней быстро спустился со строительных лесов, вскочил в дом. А тут у порога ведро с водой стояло. Он на них ведро — бух! Поднялись мокрые. Старуха плачет...

После драки дед Тодор говорит жалобно:

— Мальвіна, дай мне чыстую бялізну. Я заўтра, пэўна, памру...

Помоется (а мылись тогда в доме), ляжет головой под образа, уснет. Назавтра просыпается живой и здоровый. Вроде и неудобно ему... И это повторялось не раз.

Армия

До службы в армии Федор только немного знал грамоту. На армию в те времена возлагались большие надежды. Ведь многим полуграмотным солдатам армия и политзанятия заменили образование. В 1932 году Федор вернулся из армии политически грамотным и, конечно же, сагитированным в пользу советской власти. В армии полюбил читать газеты. Рассказывал, с каким интересом молодые солдаты слушали политруков. Ведь они в буквальном смысле слова открывали мир: рассказывали о событиях в мире, международной обстановке, о других государствах, учили читать карту.

Служба в армии двух сыновей спасла деда Тодора от раскулачивания. Антон служил на флоте, в Кронштадте. Когда Федор вернулся из армии, он был едва ли не единственным грамотным на всю деревню. Поэтому ему предложили поработать в сельсовете, сначала секретарем, а потом председателем. Сельсовет находился в одной из ближайших деревень: в Старом селе.

Сколько-то времени поработал, но молодая жена, Мария, настаивала: давай лучше в Минск подадимся. Тем более, там жила одна из сестер Федора, Надя. Ее муж, Василий Кондухович, служил на железной дороге. Сестра убеждала: чем возиться с хозяйством, перебирайтесь лучше в город! Действительно, земли было мало, и та не слишком плодородная. Надя предлагала сколько-то времени пожить у нее.

Молодые решились. Шли фактически с пустыми руками. Федор ходил в той одежде, в которой вернулся из армии. И у Марии тоже особенно ничего не было. Все, что зарабатывала шитьем, она отдавала свекру и свекрови, себе мало что оставляла.

Тодор и Мальвина Викентьевна с собой им ничего не дали, хотя у свекрови и сало в кубле было, и мясо, и картошка, и полотно... Сын с невесткой уже

выходили из дома, а никто из родителей даже не шевельнулся. Тогда Тодор говорит жене:

— Ты уже дай им что-нибудь!

Мальвина Викентьевна зачерпнула литровую кружку (или четверть, как тогда говорили) боба. Федор с Марией уже с крыльца сходили. Свекровь подошла и этот боб сзади в сумку высыпала.

1932 год. В Минске

Молодую семью в Минске приютила Надя, старшая сестра Федора. Ее дом стоял на Грушевке, на углу улицы Разинской и 3-го Железнодорожного переулка. Брату с женой Надя отвела небольшую комнатку за печкой. Клетушка, два с половиной на два с половиной метра. Только кровать поставить. Прожили в той комнатке с полгода, а может, и год.

А потом сняли квартиру на этой же улице. Квартира была маленькая, но отдельная. Две комнатки являлись частью большого, в три квартиры, дома. Кленовским попалась угловая, самая холодная. В соседней квартире жила племянница хозяйки, а в последней — она сама хозяйка, Варька.

Она была когда-то раскулачена, сколько-то времени прожила в ссылке. Женщина суровая, сердитая, иногда даже злая, она была не очень довольна молодыми квартирантами, а им, конечно, хотелось и посмеяться, и повеселиться. Большой приязни не чувствовалось, но квартиранты платили вовремя, десять (или пятнадцать) рублей в месяц, по тому времени немаленькую сумму.

Квартира имела 18 квадратных метров. Две комнаты, одна — десять метров, вторая — восемь. В центре — высокая русская печка с лежанкой. Был маленький зальчик, кухни фактически не существовало, ее заменял небольшой проход в другую комнату. В проходе у печки стояла тумбочка. Да, квартира была маленькая, но тем не менее здесь месяцами жили братья и сестры Марии Ивановны: Иван, Володя, Антя, когда приезжали в Минск.

Кленовские прожили в этом доме десять лет. Тут родились и обе дочери: Тамара и Таиса. Во время войны здесь оставалась Мария Ивановна с детьми. Когда Федор Федорович вернулся из немецкого плена и лагеря для военнопленных, его выхаживали в этом же доме.

Когда молодая семья еще только поселилась на Разинской, Мария Ивановна уже хорошо шила. Ей исполнилось 23 года. Одной заказчице платье понравилось, второй... Так Мария Ивановна начала зарабатывать.

Поднималась очень рано. Летом — в четыре-пять часов и сразу садилась за работу. На улицу выходило два окна, около них рос тополь. Он и теперь там растет. В комнате между окнами был простенок, и там стояла швейная машинка.

Ее Марии Ивановне помогли купить родственники еще до замужества. Швейная машинка была по тем временам не дешевая, «зингеровская». Она служила долго, до 1960-х годов, когда приобрели немецкую, многооперационную.

Столовка. Начало столярства

В армии Федор имел звание старшины. И в последнее время работал в столовой. Потому Надин муж, Василий, устроил его в Минске в столовую вагоноремонтного завода заведующим складом.

Но завскладом из него не получился. Федор Федорович вспоминал такой пример. Осенью на склад привезли вагон морковки, свеклы, капусты. Поло-

жили на хранение. Весной пришла ревизия, начали проверять. Заведующий складом за все отвечает и должен документально подтвердить, что все в порядке. Что не растаскали, что продукты в хорошем состоянии. Контролер залез на гору моркови и... провалился по колено. Оказывается, морковь запарилась и сгнила, превратилась в кашу.

Со столовкой распрощался. Но вспомнил, что в столярном деле многому научился у своего отца. Пошел в столярный цех в том самом вагоноремонтном заводе.

Навыки столяра очень помогали и в повседневной жизни. Когда семья только перебралась в отдельную квартиру на улице Разинской, сестра Надя выделила им маленький столик, шкафчик. А больше ничего не было. Федор Федорович сделал кровати, табуретки, стол. Позднее очень удобный, надежный, вместительный шкаф для одежды. Наверху — полки, перекладина для одежды на вешалках, внизу — два больших ящика. Удивительно, но шкаф и во время войны уцелел, прожил больше 50 лет. Когда семья переезжала — сначала с Разинской на Вирскую, потом в бараки, наконец, в свой новый дом, — каждый раз и шкаф перевозили.

Вскоре Федор Федорович перешел работать в военные мастерские, которые находились на теперешнем проспекте Дзержинского, за 4-й клинической больницей. В мастерских многое изготавливали, в том числе тачанки (по сути, это двуколка с пулеметом). Федор Федорович работал там столяром до самой войны. Когда Минск освободили от немцев, некоторое время служил на железной дороге, потом снова вернулся в мастерские. В столярном цеху, где изготавливали рамы, кузова для военных машин, он работал до самой пенсии.

Война

22 июня, в воскресенье, началась война. В понедельник, 23-го, Федор Федорович еще пошел в мастерские. Ночью 24-го или 25-го немцы начали бомбить Минск, особенно центр города. «Если стоишь на улице Разинской, — вспоминала мама, — то видишь ветку железной дороги, которая идет в сторону Барановичей. В центре города полыхало пламя, и все было закрыто дымом...»

Мужчины говорили, что должна начаться мобилизация. Но повестки никто не приносил. Несколько человек из мастерских решили сами идти и искать военкомат. Федор Федорович зашел к сестре Наде и попросил, хоть и не было между ними особенного понимания:

— Ты ўжо дапамажы Мані. Дзяцей маіх пасцеражы. Я цябе вельмі прашу...

Перед тем, как уйти из дома, он взял с собой паспорт. Это оказалось спасением. А двое рабочих из военных мастерских паспорта не взяли. Позже, когда они встречали воинские части, у патрулей сразу возникал вопрос: кто такие? У кого документов не было, тех отводили в кусты и расстреливали. Федор Федорович объяснял: эти люди вместе со мной работают, просто не успели паспорта взять.

Пока искали военкомат, дошли до Уручья, где раньше размещались воинские подразделения. Там тоже никого нет, только пепел летает от сгоревших бумаг... Военкоматы находились в центре города и, по-видимому, уже эвакуировались.

«Немцы пришли в Минск 28 июня, — вспоминает мама. — Когда бомбили и город горел, мама и мы с сестрой Таисой сидели в Надином погребе. Тут же сидела и Надя с дочками и внучками. Погреб небольшой, расположен

во дворе дома. Немец открыл дверку погреба, удостоверился, что тут только женщины и дети, и пошагал дальше...»

А Федор Федорович вместе со своими товарищами дошел до Калининской области, теперешнего города Твери (тогда он Калининым назывался). В августе и сентябре шло формирование воинских частей. Там, в Калининской области создали воинскую часть из добровольцев и бросили людей, по сути, без оружия к линии фронта, чтобы закрыть прорыв. Хорошо известно, как были вооружены наши солдаты, да еще из добровольцев, в начале войны. Одна винтовка приходилась на двоих. Позже Федор Федорович вспоминал, что однажды на переправе на Дисне солдаты, которые должны были перетащить на себе пулемет, его утопили. Нечаянно, конечно, ведь сами еле выплыли. Так их тут же, на берегу и расстреляли. За то, что пулемет утопили...

Многие солдаты не успели и выстрелить, как попали в окружение. С ним это случилось за Смоленском.

Оккупация. Веники

Вспоминать войну Мария Ивановна не любила. Как только начинала рассказывать, сразу же начинала плакать. Смотреть на ее слезы было тяжело, и потому я не настаивала. Теперь жалею, что не расспросила. Многие подробности и детали военного быта исчезли навсегда.

Во время войны моя бабушка, а тогда молодая тридцатилетняя женщина, осталась в Минске одна с маленькими дочками. Тамаре, моей маме, исполнилось тогда семь, а Таисе, ее младшей сестре, — только четыре года. В Минске жили еще и родственники мужа. Но рассчитывать приходилось больше на себя: ведь люди они были странные и мало предсказуемые, о чем свидетельствует следующий эпизод.

В один из первых дней войны, когда «наши» из Минска ушли, а немцы еще не появились, власти в городе не было. Никакой. Затишье, тревога и неопределенность. Тот, кто оставался в городе, и кому не было куда ехать, поняли, что советская власть больше их не защитит. Заботиться о них никто не будет, и теперь выживание — это только их собственная забота и ничья больше.

Потому из магазинов продуктовых и хозяйственных, в которых в первые дни войны не было ни охраны, ни замков, жители города хватали все, что можно поднять и унести. Муку, сахар, крупы, мыло, соль, спички... Город жил в неизвестности: что будет дальше, какой окажется жизнь при немцах?

Мария вместе с Надей, сестрой мужа, отправились в центр города, чтобы прихватить то, что по какой-то причине не забрали другие. Когда добрались до центра, выяснилось, что таких умных много. Магазины пусты. Две женщины возвращались на окраину... с охапками просяных веников. Конечно, и смешно, и грустно! Столько метелок в хозяйстве не нужно. Они рассчитывали потом обменять метелки на что-то, более необходимое.

Поскольку Надя жила ближе к центру города, а Мария дальше, то она оставила свои веники у нее, потому что спешила домой, к дочкам. Когда назавтра пришла за своими метелками, Надя ее даже на порог не пустила.

— Маня, какие метелки?! Твои метелки уже давно свиньи подрали...

Мария Ивановна постояла, повернулась и молча пошла, вытирая слезы от такой наглости. Еще долго после войны она о тех метелках вспоминала...

Лагерь для военнопленных

Первый лагерь, в который попал Федор Федорович, находился около Бобруйска, второй — около Осиповичей. Это произошло в декабре 1941-го. Зима в тот год наступила рано и оказалась очень холодной. В лагере Федор Федорович заболел тифом. И уже почти умирал. Немцы тифозных держали в отдельных бараках, чтобы они других не заразили. И всю войну очень боялись тифозных больных.

Какая-то женщина нашла в лагере своего мужа. Федор Федорович среди беспамятства (у тифозных обычно держалась очень высокая температура), услышал слово «Минск». Сквозь бред спросил:

— Хто там пра Мінск гаворыць?

Женщина отвечает:

— Я.

Женщина находилась не в бараке, а разговаривала со своим мужем через разбитое окно. Федор Федорович попросил ее:

— Знайдзіце ў Мінску, на рагу 3-га Чыгуначнага завулка і вуліцы Разінскай дом Надзі Кандуховіч. Гэта мая сястра. Паведамце, што Федар у Асіповічах, у ціфозным бараку...

Женщина просьбу выполнила. Связались с деревней Ярково, у родственников взяли коня. Марию Ивановну повез на коне Данила, муж Феньки, сестры Федора. Они пробыли в дороге недели две. Сегодня, чтобы добраться от Минска до Осипович на электричке, нужно всего два часа.

Дали что-то немецкому солдату, который стоял около барака и караулил, «выкупили» Федора Федоровича, привезли домой. Как его на воз втащили? Непонятно. Доставили еле живого. Военнопленных никто не кормил, только баланду давали. Моя мама вспоминала, что у отца развилась такая дистрофия, что никак откормить не могли. Много он потом про свой плен рассказывал.

Он еще долго болел. Все волосы на голове вылезли. Тиф заразный, могли все в семье заболеть. Но повезло, Бог миловал. А потом выявился туберкулез. Бабушка, а тогда еще молодая женщина, и спасла, и вылечила.

Почему позднее Федора Федоровича в армию не забрали, когда советские войска Минск освободили? И потому, что имелись справки о туберкулезе, и потому, что устроился работать на железной дороге.

Как спасались?

Во время войны жить в оккупированном Минске было тяжело. Не работали никакие продуктовые магазины. Каждый спасался, как мог. Позднее немцы стали выдавать карточки на хлеб.

Весной на небольшом огороде около дома бабушка садила лук, щавель, горох, фасоль — все, что быстро идет в рост. Лук только успеет пустить зеленые стрелки, как ночью соседи вылезают тихо через окно, чтобы выкопать его и тут же съесть. Голодные! «Кто оказался ловчее, тот выжил, а растяпы поумирали», — вспоминала бабушка.

Во время оккупации семью не однажды спасала профессия портнихи. И то, что у запасливой бабули хранились припрятанные отрезы тканей, несколько больших пуховых платков, купленных до войны. В 1942-ом она вдвоем с родственницей ездила в Западную Беларусь, чтобы одежду поменять на картошку, сало, муку. В Западной всегда жили лучше.

И туда, и назад добирались в холодных товарных вагонах. Дрожали от страха, что немцы могут расстрелять. Могут продукты отобрать. Действительно, несколько раз их чуть не застрелили, спаслись чудом. В тех настывших товарняках бабушка так сильно простудилась, что два месяца лежала с воспалением легких. Думала, что уже не поднимется и умрет. Через три с лишним десятилетия, в 1980-м, она рассказывала про те холодные вагоны и плакала, снова переживая страх, особенно за маленьких дочек, оставшихся в Минске...

Драматических ситуаций хватало. Во время войны дед и бабушка (а тогда тридцатилетние люди) в одной из комнатенок дома прятали семью партизана или подпольщика, своих довоенных знакомых. Комнату забаррикадировали шкафом. Когда в дом зашли немцы, их напугали: там, мол, тифозный больной лежит. Немцы в ту комнату и не сунулись. А если бы кто-то донес? Страшно подумать, что могло бы случиться...

Трудно жилось и после войны, всюду царила беспросветная бедность. Мама вспоминала, что вместе с младшей сестрой Таисой они ходили в лес за ягодами, за черникой или малиной, на станцию Волчковичи. Часто с поезда сразу отправлялись на рынок, чтобы продать и принести домой деньги. Иногда мама с сестрой (тогда еще подростки) ходили на рынок и продавали стаканами клюквенный морс. В киоске покупали концентрат и разводили водой прямо из колонки. Сестры ходили в толпе и звучно предлагали:

— Кому клюквенный морс? Кому клюквенный морс?

Стакан морса стоил несколько копеек. Сестрам было интересно чувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Одновременно зарабатывали деньги, чтобы помочь матери.

Жизнь как ритуал

Однако вернемся из послевоенного времени в 70-е годы.

Хорошо понимаю родителей, которые отвозят детей на лето в деревню, к бабушкам и дедушкам. Строят дачу или снимают ее на теплое время года. Чтобы чадо дышало свежим воздухом, носилось на велосипеде, лазило по деревьям. Набиралось здоровья и впечатлений.

Когда мама привозила меня на Грушевку, то обычно оставляла на неделю или две. Домашний телефон в то время воспринимался почти как роскошь, доступная не всем. Он имелся в Зеленом Луге, где жили родители, но до частного сектора блага цивилизации доходили не так быстро. Поэтому мама, чтобы узнать, как поживает дочка и все ли у нее в порядке, ездила через весь город общественным транспортом и с пересадками.

Что мне особенно нравилось в доме бабушки, так это неспешный темп жизни. Родители были всегда заняты: у мамы каждый учебный год оказывалась большая нагрузка в школе, папа пропадал в своем институте и библиотеке. А бабушка работала дома. Или вокруг дома.

В Зеленом Луге во время учебного года надо каждый день шевелиться и поворачиваться. Иначе не успеешь и всюду опоздаешь! Каждый день надо отправляться в школу, а вечером садиться за уроки. Кроме того, существовали занятия музыкой и спортом. А на Грушевке некуда торопиться. И потому, что лето, и потому, что в детстве день бесконечен. Дома доминировал стиль сдержанный, отчасти пуританский, в центре оказывались учеба, книги, письменный стол. У бабушки жизнь была раскованная, ярко-цветистая и сочно-раблезианская.

Утром бабушка собирала деда на работу, ставила варить обед, кормила курочек и садилась за швейную машинку. Днем Федор Федорович приходил на обед и опять отправлялся в мастерские. Вечером, часов в шесть-семь, ужинали. Летнего вечера хватало и на огородные заботы, и на телевизор. Бабушка шила, дедушка мастерил или читал.

По субботам ходили в баню, которая находилась недалеко. Причем отправлялись по очереди, чтобы не оставлять дом без присмотра. Дед брал с собой березовый веник, бабуля — без веника. Возвращались они, особенно зимой, разрумяненные и умиротворенные. В 10 вечера, перед сном пили чай. Потом Федор Федорович шел закрывать на ночь калитку.

По выходным или праздникам расписание оказывалось иным. Просыпаешься утром в бабушкином доме, стоит тишина. Никого нет, входная дверь закрыта. Значит, рано утром уехали на базар. Чтобы купить зерно для кур, а продукты для себя. Возвращались, и тогда начинались привычные хозяйственные хлопоты.

Утром, до завтрака, я выбегала из дома, чтобы обойти огород и все грядки. Распустился ли за ночь какой-нибудь новый цветок? Покраснела ли клубника и садовая земляника, которая вчера была еще неспелой? А может, появились зрелые сливы? Много ли яблок лежит в бороздах, среди картофельной ботвы?.. Я и теперь мечтаю проснуться летним утром в деревенском доме и сразу же помчаться в сад. Но, увы, некуда...

Хороводы цветов

Цветы традиционно были бабушкиной заботой. Богатство их оттенков поражало и радовало глаз в каждом из трех палисадников. Начиная с ранней весны и до поздней осени, все пространство вокруг бабушкиного дома утопало в цветах. Вдоль ограды разрастались кусты сирени, жасмина, шиповника.

В цветах, их сортах, особенностях ухода за ними Мария Ивановна хорошо разбиралась. Весною или осенью покупала семена, луковицы тюльпанов, черенки роз и клубни георгин. Если перечислить цветы, которые росли в ее палисадниках, то, наверное, придется назвать все самые известные садовые цветочные культуры.

Как только сходил снег, в апреле, на грядках проклевывалась и как-то быстро и радостно появлялась на свет примула. Сладкий аромат ее соцветий, о котором успеваешь забыть в течение долгой зимы, казался предвестием лета. К майским праздникам успевали расцвести тюльпаны, ярко-красные, желтые и бордовые. Рядом с ними всегда оказывались нарциссы, чьи белопрозрачные, в прожилках, лепестки всегда напоминают мне крылья стрекозы. В мае и в июне манили своей красотой желто-сиреневые ирисы, огромные кусты одуряющего жасмина и сирени — белой, лиловой, розовой.

Все лето, привлекая к себе пчел, на грядках между огурцами, кабачками и фасолью, росли крепкие, невысокие, но яркие ноготки, бархатцы и настурции. Медленно покачивались под ветром томные, как южные красавицы, белые и розовые пионы, а рядом с ними гордо цвели на высоких стеблях крупные, белые и фиолетовые садовые колокольчики. А в другом конце огорода, рядом с узорчатой деревянной беседкой, которую смастерил дедушка, распустился огромный куст шиповника.

В августе царил надо всем запах сиреневых и розовых душистых флоксов. Торжественно выглядели гладиолусы, трогательно и нежно — розы. Но особенно много в бабушкином палисаднике оказывалось аристократичных

георгин. Их роскошные кусты вымахивали иногда выше головы. Цвета георгин оказывались самые разные — от белых и желто-лимонных до розовых, алых и темно-бордовых. Круглые, как шары, плоские, как расписные тарелочки. Отцветали одни, выбрасывали бутоны и начинали раскрываться другие. Живописный и нежный хоровод садовых цветов казался бесконечным.

Все те букеты, которые я и брат Андрей еще школьниками дарили учителям 31 мая и 1 сентября, — все они из бабушкиного сада. Но красота бабушкиных цветов и подобранные ею сорта высоко ценились не только родственниками. В конце мая или в начале сентября, когда букеты нужны в каждой семье, где есть дети-школьники, в ее сад время от времени залезали мелкие воришки, чтобы срезать самые яркие и на самых высоких стеблях.

Мария Ивановна, конечно, возмущалась и, зная воровские нравы некоторых близких соседей, лучшие цветы срезала сама. Заранее. Перед праздником. Пусть лучше в зале в хрустальной вазе на столе постоят! Подальше от завистливых глаз...

Курочки — и белые, и пестрые

Коты и собаки у бабушки с дедушкой не водились. А вот куры жили всегда. Часть хохлаток были белыми, часть — пестрыми. Вот эти пестренькие (таких любят рисовать художники, иллюстраторы детских книг) выглядели особенно ярко и колоритно. Да и яйца у них получались не белые, а «цветные», бежево-коричневые. А на сковородке желток отличался особенной яркостью. При курочках важно ходил и петух.

Помню, с каким любопытством наблюдала я за только-только вылупившимися цыплятами. Они были крохотные, мокрые и несчастные. Через какое-то время осваивались в новой среде: обсыхали, бледно-желтый жалкий и слипшийся пушок становился ровным. И теперь все чаще напоминали тех живых и веселых цыплят, которых мы привыкли видеть на картинках.

Весной, когда огород освобождался от снега, но еще не проклюнулись первые ростки, бабушка выпускала туда своих кур. Если одна из хохлаток, порывшись в земле, находила сочного и аппетитного дождевого червяка, обычно розово-сиреневого цвета, к ней тут же мчались остальные. У человека созерцание членистоногих может вызывать и отвращение, но судя по тому, как его делили куры, он считался у них лакомством. Как десерт у людей.

Летним днем бабушка старалась выпустить своих хохлаток из сарая как можно раньше. И укладывались курочки спать тоже не затемно, а еще до захода солнца. Сарай, в котором они жили, неплотно примыкал к соседскому забору, поэтому куры могли прогуливаться туда-сюда. В теплый летний день усаживались прямо в пыль, устраивая подобие лунки.

Иногда за сараем в пыли или под листьями лопухов можно было найти одно-два снесенных яйца. Вообще процесс сбора яиц всегда сопровождался у меня радостными, можно сказать, какими-то первобытными эмоциями. Утром всегда хотелось заглянуть к курочкам: хорошо ли они постарались за утро? Хохлатки сидели в небольших ящичках, куда обычно насыпали солому и сено. Бабушка учила: в сарайчик нельзя влетать — испугаешь пеструшку. Заглядывать надо тихо и осторожно.

Интонация, с которой звучали куриные междометия, каждый раз оказывалась разной. Иногда в звуках «кудах-тах-тах» слышалось раздражение и недовольство (верно, не поделили червяка). Иногда звучала тревога. Поче-

му? Причиной могла быть соседская кошка, взобравшаяся на забор, птицы, летавшие над двором. Случалось, куриное «ко-ко-ко» звучало с печалью. Это означало: мы — голодные, нас пора покормить!

Наверное, эта почти идиллическая картинка сохранится в памяти на всю жизнь. Бабушка кормит кур, сыплет им зерно, ласково и заботливо приговаривая: «Тип-тип-тип!», — а они, смешно переваливаясь на тонких ножках, радостно бегут к ней из разных уголков двора.

От чердака до подвала

Романтика, связанная с освоением мира и незнакомого пространства, или открывается в детстве, или не открывается вовсе.

Однажды в сенях дома, где, казалось, все давно знакомо, бабуля приставила к стенке высокую лестницу. В хозяйстве их хватало.

Она взобралась на самый верх, на потолке толкнула едва заметную дверку (белую, как и весь потолок), которая, оказывается, вела на чердак. Вслед за ней, конечно, быстренько забралась и я. До сих пор помню восторг неожиданного открытия незнакомого пространства. Это в доме-то, где, мне казалось, освоен каждый уголок!

Наверное, бабушке нужно было здесь что-то найти. А может, разложить для сушки яблоки и груши. На чердаке было жарко. Пахло разогретой жестью, старыми кирпичами. Через чердак шли два дымохода от двух печек, они соединялись и превращались в печную трубу. Все вокруг было покрыто пылью, и оттого выглядело еще более загадочно.

По углам лежали баулы со старыми вещами, стопки старых газет. Среди них нечаянно обнаружились мамины школьные сочинения и студенческие рефераты, написанные аккуратным, просто бисерным почерком. Бумага на тетрадках давно пожелтела от времени. Что в этом странного? Ведь прошло не меньше четверти века!

В стопках газет неожиданно нашлись театральные программки 1953—1955 годов. Было любопытно, какие же постановки смотрела мама во времена своей молодости? Как будто я нечаянно заглянула в ее тогдашнюю жизнь. В программках Театра оперы и балета капельдинеры «птичками» отмечали фамилии артистов, которые в тот день пели или танцевали. Стояли те «птички» у имен Ларисы Александровской, Исидора Болотина, Николая Ворвулева, Риты Млодек и других послевоенных звезд. Конечно, программки хранились в доме не на самом почетном месте, но ведь и не выкинули же их! Оказалось, к театральной истории страны можно прикоснуться вот так, неожиданно, на запыленном бабушкином чердаке...

Не менее интересным оказался и подвал дома. Причем, он также обнаружился неожиданно. В сенях (или по-белорусски «сенцах») находились газовая плита, огромный, красного цвета баллон и стол, на котором обычно стояли ведра с водой. Постоянно пополнять ее запасы — это была забота Федора Федоровича. Воду из колонки он приносил вечерами. Зимой на поверхности ведер за ночь образовывалась наледь, порой тонкая и ломкая (как удержаться и не попробовать пальцем?), а иногда крепкая, в два-три сантиметра толщиной.

Однажды дедушка снял ведра, отодвинул стол, потянул в сторону кусок линолеума на полу. Это оказался замаскированный вход в подвал: кольцо, за которое надо потянуть, откидная дверка, лестница, которая ведет в темноту. Фонарик, выхватывающий из темноты кирпичные стены... Почти детективная

обстановка, интересно и жутко! Фантазия и мрак рисовали подземный ход, который ведет на окраину города (или хотя бы к соседям), съемки фильма, посвященного войне. А может, здесь спрятаны настоящие сокровища?

В реальности все оказалось гораздо проще. В холодном подвале дедушка хранил картошку, которая постепенно расходовалась. А весной ее остатки нужно было достать, чтобы посадить. За теми двумя мешками и спустились. Но детям все интересно! Особенно, когда реальные картины дорисовывает воображение.

О станьковских воронах

В образе жизни бабушки и дедушки удивительно и очень естественно сочетались приметы деревенской и городской жизни. Кроме своего основного занятия, шитья и вязания, которое приносило в дом деньги, у бабушки оказывалось еще много забот.

С осени и до весны надо было ежедневно топить печки. Утром она разжигала печку на кухне. Варился обед, грелась вода. Газовая плита с баллоном появилась позже. Вечером топили вторую печь, чтобы тепла хватило в доме на всю ночь. «Вечерней» печкой обычно занимался дедушка. И так славно было сидеть рядом с ним, смотреть, как он подкладывает свежие поленья, как весело прыгает по ним огонь! Когда-то в сарае хрюкали свинки, потом государство решило подсобные хозяйства, особенно в городе, уничтожить на корню. Поэтому остались одни только куры.

Всегда проворная, поворотливая, бабушка видела жизнь с практической стороны. И когда видела, что у меня или мамы этой деловитости и хватки маловато, произносила с досадой:

— От, абедзьве вы вароны станькаўскія!

Сознательно оставляю белорусский вариант, он колоритнее. Почему «станьковские»? Наверное, потому что Станьково находилось недалеко от бабушкиной деревни. «Вороны» — растяпы, ротозеи. Она произносила это без злости, с сожалением, что мы своего интереса не видим и за него никак не боремся...

Желание выбиться из беспробудной нищеты, организовать вокруг себя более зажиточную, радостную и достойную жизнь вело бабушку вперед и вперед. Благодаря своей профессии она постепенно создала для себя и семьи вместо бесхлебицы — относительный достаток, вместо убогости — красоту. И возможность заниматься творческим трудом, каким, по моему убеждению, является шитье и моделирование.

Думаю, сегодня бабушка стала бы индивидуальным предпринимателем. Уже чего-чего, а предприимчивости, практичности и сообразительности у нее было предостаточно!

Когда ее дочери выросли, вышли замуж и стали жить отдельно, оказалось, что свободного времени у бабушки значительно больше, чем у них. Одна работала педагогом в школе, вторая — архитектором в проектном институте. Бабушка трудилась на себя, на укрепление своего семейного благосостояния. А дочки работали исключительно на государство. Известно, какими в советские времена были зарплаты у бюджетников. Востребованная и престижная тогда и сейчас профессия портнихи приносила Марии Ивановне денег больше. Поэтому дочери, имеющие дипломы, перед зарплатой время от времени одолжались у своей мамы, не получившей даже начального образования.

Возвышенное и земное

Жизнь в доме бабушки привлекала, в первую очередь, свободой. В отличие от школьных или пионерских лагерей, никто по расписанию не жил и строем на мероприятия не ходил. Конечно, бабушке я помогала. Причем с удовольствием. Все было в охоту. Сходить в магазин за продуктами. Принести из колонки воды, хоть и по полведра и за несколько раз. Полить клумбы. Прополоть грядки. Насобирать ягод, яблок, груш. Насыпать зерна курочкам. Но все равно оставалось много свободного времени. И можно было делать, что душе угодно: читать, рисовать, смотреть телевизор, загорать.

Вспоминаю интересный эпизод. На огороде, в том месте, где уже была выкопана молодая картошка, бабушка часто ставила в тени старую раскладушку. А на ней, на газете или ткани раскладывала яблоки и груши, нарезанные для сушки. Цели две. Во-первых, чтобы урожай не пропадал, а во-вторых, чтобы зимой компоты варить. Когда очередные порции яблок и груш высыхали, раскладушка все равно оставалась в саду.

Однажды я пристроилась в теньке на этой раскладушке. Кроме яблонь, тень давал и дом, и огромная липа, которая росла во дворе у соседей, живших через дорогу. Лето, тепло, из бабушкиных палисадников легкий ветерок доносит запахи пионов, флоксов, роз. В общем, благодать! И вот в обычной школьной тетрадке в клеточку вывела на первой странице слово «повесть». Почему «повесть», а не «рассказ» и не «роман», не смогу объяснить и сейчас. Главной героиней повести была балерина. А как иначе? Ее ближайшая подруга, конечно же, являлась солисткой оперы. Сцены из театральной жизни чередовались со сценами личных отношений артистки балета и молодого человека (то ли танцовщика, то ли режиссера). Присутствовали в набросках этой повести возвышенные чувства, душевная тоска, измены, слезы, ревность. Что я понимала во всем этом в 14 лет? Думаю, ничего. Тетрадки эти потом где-то потерялись.

Самое смешное и неожиданное, что через много лет тема «женщина — искусство — любовь» воскресла. И превратилась в реальную повесть. Она была напечатана в сборнике прозы, потом — как отдельная книга. Позднее в течение недели звучала на Белорусском радио, где ее читала известная артистка Галина Кухальская. И скажите после этого, что огород не вдохновляет!

Бабушка умела и любила слушать других. Ей было все интересно: что происходит, где, как. Помню, во время летних каникул, там же на огороде, я с радостью исполняла ей (конечно, в меру способностей и вокальных данных) сцены и арии из «Травиаты» Джузеппе Верди. Оперы, мной в ту пору только что открытой и, как выяснилось впоследствии, ставшей любовью на всю жизнь. Казалось бы, какое дело белорусской портнихе до страданий парижской дамы «полусвета», до героини Дюма-сына и Верди? Но бабуля слушала с таким вниманием, что хотелось петь и дальше.

Сад и огород. Комаровка

Сад был преимущественно дедушкиной заботой и вотчиной. Подкармливать деревья натуральными удобрениями, обрезать сухие и старые ветки, прививать черенки от вкусной и плодородной яблони или груши.

Сорта у деда были отменные. Никогда больше не попадались мне на рынках или в магазинах такие огромные, сочные, молочно-белые наливы. Такие же большие, чуть не в два кулака, сладкие полосатые штрифели. Оказывается,

это народное название, а научное более замысловатое — штрейфлинги. Ароматные желтые груши (белорусские «бэры»), из них, если разрежешь, сок буквально по руке стекал. Поздние сорта яблок — антоновка, титовка — лежали на полках в сарайчике до Нового года, а то и до весны.

Сорта ягодных кустов тоже собрались неслучайные. Если смородина, то и черная, и красная, и белая. Если крыжовник, то крупный, сладкий, всевозможных цветов: желтый, красный, зеленый. Черенки или отростки превосходных сортов дед чаще всего получал в подарок от благодарных заказчиков, которым мастерил что-нибудь из мебели. Все кусты у деда Федора выглядели ухоженными. Когда куст разрастался, хозяин вбивал в землю четыре колышка, прибивал поперечные жердочки, чтобы ветки, тяжелые от созревших сочных ягод, могли на что-то опираться и не ломались...

Крыжовника, яблок, груш созревало столько, что хватало и бабушке, и дочкам, и родственникам. И поесть, и варенье сварить. Но все равно оставалось... Тогда крыжовник и яблоки собирались в большие плетеные корзины и — на Комаровский рынок. В те времена он был не таким просторным, как сейчас. Закрытого рынка вообще не существовало.

С улицы Щорса ехали с корзинами на троллейбусе до площади Якуба Коласа. Находили место уже на рынке, дедушка шел брать весы и гири. И начиналась торговля. Помню, я с большим удовольствием помогала им торговать. Насыпала в чашки весов крыжовник, смородину, накладывала яблоки или груши, взвешивала, считала деньги, давала сдачу — разве не романтика для городской девчонки?

Картошка занимала значительную часть огорода, обычно ее хватало на всю зиму. Других овощей сажали немного, но в течение лета и осени вырастали своя свекла, морковка, лук (вязанки его, уже подсохшего, так живописно висели на стенке возле печки). А еще — огурцы, чеснок, фасоль, укроп, петрушка. Позже, когда сад разросся, старые яблони и груши стали затенять огород. Понятное дело, без солнечного света ничего не хочет расти. Урожайность грядок постепенно уменьшалась. Конечно, бабушка и дедушка по этому поводу огорчались, но что поделаешь? Жертвовать ради грядок плодоносящими деревьями они не решались.

Думаю, свежий воздух, жизнь среди природы, натуральные продукты, постоянные физические нагрузки способствовали тому, что оба они всю жизнь были крепкими людьми. Болезни подкрались, когда им перевалило за 70 лет.

Общее и разное

У них, конечно же, было много общих черт. Необычайное трудолюбие, душевная тонкость и деликатность, умение слушать собеседника. И все же во многом они были разными людьми.

Федор Федорович был согласен помогать каждому, кто бы его об этом ни попросил. Причем, чаще всего бескорыстно. Мария Ивановна с такой постановкой вопроса в принципе не соглашалась. Она считала, что всякая работа имеет денежный эквивалент. И вообще лишние деньги еще никому и никогда не мешали!

Когда дедушка и бабушка отправлялись на Комаровку, чтобы продавать яблоки или крыжовник, заветной мечтой Федора Федоровича, который не любил суеты, мелькания человеческих лиц перед глазами и не считал нужным бороться за каждую копейку, было поскорее все продать и поехать домой. Он хотел усесться в тишине на скамейке, стоявшей во дворе, и читать. Ту книгу,

которая осталась недочитанной. Бабушка считала: нечего такой крупный и вкусный крыжовник продавать даром! Можно и подождать, пока придет настоящий покупатель!

Дед Федор казался натурой более мечтательной, а в чем-то, наверное, и беззащитной. В повседневной, бытовой жизни более уверенно чувствовала себя Мария Ивановна. Когда в послевоенные годы нужно было добиться в райисполкоме или горисполкоме, чтобы выделили шесть соток на строительство дома, дед, человек деликатный и не «пробивной», вернулся ни с чем. Только развел руками. Вслед за ним по тому же адресу пошла бабушка. Она, человек решительный и наступательный, конечно же, добилась своего.

Острого бабушкиного языка побаивались и соседи, и родственники. Поскольку совесть у Марии Ивановны была чиста, а решительности хватало, то могла «врезать» правду в глаза, не особенно церемонясь. Вору сказать, что он вор, а лгуну — что лгун. Но и своим она, человек сильный по характеру, могла хорошо «влупить». Обижались, но вскоре все это забывалось.

Зато Федор Федорович был исключительным рассказчиком. За праздничным столом, да и просто, когда сидели с ним на скамейке перед домом, слушать его можно было бесконечно.

Внешность деда и бабушки были разными. Дед — высокий, широкий в плечах, неторопливый в движении. Бабушка ростом пониже, проворная, круглая. В облике родителей моей мамы отражались черты пусть крестьянского, но аристократизма. Высокий лоб, нос с горбинкой, в руке мундштук с зажженной папиросой... Бабушкино лицо также всегда казалось привлекательным. Зачесанные наверх русые волосы открывали высокий лоб. С симпатией смотрели на собеседника выразительные глаза. «Плюсовые» очки еще больше их увеличивали. Улыбка — добродушия, радости или затаенной хитринки — часто освещала ее лицо.

Источником знаний о внешнем мире являлись для Марии Ивановны соседки, родственники, заказчицы. Но, кроме того, радио. Сначала «черная тарелка», висевшая в коридоре у кухни. Потом современный приемник, который не выключался весь день. Радио звучало когда громче, когда тише, пока бабушка шила. Таким образом, она оказывалась в курсе самых важных событий в жизни страны. Если радио молчало, то песню часто заводила сама бабушка. Петь она любила, песен знала много. И народные, и те, что передавали по радио. Среди них, помню, ее любимой была песня «Ой, бярозы ды сосны...» Когда после войны она жила в бараке, где перегородки тонкие, а значит, и слышимость хорошая, соседки не без зависти замечали: «Іванаўна, пэўна, у цябе жыцце надта добрае, што ты ўсе спяваеш!»

Время от времени дед с бабушкой выбирались в кинотеатр, чаще всего «Авангард», который находился недалеко от дома, на улице Декабристов. Иногда в кино брали и меня. В 60-е да и 70-е годы каждый поход в кино воспринимался как событие и праздник. Позднее в доме появился телевизор. Вечером, когда дедушка возвращался с работы и все хозяйственные дела были переделаны, смотрели художественный фильм. Это воспринималось как часть ежедневного ритуала. Иногда кинофильм смотрел только дед Федор, если бабушке надо было заниматься срочным заказом.

Много лет дед выписывал «Вечерний Минск» и еще какую-то из республиканских газет. Самые интересные факты и новости зачитывал бабушке вслух. Моя мама вспоминала картинку из собственного детства, когда после войны Федор Федорович вечерами читал Марии Ивановне вслух по разделам роман Л. Толстого «Анна Каренина». А вслед за ним еще многие произведения из «Роман-газеты». Так бабушка знакомилась со страницами повестей

и романов советских писателей. Наблюдать за процессом чтения вслух было очень интересно. Сложные и труднопроизносимые слова дед проговаривал не спеша, иногда по слогам. А бабушка, захваченная сюжетом, опускала шитье на колени и молча слушала. Время от времени в тишине звучали ее изумленные реплики типа: «Ты глянь, што робіцца!», «І што ж з гэтага будзе?», «У гэтай дзеўкі зусім галавы няма!» или «Ну і аферысты!».

На «Роман-газету» дед подписывался много лет, ее стопки постепенно собирались на веранде. Собрания сочинений тогда еще массово не издавались, такого количества библиотек, как сейчас, в Минске не было, поэтому всегда существовала вероятность найти в этих книжных развалах достойное чтение.

И смешно, и грустно, и, наверное, в чем-то символично, но сама бабушка научилась читать уже в конце жизни, в 80 лет, по Библии, которую ей принесла младшая дочь. Писать — почти не писала. Считала отлично, о чем свидетельствуют ее прекрасные отношения с деньгами. Думаю, внешний мир бабушка воспринимала исключительно зрительно и на слух.

Всю жизнь, особенно в последние ее годы и бабушка, и дед сильно переживали, что не имели того образования, которое получили дочери и внуки. Сожалели, что многие сферы жизни так и остались не открытыми и не освоенными, а душевные силы, способности и таланты так и остались невостребованными.

Атмосфера

Характер близкого человека начинаешь особенно ценить тогда, когда получаешь возможность сравнивать. Мария Ивановна и Федор Федорович были удивительные люди, обладавшие поразительной внутренней культурой. Никогда в их доме я не слышала грубости, раздражительного тона. Они могли подтрунивать над кем-то, удивляться неблагородству, но не произносили обидных слов в адрес друг друга или посторонних.

Тишина, спокойствие, доброжелательность... Каждый занят делом, никто никому не мешал. Возникали ли у них конфликты? Не знаю. Не видела и не слышала. Для меня они всегда оставались добрыми, участливыми, заботливыми.

Кажется, потребность заботиться о близких людях была привычкой. «Давай сшыем табе вось такую сукеначку!» или «Давай я звяжу табе такі кофцік?». И от кого я, взрослая, услышу сейчас подобную фразу? А сколько бабушка связала теплых свитеров и кофт — причем, в подарок, бесплатно — дочкам, зятьям, внукам! Ко дню рождения, к Новому году, просто так, безо всякого повода. Чтобы было тепло, уютно, надежно. Если тебе в зимнюю стужу тепло — значит, ты здоров, бодр и весел. И работаешь на радость себе и другим.

Терпение бабушки проявлялось и в том, как она учила меня шить и вязать. Не сердилась, когда я делала что-то не так, распутывала образовавшиеся при вязании узлы, объясняла снова и снова, как освоить новые вязки и узоры. Тогда казалось: да, красиво, модно, но ведь чисто бытовое занятие! То ли дело театр, спектакли, искусство! Высшая, недоступная простым смертным сфера...

В школьные времена не могла и подумать, что жизнь повернется так, что простые житейские навыки (застрочить пеленки, связать свитерок или шарфик, соорудить себе платье), полученные в бабушкиной мастерской, понадобятся так часто. В 90-е годы дети были маленькими, а за окном разваливался один общественный строй, медленно возникал другой. И все,

что ты умел делать руками, вдруг оказалось на удивление нужным и востребованным. Оно помогало свести концы с концами, не чувствовать себя обделенным. И каждый раз мысленно благодарила Марию Ивановну за все, чему она научила.

Будучи взрослой, я не раз задумывалась: что заставляло ее работать изо дня в день? Не только днем, но и вечерами, в праздники и выходные? Объяснений несколько. Первое: поскольку бабуля официально нигде не числилась, то и не могла рассчитывать на блага тех, кто имел зарплату и постоянный доход: отпускные, премии, оплату больничных, а также на пенсию в старости. Поэтому заказы нужно было брать и шить каждый день, не останавливаясь.

Второе объяснение психологическое. Бабушка стремилась быть экономически и морально независимой. От государства, которое, как могло, притесняло частников. От родственников, своих и Федора Федоровича, из-за которых когда-то, в молодости, пролила немало горьких слез. Думаю, призраки голодного детства, военной разрухи время от времени вставали перед ее глазами. Не вовлеченная в систему советских ценностей и лозунгов, пустозвонства и демагогии, бабуля очень четко осознавала, что деньги решают если не все, то очень и очень многое. Так что действительно: «Сулит мне новые удачи // Искусство кройки и шитья...» И сулило, не раз! И ей, и тем, для кого она шила...

Наличными деньгами Мария Ивановна распоряжалась с умом. В 1960—70-е годы, во времена тотального дефицита, она время от времени по утрам выбиралась в центр города. По советской традиции в конце месяца, чтобы выполнить план, магазины «выбрасывали» дефицит. Благодаря бабушкиной поворотливости в квартирах дочерей постепенно появлялось много необходимых и полезных, а главное — красивых вещей. Модные шторы, гардины из дедерона, огромные махровые полотенца, в которые так хорошо завернуться после ванны, хрустальные бокалы, тарелки из тонкого японского фарфора или зимние вязаные шапочки, из ярких, как радуга, нитей. В шутку мы называли бабушку министром обеспечения.

Красивые вещи воспринимались мной как признаки относительной зажиточности, как приметы уверенности в завтрашнем дне. Думаю, прочитав эти строчки, кто-то пренебрежительно скажет: «Вещизм!» Я бы сформулировала иначе: эстетика, красота, культура быта и повседневной жизни. Именно они рождают радость восприятия каждого дня.

Забота о детях и внуках, наверное, неотъемлемая черта характера настоящих бабушек и дедушек. Благодаря Федору Федоровичу в нашем доме появилась первая пишущая машинка. Портативная, под названием «Москва». Дедушка раздобыл ее на каком-то промтоварном складе. Думаю, дефицитным товаром его отблагодарили за отличную столярную работу. О компьютерах тогда никто не слышал. Машинка, да еще и дома, воспринималась как возможность приобщения к цивилизации. Автор, который приносил в редакцию или издательство напечатанный текст, воспринимался иначе, чем тот, кто приносил написанное от руки. Первый — «профи», а второй — всего-навсего любитель.

На машинке, которая прослужила лет пятнадцать, а может, и больше, были напечатаны многие мои статьи и интервью для республиканских газет и журналов. А еще три первые книги. Монография «Гармония дуэта» — о Людмиле Бржозовской и Юрии Трояне, знаменитом балетном дуэте. «Гаркавы смак ісціны» — творческие портреты выдающихся белорусских балерин и танцовщиков. «Полвека на сцене» — это была литературная запись воспоминаний народной артистки Беларуси Анны Обухович.

Гоп! Гоп!

Вечер в дедушкином доме.

Если лето и тепло, то окна на ночь остаются распахнутыми, но прикрыты гардинами. И потому из палисадника легкий ветерок время от времени доносит аромат пышных бело-розовых пионов, ландышей, растущих в тени, прямо у кирпичного фундамента дома, или жасмина, пышные кусты которого разрослись недалеко от сарая. Если холодно, пасмурно или накрапывает дождь, то окна закрыты. Но с улицы время от времени доносятся звуки. И прислушиваясь к ним, можно понять, что же там происходит.

Вот прошли два соседа. Наверное, они взяли лишнего, потому что голоса неестественно громкие, а реплики бессвязные.

Вот протарахтел по переулку чей-то мотоцикл.

«Вася, Вася!» — слышен зычный женский голос. Значит, кто-то кого-то не может найти.

Наконец воцаряется тишина. Слышно, как в комнате, где я сплю, у потолка звенит муха.

Мерно и неспешно качается большой, отливающий медью маятник в огромных, старинных, антикварного вида часах. Они напольные, высотой почти два метра. Маятник отбивает время каждые полчаса одним ударом — бом! И каждый полный час — бом!

Давным-давно кто-то из знакомых отдал их Федору Федоровичу. Причем, неисправными. Дед осторожно разобрал, почистил механизм, смазал, собрал и — часы, конечно же, пошли!

В тишине, которая царит в саду, время от времени слышно, как с ветвей глухо падают в борозды спелые, крупные яблоки. Гоп!

Какое-то время стоит полная тишина. Потом снова — гоп! гоп!

Значит, утром на огороде, среди картофельной ботвы я найду не одно желтое, налитое соком ароматное антоновское яблоко и не один полосатый, краснобокий штрейфлинг.

По шиферной крыше, по жестяным отливам, водосточному желобу начинает тихонько, а потом все громче молотить дождь. И под этот мерный, безостановочный звук так хорошо засыпать в теплом и уютном бабушкином доме...

Через много лет, когда я стала взрослой и у меня уже были собственные дети, в памяти воскресли эти давние звуки летне-осеннего сада. И еще какое-то удивительное чувство гармонии с окружающим миром, ощущение внезапного, труднообъяснимого счастья, которое часто посещает нас в детстве (только мы не догадываемся, что это ощущение именно так называется). Тогда же, как-то нечаянно написался цикл стихов, который позднее композитор Елена Атрашкевич положила на музыку. Он назывался «Пейзажныя замалёўкі», состоял из пяти частей. И также неожиданно для меня и композитора цикл оказался востребован многими детскими хорами, которые существуют в стране. Дети поют о дождике и яблоках, а я снова переношусь в далекое прошлое...

«...И ничего не останется!»

Последние годы дед мой часто болел. Всю жизнь он был человеком работящим и выносливым. Отсутствие былой силы и былой свободы движений сильно его угнетало. А если выражаться современным языком, то вгоняло в депрессию. Донимал то радикулит, то хронический кашель.

Иногда, сидя во дворе своего дома на скамейке и растирая ноющую ногу, с грустью говорил: «Внуки растут, а деды стареют...» Когда я пыталась утешить или развеселить, отзывался затаенной мыслью, наверное, долго блуждавшей в подсознании: «Умрешь, и ничего не останется от тебя! Оттуда же никто не пришел и не рассказал, что там делается...»

Федор Федорович прожил 75 лет.

Похоронили его на Северном кладбище. В день похорон был страшный мороз, и рабочие копали могилу долго и с трудом.

Можно верить в мистические совпадения, можно не верить, но заведенные часы остановились как раз в день смерти деда, в тот самый час. После похорон кто-то тронул маятник, — и они пошли дальше...

На похороны собрались родственники с обеих сторон: и дедушки, и бабушки. Сестры и братья из их больших семей, дети, внуки. Помню ту атмосферу и настроение гостей, что незримо витало за поминальным столом, когда вспоминали все хорошее, что успел сделать Федор Федорович за свою долгую жизнь. Большой семейный праздник (рождение ребенка, крестины или свадьба) не могут собрать всех родственников, а похороны собирают. Двоюродные, троюродные братья и сестры увидели друг друга (или детей друг друга) впервые за много лет.

Конечно, смерть — событие трагическое. Уход человека из жизни заставляет быть сдержанным. Но казалось, что гости подсознательно хотели бы поговорить о другом, похвастаться успехами детей и внуков, должностями и доходами, недавно купленными дачами и машинами, наконец, кулинарными рецептами. Всем, из чего состоит такая привлекательная жизнь живых. Поэтому время от времени за столом возникал легкий смешок, невысказанное желание поделиться анекдотом, развеселить соседей по столу. Но осознание, по какому поводу собрались, черный цвет одежды родственников побеждали естественные эмоции.

Когда все скорбные слова за поминальным столом были сказаны, бабушка, хоть и потрясенная внезапной смертью Федора Федоровича, проговорила твердо и решительно — то ли себе, то ли окружающим: «А живым надо жить!» Сказала и словно подвела черту под всем, что уже говорилось раньше.

В 1985-м, в возрасте 75 лет, Мария Ивановна еще сшила мне красивое, современное свадебное платье. За швейной машинкой она работала до 80 лет, а может, и больше.

Деда она пережила на десять лет.

«Что вас вдохновляет?..»

В последние годы меня часто приглашают выступать. В школах, библиотеках, перед читателями моих книг, адресованных детям. Моя аудитория — мальчишки и девчонки — по преимуществу младшие школьники, резвые, шустрые, еще не утратившие живости и радости восприятия жизни. Пока они верят всему, что им говорят взрослые. И потому возможность увидеть озорные глаза, соприкоснуться с молодой, почти волшебной энергией — радость. Еще неизвестно, кому эти встречи нужны больше: им или мне!

Очень часто мне задают вопрос: «Скажите, а что вас вдохновляет?» В какой-то момент задумалась: а действительно, что? И пришла к неожиданному выводу: картины детства, бабушкиного сада и дома, ее цветов

и сшитых ею замечательных платьев, которые остались в памяти навсегда. Во многих жизненных ситуациях я до сих пор ощущаю себя не столько маминой дочкой, сколько бабушкиной внучкой. Может, поэтому мне всегда была интересна ее жизнь.

Вместо эпилога

«Умрешь, и ничего от тебя не останется...» Нет! Никогда не соглашусь с такой мыслью! За свою жизнь Мария Ивановна и Федор Федорович построили дом, посадили сад, вырастили двух дочерей, дали им высшее образование. Помогали растить трех внуков. Бабушка успела повидать двух правнуков. За свою жизнь она сшила столько платьев, что в них наверняка можно нарядить женское население большого города. А сколько цветов посадила!

Больше четверти века прошло после смерти дедушки, больше пятнадцати — после смерти бабушки, но все, связанное с ними, живет в душе так, как будто случилось вчера.

В моей памяти Мария Ивановна и Федор Федорович остались бодрыми, сильными, хозяйственными. Вот дед в своей мастерской, с карандашом за ухом, как и положено настоящему столяру. Вот он стоит среди свежих сосновых стружек, которые пахнут лесом, полем, свежестью и какой-то бесконечной радостью жизни.

Вот бабушка с гордостью, но и придирчиво рассматривает на мне, а может, на маме, а может, на незнакомой заказчице сшитую обновку: «Ну, покрутись, давай посмотрим, что получилось!»

Деда чаще всего вспоминаю среди деревьев, а бабушку — среди ее палисадника. Среди пионов, роз, гладиолусов, георгин, астр. Мое детство прошло среди цветов, которые она растила с такой любовью и нежностью!

И чем дальше уходит детство в подернутое дымкой времени пространство воспоминаний, тем чаще приходит ко мне образ этого сада. Как маленького рая, где царили радость, сочувствие и доброта. Где трепетали под ветром лепестки цветов, сияли в лучах солнца все существующие на свете цвета и оттенки. Где гудели пчелы и царили удивительные ароматы сада.

Мне кажется, что поступки и слова бабушек и дедушек звучат как долгое, несмолкаемое эхо в судьбе их детей, внуков и правнуков.

Спасибо, что вы были. Спасибо за все, что успели сделать и сказать. Без вас не появилась бы на свет моя мама. Не родились бы и я, и мой брат. Не существовало бы моих детей. Мы не смогли бы увидеть этот мир, в котором хватает печали, но радости неизмеримо больше. Вас, к сожалению, нет с нами. Но история рода продолжается.

...Все также в мае цветут яблоневые сады на Грушевке. Ходят по переулкам куры, козы и горланят петухи. Под заборами растет крапива и огромные лопухи. Зимой поднимается дым из печных труб над уютными, засыпанными снегом домами. Шумит ветер в старом, заброшенном скверике на улице Папанина. «Уходящая натура», уходящая эпоха...

Здравствуй, Грушевка! Ты останешься в моей памяти навсегда. Как, уходя, остается в памяти детство. Самым синим небом, самой зеленой травой, самыми яркими цветами летнего дня...

Перевод с белорусского автора.

ЕВГЕНИЯ ЯНИЩИЦ

Меж звезд, меж снов, меж бытия

Я вас люблю

«Я вас люблю» — мне некому сказать?
А мне в любви вовек не ошибиться:
Моей любовью вы сумели стать,
Деревни древность, молодость столицы.

Мы в сердце носим радость и грехи,
Победно в крыльях ощущаем силы.
Я вас люблю, Отечества шляхи,
Я помню вас, забытые могилы!

И знаю я: не зря день прожит мой,
Когда переживаю и болею,
Когда сама пред именной стеной
Я, как стена, от ужаса белею.

Подлесок — сын мне, бор старинный — друг,
Зима расстроит, а утешит лето.
Тебя люблю, патриархальный плуг,
Тебя — в страшащем космосе ракета.

Люблю вас, поседевших матерей,
Боль и поныне терпящих о детях.
Материками кажетесь вы мне,
Которым нужен мир на всей планете.

* * *

Перед весной молодой этой белой метели
не выстоять,
Начинается действо — дождливости, хлипкости
сдвиг.
Ты уходишь по чистому снегу пречистому,
По глубокому снегу бессонниц моих.

Дай зарю задержу!
Пусть улыбкою ласки разбудится

Одинокий, заклятый тревогой покой
На рассветные сны, на последние дни,
что не сбудутся
Между мной и тобой.

Какая я

Не уходи! Тебя так много
Меж звезд, меж снов, меж бытия.
Над горькой памятью былого
Какая я, какая я?

Замри, чтобы могла вернуться
К губам и пить, как из ручья.
Меж диких ягод и настурций —
Какая я, какая я?

Хоть прошуми веселым ливнем —
Пусть след подскажет колея.
Между несчастных и счастливых —
Какая я, какая я?

Нет, не у вольных поля, гая,
И не у звезд, хоть им своя, —
Спрошу у одного тебя я,
Какая я.

* * *

Живите и любите,
Свой берегите дом.
Как птицу, что в зените,
Меня настигнет гром.

Земля моя, ты — зыбка,
Тебе одной лишь знать,
Что невозможно низко
Ни падать, ни летать.

* * *

О ты, кто подарил
Мне только гром и ветер, —
Ты самым лучшим был
Из всех, из всех на свете.

О ты, кто так сдружил
Жизнь с пропастью бездонной,
Кто на руке носил
Кольцо с кандальным звоном

И утешал-шептал
Над горечью моею —
Моим ты быть устал, —
Удерживать не смею.

Пускай беда прибьет
Сквозной слезой извечной —
Душа не назовет
Случайной эту встречу.

Любовь моя...

Вы без меня летите, самолеты,
Вы без меня вдаль мчитесь, поезда.
Любовь моя, ты песня, и забота,
И спелый бор, и чистая вода.

Болезнен век. Погоды перемена:
Лист не упал еще — а снегопад.
Но скрипочка с десятого колена
Поет в душе на милостивый лад.

Острее всё — родни моей пробелы,
В родимых окнах вздрогнул огонек.
Но свадебно цимбалы зазвенели
И жарким взглядом сердце конь прожег.

И вихрь поет, поет листок опалый,
Поет земля курганов или вдов...
Любовь моя, ты скрипка, и цимбалы,
И бубенцы над гривами годов.

Быстрянка

Только деду седому и вспомнится
Глубина, где теперь перекат.
Не утопленница и не сводница —
Я родная сестра тебе, брат.

Нет, не падчерицей угрюмою
Я слыла, хоть был норов крутой.
Осушили меня, как рюмочку, —
Хлынул горлом песок золотой.

Эх, плыть, плыть, плыть, —
Еще устьице болит.
Хоть слезинкой спозараночку,
Дно пока не занесло...
Дайте лодочку-быстряночку,
Кленовое весло!

* * *

Костру уже не разгореться,
Но будет память о кострах!
Бездонное имею сердце, —
В нем смех и слезы, одурь, страх.

Слежу, как точит камень капля,
Как даже солнце ест траву.
...Так звездно, и тепло, и зябко
Стихам, в которых я живу!

На голос лиры

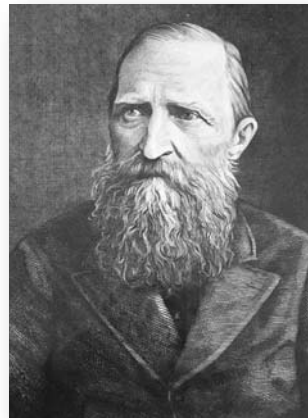
И каждый день горячий — в мире
Чудес, и счастья, и забот, —
Так я иду на голос лиры,
Где все — фантазия, полет.

Какой завидный дар поэта —
Лучами света образ ткать
И замирать на склоне лета,
И в слове вольном воскресать!

Еще светают и витают
Созвездья верности в полях...
И пусть грома перетрясают,
Переворачивают шлях.

Но и любовь в крылатом звоне
Счастливо славит даже гнет...
О, жизнь моя, и там, на склоне,
Ты вся — загадочный полет!

Перевод с белорусского Изяслава КОТЛЯРОВА.



ЮЗЕФ ИГНАЦЫ КРАШЕВСКИЙ

Последняя из слуцких князей. Хроника времен Сигизмунда III

Повесть

В детстве она была Софьей Олелькович, княжной Слуцкой и Копыльской, в замужестве — княгиней Радзивилл, теперь же она прославлена как святая праведная София, княгиня Слуцкая — одна из пятнадцати белорусских святых. Посвящена эта увлекательная историческая повесть всего лишь одному эпизоду из ее жизни — эпизоду небывалого в истории «сватовства», которым не только решалась судьба юной княжны, но и судьбы православия на белорусских землях.

Родилась и прожила свою недолгую, но богоугодную жизнь княжна Олелькович в тяжкие времена. Читатель погружается в бурлящую обидами и амбициями политическую обстановку, которая помимо всего отягощается духовным настроением в Великом княжестве Литовском: господством на исконно православных землях католиков, протестантов, иезуитов. Действие повести происходит в 1600 году, когда становятся очевидными и последствия церковной унии 1596 года. В центре повествования — история любви юной православной княжны и князя Януша Радзивилла, католика. На страницах повести — будущая святая, совсем еще дитя, но она уже идет путем страданий и борьбы с тем, что противоречит ее вере и убеждениям, духовным и нравственным идеалам, воспринятым ею с детства.

Автор повести Ю. И. Крашевский (1812—1887) был в свое время одним из популярнейших польских писателей. Как повествуется в старинном историческом труде «Живописная Россия», Ю. И. Крашевский «по происхождению, по воспитанию, по первым впечатлениям и чувствам, одушевлявшим его в молодости, наконец, по трудам», прежде всего, принадлежит Беларуси. Его отец происходил из древнего дворянского рода, имевшего владения в Пружанском повете Гродненской губернии. Учился Крашевский в свислочской гимназии, затем — в Виленском университете. Пять лет жил в имении отца возле деревни Долгое нынешнего Пружанского района. В 1834 году путешествовал по Полесью, выезжал в Вильно. С 1841 по 1852 год издавал альманах «Атеней».

Перу Ю. И. Крашевского принадлежат краеведческие очерки о Полесье и двухтомная история Вильно. На склоне лет писатель задумал создать серию произведений, в художественной форме воссоздающих ряд эпизодов из прошлого Польши и Великого княжества Литовского. Смерть помешала полностью реализовать задуманное, однако в цикл повестей и романов, 22 из которых автор успел написать, вошла и повесть «Последняя из слуцких князей». В центре повествования — невыдуманная история из жизни княжны Софии Слуцкой, когда она, подобно троянской Елене, едва не стала причиной гражданской войны, невольно поссорив два старейших магнатских рода Радзивиллов и Ходкевичей. О том, как это происходило, расскажет сама книга, мы же сообщим читателям некоторые сведения о самой героине повести и славном роде православных слуцких князей.

Родословная князей Олельковичей начинается от внука Великого князя Литовского Ольгерда — Олельки. Он воевал с татарами, участвовал в великой битве с орденом крестоносцев под Грюнвальдом и подписал после войны с ними мирный договор. Был женат на внучке Великого князя Литовского Витовта — Настасье. В 1395 году Олелька получил во владение слуцкое княжество.

В роду князей Олельковичей было много славных защитников отчизны и приверженцев православной веры. Один из них — Семен Александрович (около 1420—1470 гг.) — отстроил Успенскую церковь Киево-Печерской Лавры, одного из крупнейших центров православия, и удостоился чести быть похороненным в усыпальнице Лавры.

Прабабка Софии — вдова князя Семена Слуцкого Анастасия вместе со своим малолетним сыном Юрием героически обороняла в 1506 году город Слуцк от татар.

Дед Софии Слуцкой — Юрий Юрьевич, участник Инфляндской (Ливонской) войны, был одним из ревностных поборников православия. В духовном завещании он разделил свои владения между тремя сыновьями и дал им наказ твердо стоять за православную веру. Этот завет свято чтил его старший сын Юрий Юрьевич II (1531—1578) — отец святой Софии Слуцкой. Он собственноручно переписал и передал в Слуцкую Троицкую церковь Евангелие, всегда был щедрым дарителем церквям и монастырям. А позже прославился как ревностный защитник православия в пору начавшейся экспансии католичества на белорусских землях.

София Слуцкая родилась 6 февраля (по другим сведениям — 6 мая) 1585 года. Родителей девочка потеряла, когда ей был всего один год, а после смерти других близких родственников из рода Слуцких вообще осталась сиротой и единственной наследницей Слуцкого и Копыльского княжества, в которое входили обширные земельные владения (семь городов, тридцать два имения).

При жизни Крашевского София Слуцкая еще не была канонизирована, хотя в народе уже почиталась святой. Те немногие годы, которые прожила София Слуцкая в браке, являются примером праведной жизни, несуетного служения Богу. Она не изменила вере своих предков, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, отстаивала православие в пределах своих владений. Княгиня София принимала активное участие в деятельности Спасо-Преображенского братства в Слуцке, опекала монастыри и церкви, щедро жертвовала на них, сама расшивала золотом и серебром облачения для священников, совершала паломничества. При ее участии в Слуцке был основан Преображенский монастырь с богадельней и училищем.

Благоверная княгиня была последней представительницей славного рода благодетельных Слуцких князей Олельковичей. Она была похоронена в слуцком Свято-Троицком соборе. А ныне мощи святой праведной Софии, княгини Слуцкой, находятся в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. В Соборе Белорусских Святых она была канонизирована Православной церковью 3 апреля 1984 года. Память святой благоверной княгини совершается 1 апреля и в праздник Собора Белорусских Святых — в третью неделю по Пятидесятнице.

Память о Софии Слуцкой свято хранится в ее родном городе. В Слуцко-Михайловской церкви прихожане молятся у иконы святой покровительницы родного города. А в центре Слуцка установлено скульптурное изображение Софии Слуцкой работы М. Инькова (архитектор Н. Лукьянчик). В Минске открыта церковь Софии Слуцкой, где также совершаются богослужения перед иконой святой.

Михаил КЕНЬКО

Адаму Завадскому в знак сердечной дружбы от автора.
16 мая 1841 г. в Городке.

В замке жмудского старосты

Вечером одного из последних дней 1599 года снег окутал белым зимним плащом крыши храмов и домов Вильно, запорошил улицы, оставив только кое-где черные пятна незамерзших луж. На ратуше уже отзвонили время тушения огней, ночной дозор готовился к обходу. Давно уже закрылись магазины и мясные лавки на площади, разошлись ремесленники и торговцы: торг окончился. Но огни все еще ярко горели почти во всех окнах, и возле шинков кричали подвыпившие компании; на улицах было многолюдно, в городе еще вовсю кипела жизнь. Простой люд проводил вечер в корчмах, паны — во дворцах. В тихих домах обсуждали события дня минувшего и прислушивались к шуму на улице: может в ворота постучит городовой. Он часто приводил на постой заезжих служилых или послов. Из монастырей доносились звуки вечерних служб. С каждым мгновением все меньше становилось прохожих, смолкали голоса, один за другим закрывались закусочные, бани, гас свет, город закрывал глаза и засыпал.

В городских брамах натягивали цепи и с грохотом затворяли створки громадных ворот. Стражники с алебардами обходили улицы, распевая свою древнюю, хорошо известную горожанам песенку:

Горожане, ночь скоро!
Дверь держи на запоре!
Пусть не тронут вас огонь и воры.

И в самом деле, уже вылезали из подозрительных шинков у базара ловкие проходимцы с окованными железом дубинками, палками с насечками и подстерегали в переулках запоздалых прохожих.

В восьмом часу на одной из центральных улиц послышался топот конских копыт. К этому времени снег перестал идти, на небе показался желтый диск луны. Отраженный белизной свежего, еще нетронутого снежного покрова, лунный свет позволил разглядеть группу всадников, остановившихся у темной, без единого огонька, громады дворца Ходкевичей. Ворота, в которых один из всадников, спешившись, принялся настойчиво стучать, как и во всех богатых домах, были уже давно закрыты на висячие замки и окованные железом засовы.

— Есть тут кто? Эй! Открывай! Сторож! Умер, что ли? Эй! Отзовитесь хоть кто-нибудь! Слышите!

Из окон дома напротив выглянуло несколько голов и исчезло, а во дворце по-прежнему было тихо, никто не отзывался.

— То ли все заснули, то ли еще пьют в корчме. Прямо хоть ты сам открывай, — сказал второй всадник. — Пожалуй, стоит обойти дворец и постучать в другие ворота, может, с той стороны хоть кто-нибудь еще не спит. Кончай грохотать!

Всадники поехали к старой церкви Богородицы, свернули вправо на небольшую площадь и двинулись вдоль стены по тесной улочке, заезжая с другой стороны дворца. Тут они увидели, что в одном из окон желтым огнем светилась свечка, через оправленные в свинец стекла свет от нее пробивался на улицу. Обрадованные всадники снова стали стучаться. В освещенном окне появилась тень человека, который, вглядываясь в темноту, спросил:

— Кто там?

— Кто, кто! Больше часа не можем достучаться! Свои. Пан Берберий и придворные пана старосты, прибыли по его приказу.

Тень в окне пропала. Вскоре отодвинули засов, открыли замки, через щели в воротах просочился свет, а сами они тяжело заскрипели на петлях. Гости заехали во двор, ворота снова за ними закрылись.

Жмудский староста Ян Кароль Ходкевич — хозяин дворца, как раз отсутствовал, поэтому в доме было так тихо. Это по его приказу приехал Берберий, или Гийоме Барбье, француз, инженер, прижившийся в Вильно. С ним было более десятка придворных старосты и несколько молодых шляхтичей, также приближенных ко двору Ходкевичей, все они были давние друзья его семьи. Судя по тому, как тихо их встретили, можно было понять, что во дворце гостит кто-то весьма известный, хотя сам Ян Кароль и в отъезде. Всадники спешились, отдали коней гайдукам и конюшим, приказали снять поклажу, а сами пошли за домоправителем, который вел их в отведенные для ночлега комнаты.

Впереди шел со свечкой в фонаре молодой парень-слуга, за ним тяжело ступал домоправитель, а потом уже шли пан Берберий и другие.

— Где мы будем спать? — поднимаясь по высокой лестнице, спросил с легким акцентом француз. — Неужели так высоко? — нетерпеливо переспросил он, утомленный дорогой.

Домоправитель повернулся к нему, почтительно поднес руку к обшитой лосиной шкурой шапке и ответил:

— Больше негде, все помещения заняты или подготовлены для тех, кто должен приехать, для друзей пана старосты, а некоторые заняты сложенными там оружием и амуницией, только вот эти и остались для вашей милости. Я думаю, что вам понравится: оттуда сверху виден весь дворец.

Они остановились на галерее, окружавшей пятиконечный уступ в левом крыле дворца. Этот выступ выглядел как небольшая башня или фонарь. Домоправитель подбирал ключ к замку и, наконец, открыв дубовые, окованные железом двери, пропустил вперед парня со свечой.

Путешественники втиснулись в первую комнату, за которой были видны вторая и третья — такие же тесные и пустые. Голые белые стены, возле них — дубовые скамьи, посередине — столы, одна печь на все три комнаты, небольшой камин с высоким верхом, окна с оправленными в свинец стеклами — вот и все, что они там увидели. Пол был кирпичный. Из давно не отапливаемых, нежилых помещений тянуло холодом.

— Не иначе как ты хочешь поморозить нас, пан Бурчак! Клянусь Богом! — воскликнул француз. — Я тут не то что ночи, часа не выдержу, пойду ночевать на постоялый двор!

— Я же говорил вам, что иного жилья нет во всем дворце, — оправдывался пан Бурчак, собираясь уходить.

— Но, может быть, есть тут где-нибудь хоть какой-то теплый закуток, где можно было бы отогреться? — спросил Берберий.

— Пойдем, разве у меня согреетесь, — предложил пан Бурчак, — а я тем временем прикажу тут затопить и перенести ваши вещи, им холод не повредит.

— Пойдем, пане, с большой охотой пойдем, — обрадовался человек помоложе, — мы ведь совсем озябли, да еще голодные, а тут и подкрепиться нечем, не грызть же нам с голодухи столы и лавки!

— Ладно уж. Идем со мной, панове!

— Видно, не придется мне сегодня выспаться, — бормотал, спускаясь вниз по ступенькам, пан Бурчак, — и никогда не выспишься из-за этих проклятых обязанностей, сил от них нет уже. День ли, ночь ли, а ты, знай, бегай с ключами от ворот к воротам, от комнаты к комнате. Одному подай еду, другому принеси дров, тому лавку, этому стол. Так на старости лет и шею свернешь.

— Но все же недаром пан староста выбрал вас, — заметил кто-то из молодых, ведь вы справляетесь с этими обязанностями лучше всех, хотя они и тяжелые, и утомительные. Наш хозяин ценит верную службу.

— Трудно всем угодить, — улыбнулся Бурчак, спускаясь по ступенькам. За ним, спотыкаясь в потемках, брели придворные. — Уж и волосы поседели, а я все таскаюсь с ключами и служу привратником. Единственный, кто ко мне благоволит, так это дядя пана старосты, а здесь я кем был, тем и остался. Что это за жизнь, панове, что за жизнь...

— А что делать, — отозвался кто-то из гостей, — у каждого свой червяк, который его точит.

— Вовсе не у каждого, — пробормотал Бурчак, увлекая спутников за собой. — А разве вы, панове, как и пан староста, не заводите у себя таких червяков? Вот и сейчас. Слышал я, что дело идет к войне!

— Да, пожалуй, что так, — подтвердил Берберий.

— Вот видите! А нам-то она зачем?

— А зачем об этом думать, пане Бурчак?

Домоправитель смолк. Тем временем все они снова вышли во двор, и он повел их по тропинке к другой галерее, а по ней к своим покоям, из которых и был виден свет с улицы. Комната пана Бурчака находилась недалеко от ворот и окна выходили на разные стороны. Одно окно выходило на улицу, второе, боковое, на соседний двор. Было оно, правда, поменьше и забранное решетками, а все же постоянно глядело на соседний дом. Однако сосед помалкивал, может быть, потому, что это было окно дворца Ходкевичей. По сравнению с только что покинутыми каморками, эта комната показалась просторной, а почувствовав тепло, они поспешили раздеться. Оглядевшись, они увидели в углу кровать пана Бурчака, точнее, топчан, покрытый потертой медвежьей шкурой. Над ним все как полагается у доброго католика: распятие, обвитое освященными ветками, желтая свечка, перевязанная ленточкой, образок святого, веточка вербы и тут же сабля на небольшом ковре, прибитом гвоздями. Возле стен стояли простые скамьи, посреди — такой же простой дубовый стол, на нем несколько пустых кувшинов и кубков. На столике горела в большом латунном фонаре желтая восковая свеча, в камине теплился красноватый огонь.

Путники наконец-то смогли отогреться. Пан Берберий, он же Гийоме Барбье, или как его попросту называли здесь — Вильгельм, их начальник, скинув плащ, подошел к камину и, потирая руки, грелся возле угольев, а ноги засунул почти в самый жар. Так как нам часто придется встречаться с ним по ходу повествования рассмотрим его повнимательнее. Он отличался высоким ростом, худощавый, лицом бледный, глаза, брови и длинные волосы темные. Красивые усы и острая бородка, окруженная белым жабо, скомканным и грязным после дороги, суконный кафтан, кожаные штаны, сапоги с длинными шпорами, шляпа с перьями, лосиные перчатки, длинные, по самый локоть. Весь его вид и амуниция, хотя и не польского завода, говорили о том, что он человек мужественный, бесшабашный вояка, который ко всему относится весело, над всем смеется, любит винцо, ухаживания, байки, не боится опасности и не очень уважает расчувствовавшихся людей, которые готовы распахнуть душу настежь.

Оба его товарища — молодые, красивые поляки, головы бритые, длинные усы, одетые в кунтуши и жупаны, у каждого на поясе обязательный палаш. На первый взгляд они были похожи, но, присмотревшись попристальнее, увидишь явное различие. У младшего — высокий лоб, голубые глаза, римский нос, почти белые усы, чуб, взгляд смелый, насмешливый. У второго же лоб был низкий, впалые серые глаза, нос некрасивый, широкий рот, толстые губы, одежда висела на нем как на колу. Первого звали пан Суминский, второго — пан Брожак. Они оба были придворными пана старосты и помощниками пана Барбье.

— Быть может, у вас найдется и кое-что перекусить, а заодно и выпить? — спросил Берберий Бурчака, который все еще что-то недовольно бормотал.

— В такую пору? Все же спят! Откуда и что я смогу раздобыть для вашей милости?

— Вы же не захотите, чтобы я пожаловался пану старосте, что вы морили меня голодом? — настаивал Барбье.

— От меня это не зависит, — ответил Бурчак, махнув рукой, — а пожаловаться можете, если хотите, маршалку двора, который видит уже десятый сон, добудиться его невозможно, проснется он сам утром, когда захочет есть.

— Но даст же нам пан что-нибудь хотя бы на один зуб? — ласково спросил Суминский. — Должны же у вас быть какие-то запасы в шкафу?

— Я не говорю, что их нет, что я их не дам, — отвечал Бурчак. — Но если и дам, то никак не по обязанности перед вами, а proprio motu — от щедрот своих и по доброй воле.

— У каждого из нас только один рот и одно пузо, — смеясь, отозвался Суминский, — и нам все едино, как их насытить: по обязанности или по доброй воле.

— Но теперь же пост, панове.

— А что вы, пане, держите в своем шкафу? — спросил Берберий, подкладывая в огонь поленья.

— Что? Ну, немного жареной на подсолнечном масле рыбки, немного гренок с чесноком, кувшинчик пивка.

— Что поделаешь, достаточно и этого! — согласились путники. — Дайте нам от щедрот своих того, что имеете.

Они сели за стол, а Бурчак с ключами пошел к шкафу, отомкнул его, потом расставил по столу медные миски и положил в каждую еду.

Как бы мало ее не было, ели со вкусом, потому что все были голодные; пан Бурчак уже собирался поставить им пиво, как вдруг в ворота снова застучали, а с улицы раздался чей-то голос:

— Эй, есть там кто? Эй! Откройте, я вам говорю!

— Ну вот, опять, — недовольно проворчал Бурчак и подбежал к окну. — То ли напасть какая, то ли Радзивиллы собираются брать нас приступом. Кто это еще? — Он выглянул и тут же, ни слова ни говоря, сбежал по лестнице, и путники снова услышали скрип петель и цоканье копыт по мощеному булыжником подворью.

— Кто бы это мог быть? — заинтересовался Берберий.

— Вот вернется пан Бурчак, его и спросим.

При этих словах открылась дверь, и вошел высокий мужчина со шпагой на боку, одетый просто. На нем был ременный пояс, шитый серебром, темный плащ, припорошенный снегом. Его сапоги были в грязи.

— У меня уже нет ни одной свободной комнаты, — обратился к нему Бурчак, — поэтому, может быть, пан согласится переночевать с паном Берберием?

— Мне все едино, где ночевать, — заговорил новый гость, — я привык спать, где придется.

Все сидевшие за столом начали присматриваться к гостю пристальней, а пан Берберий встал и подошел к нему.

— Приветствую вас, пане Станиславе! Что случилось? Так скоро вернулся?

— А это вы, пан Барбье! Рад вас видеть. Вернулся, но не так уж скоро.

— А что привело вас сюда?

— Что? Приказ пана старосты, который меня сначала отправил в дорогу, а сейчас вернул назад по какому-то важному делу.

— А! — воскликнул Берберий. — Я все понял. Вы тут по тому же делу, что и мы. А куда вы ездили?

— Я послан был за границу, чтобы осмотреть лучшие крепости и замки, но неожиданно, уже подъезжая к австрийской Вене, получил письмо от пана старосты. В нем он приказывал вернуться и обещал, что снова отпустит меня, как только минет надобность в том, ради чего он меня вызывает. И еще приказывал поторопиться. Ну, так я и торопился, что называется, без сна и отдыха.

— Не иначе, как собрались мы здесь все ради одного и того же, — промолвил Барбье.

— Так оно и есть!

— А в чем дело, пан Вильгельм?

— А вы не знаете?

— Ничего не знаю! Какая-то война? Дальний поход? Враг напал?

— Самое удивительное из того, что только может быть. Но не то время и не то место, чтобы теперь говорить об этом. Садитесь пока, поешьте.

Новый гость без церемоний сел к столу.

Путники молча ели, а тем временем Бурчак ходил по комнате, что-то бормотал, копаясь в шкафу. Когда умолкло звяканье ножей и мисок, первым заговорил пан Станислав, обращаясь к Берберию.

— Я умираю от любопытства, скажите же мне, пожалуйста, ради чего нас вызвали? По всему видно, что ожидается нечто важное.

— Полагаю, что даже слишком важное, — отвечал француз, — но если начинать разговор об этом, то можно не кончить до рассвета, а уже ночь на дворе. Но вы ведь человек умный, и, может быть, по пути что-либо уже влетело вам в ухо. Неужто ничего не слышали?

— Как вам сказать, и слышал, и не слышал, — резво отозвался пан Станислав. — Вам же известно, что пан староста мой добрый опекун, он хочет вывести меня в люди, поэтому за свой счет отправил меня за границу, чтобы я при иноземных дворах обучался военному делу, повидал свет. Я и поехал, но неожиданно получил послание, приказ поторопиться назад, отложить путешествие на после, потому что я теперь нужен дома. С большим сожалением я собрался и поворотил назад, заторопился сюда. В своем письме пан староста приказал мне возвращаться как можно быстрей, и я так гнал коня, что по пути не имел времени кого-то расспрашивать, поэтому ничего и не узнал. Но я по всему вижу, что не иначе как готовится второй инфляндский поход.

— Какой там инфляндский! — оборвал его Берберий. — Много хуже, удивительней — не иначе как гражданская война!

— Да ну! С кем же? С иноверцами?

— Разумеется, нет! Еще толком ничего не известно, но говорю вам, что гражданская война, — заверил его Берберий. Погодите, я все вам расскажу, что сам знаю, потому что вижу — вы, пане, как говорят, ни сном ни духом о том, что у нас деется, не знаете. Вы же были здесь перед своим путешествием?

— Пока я здесь был, меня чужие дела не интересовали, — ответил Станислав. — Чему тут удивляться: протирал штаны на иезуитских скамьях, изучал метафизику, риторику и философию, кроме того, вечно в военных походах. Как только где начнут стрелять, там и я порох нюхаю, а все, о чем люди толковали, я пропускал мимо ушей.

— Тогда мне нужно, пане, толковать вам все ab owo — с самого начала, целую проповедь говорить, — покачав головой, промолвил Берберий. — Но я вижу, что у пана Бурчака уже слипаются глаза, пора нам идти в свою комнату.

Пан Брожак оторвался от кувшина, из которого он пытался извлечь последние капли пива, и вышел. Бурчак пособирал миски, кубки и кувшин, составил их снова в шкафу, потом взял четки и собрался молиться.

— Вы очень выразительно показываете нам, что мы здесь подзадержались, — заметил Берберий.

— Так ведь давно пора спать, — ответил старик.

Тут вошел Брожак и замахал руками.

— Не вздумайте туда ходить, — поторопился он предупредить. — Печь так натопили, что по комнатам пошел жуткий угар, которого не вынесет и лошадь, не то, что человек. Даже слуги повыскакивали на лестницу.

— Что же нам делать? Где мы будем спать? — воскликнул Берберий.

— По мне так, где хотите! — отрезал Бурчак.

— Так, может, мы останемся здесь? — снова спросил француз. Бурчак ничего не ответил.

— Вот если бы у нас был хотя бы еще один кувшин или бутыль вина, то мы бы еще как-нибудь да скоротали время, — сказал Берберий, — ведь ночь такая поздняя, но все же и такая длинная!

— Попросите пана Бурчака отворить ворота, — наклонившись, прошептал Брожак на ухо французу. — Я знаю, где здесь неподалеку продается пиво, схожу с кувшином, принесу.

— Но ведь все шинки и корчмы давно позакрывались.

— Ничего, мне откроют, я тут всюду свой. Да там, наверное, еще и не спят. Хотя на ратуше и прозвонили сигнал тушить огни, у них они еще не потушены, — заверил Брожак.

— Смотри, как бы тебя кто-нибудь не ограбил. Такой порой, наверное, шатается немало воров.

— О, не бойтесь, пане, а лучше попросите пана Бурчака отпереть ворота, а его пригласите распить вина. Пусть он только откроет, а я вино обязательно найду.

— Знаете что, пане Бурчак, — уже вслух сказал Барбье, — мне кажется, что нам нигде не удастся заснуть, а нужно же как-то скоротать ночь. Позвольте пану Брожаку сходить принести нам кувшин вина. Только дайте ему ключ от ворот.

— Что? Что? Он принесет вина? — спросил старик.

— Принесет, — заверил его Барбье.

— Поверьте мне, пане, — убеждал его Брожак, — я вам принесу самого лучшего, от Мальхера, из-под вывески.

— У Мальхера уже закрыто.

— Мне откроют, вы только ключ дайте.

Старик пошарил по столику и выбрал один ключ, отвязав его от ремешка.

— Идите, пане, — сказал он, — к воротам со стороны Замковой улицы, там слева есть дверца, возле ворот, как раз напротив шинка Мальхера, вам останется только перейти улицу, и вы на его пороге. Но прошу вас, закройте за собой, потому что если кто к нам залезет, мне несдобровать.

— Будьте уверены, пане, все сделаю, как вы говорите, — заверил Брожак. — Дайте мне денег, пане полковник, — обратился он к Барбье, — а вы, пане Бурчак, одолжите кувшин.

Сказав это, он заткнул за пояс обе полы жупана, надвинул на самые уши шапку, кивнул головой Суминскому и затворил за собой дверь.

Кувшин вина

— Давненько не видал я виленских улиц ночью, — сказал сам себе пан Брожак, спускаясь по лестнице во двор, — но и теперь увижу немного, если мне нужно всего лишь перейти через улицу к дому, где живет Мальхер. Ну и хорошо.

Оказавшись во дворе, он пробрался к воротам со стороны Большой (Замковой) улицы, впотьмах нашарил дверь, отпер внутренний поперечный засов и попробовал открыть замок ключом. Когда это ему удалось, он протиснулся на улицу, замкнул за собой дверь, проверил, замкнулась ли, и глянул на окна Мальхера, которые и в самом деле оказались как раз напротив.

— Что за холера! У него темно! — удивился Брожак, не увидав света. — Неужто он отучил пьянчуг засиживаться у него? Да нет же! Не иначе как они прячутся, сидят с другой стороны от улицы.

Подумав так, он подбежал к воротам каменного дома, приник к ним ухом, потом стукнул ногой — один раз, второй, третий.

— Эй! Эй! Кто тут есть? Откройте!

Но никто не откликнулся.

— Да пусть я месяц буду поститься, а все же добужусь, — подумал он и снова начал стучать. И снова без толку.

Тут возле него что-то зашуршало. Брожак, едва не вдавившись в ворота от неожиданности, обернулся.

Сзади стояли двое мужчин, смотрели на него и шептались. Увидев их, Брожак, не долго думая, спросил:

— Панове, не могли бы вы сказать мне, что случилось с Мальхером, почему к нему нельзя достучаться?

Но панове ничего не ответили, только снова зашептались.

Пан Брожак подумал, уж не хотят ли его ограбить, поэтому решил не стучать более в ворота, чтобы на него не напали сзади. Отошел от них, и время от времени оглядываясь, побрел дальше. Те двое, которых он увидел, тоже медленно двинулись за ним. Это насторожило Брожака, но он не растерялся и храбро зашагал по улице в сторону ратуши. Там, он надеялся, легче достучаться и под какой-нибудь вывеской все же раздобыть вина.

Улицы уже опустели, все так же падал снег, где-то вдали перекликалась ночная стража, издали доносились тихие звуки костельных колоколов. Вокруг — ни души, света нет ни в одном окне.

— Видимо, уже более поздно, чем мне казалось, — подумал Брожак, — но я не таков, чтобы вернуться с пустыми руками.

Он решительно свернул направо, в сторону Пятницкой церкви, подошел к дому с крыльцом, выходящим фасадом на рынок, глянул вверх, увидел сосновую ветку, припорошенную снегом, и заторопился к воротам. Здесь, наконец, он сразу услышал громкий пьяный говор и очень хорошо знакомый ему стук кубков, звон стаканов.

— Ну, наконец-то! — обрадовался он. — Достану вина здесь или нигде!

И он постучал в ворота раз, второй, закричал:

— Добрые люди, прошу вас, откройте!

Только он умолк, как снова увидел тех двух, что шли за ним, они стояли близко и как будто следили за ним.

— И вы, панове, хотите попасть на постоялый двор? — спросил он, слегка поклонившись.

Один из них откликнулся:

— И мы? А вы, пан, ради чего здесь?

— Хочу разжиться вином, — признался Брожак.

— Вы не достучитесь, — сказал второй, приблизившись. — Разве что мы поможем.

— Да я и сам сумею — заверил их Брожак.

— О, нет! — возразил первый незнакомец. — Можете стучать хоть до самого утра, никто вам не откроет. Но подождите немного, я вам помогу.

Сказав это, он миновал ворота, подошел к дому, где сквозь щели в окнах пробивался свет, просунул руку в щель в виде вырезанного сердца и трижды постучал в стекло.

— Кто там? — спросил голос изнутри.

— Свой, из кардиналии, откройте вход с улицы.

— Сейчас.

Послышались шаги, стук, звяканье ключей, наконец, отодвинулся засов, открылась дверца. Первым зашел Брожак, за ним просунулись и его новые друзья.

— Пусть вам Бог воздаст за эту услугу, вижу, что я даром бегал бы по всему городу и только бился лбом в ворота, — благодарил незнакомцев Брожак.

— Не за что, — коротко ответил один из них.

Слева от ворот в толстой стене открылись дверные створки, из них брызнул свет, дохнуло теплом, запахло едой. Пан Брожак вошел в длинную и узкую сводчатую комнату, вдоль которой стоял стол, окрашенный в красный цвет, он был застлан толстой, покрытой пятнами скатертью, посреди стояли тяжелые латунные фонари с зажженными свечами. На скатерти валялись обглоданные кости, хлебные крошки, разные объедки, стояли пустые медные миски, муравленные кувшины, медные и стеклянные кубки. Стол с двух сторон окружали широкие скамьи. На них сидели двое мужчин, оба были сильно пьяные. Они наклонялись через стол один к одному, ударялись кубками и кричали:

— За здоровье пана!

— За здоровье вашей жены пани Катерины и вашей прекрасной дочери Настасьи, всего вашего рода!

— Боже, благослови!

У горожан было очень хорошее настроение.

Возле окна, выходящего на улицу, спал налегший грудью на стол еще один пьяница: шапка у него была низко надвинута на лицо, и только из-под руки, на которую он опирался, были видны длинные конопляно-шафранные усы. Хозяин, открывший дверь, был в расхристанном суконном кафтане, ночном колпаке на лысой голове, синих шерстяных чулках. В комнате была и еще одна особа: девушка, очень уж грязная, худая и некрасивая, какая-то пожелтевшая, заспанная, вся в отрепье. Бродя из угла в угол, она собирала со стола миски, кубки, тарелки, ложки и, что-то бормоча, относила их в соседнюю комнату.

Те двое, к которым теперь при свете смог присмотреться Брожак, были молодые парни; уверенные в себе, хорошо одетые, они вовсе не походили на ночных бродяг, какими ему поначалу показались. Брожак почтительно и вежливо склонил перед ними голову и сказал:

— Так здесь, не иначе, только харчевня, может быть, я здесь и не разживусь вином!

— Не разжиться вином! — откликнулся хозяин, который подошел с ключами. — Не разжиться вином! Ничего себе! Неужели пан ничего не слышал о новой харчевне пана Супейки — горожанина и купца города Вильни? Еще как разживетесь, пане, я дам вам самого лучшего вина! А во что пану налить?

— Вот в этот кувшин.

Пан Брожак протянул ему двухгарнцевый кувшин, хозяин кивнул головой и сказал:

— Идемте со мной. А есть ли у вас чем заплатить?

Брожак разжал ладонь и показал вытертый талер.

— Прошу за мной, — повторил хозяин, забрал фонарь у пьяных и подался в глубину комнаты к дверям, ведущим в каморку. Пан Брожак пошел вслед за ним, а два его «приятеля» остались.

Хозяин привел его поначалу в темную каморку, где царил жуткий развал, о чем можно было судить даже при отблеске догоравшей у стены свеч-

ки. В беспорядке громоздились корыта, котелки, пустые бочки, большие бутли, миски, висели скатерти, валялись метлы, а на груде белья и всякого иного добра примостилась та самая девушка-служанка, она уже крепко спала, прикрыв лицо фартуком. Из каморки Брожак с хозяином прошли в коридор.

— С позволения пана, — сказал Супейко, — я схожу за ключами от подвала.

— Но вы же там, пане, ради всего святого, не задерживайтесь, не оставляйте меня надолго впотьмах.

— А я оставлю вам свечку, — ответил хозяин и заторопился к двери в стене слева, они были со вставленными стеклами, за которыми можно было разглядеть при свете лампады, зажженной перед иконой Пресвятой Девы, чистую комнату, где за цветастой занавеской лежала и висела женская одежда.

Хозяин открыл дверь, послышалось неясное бормотанье, звяканье ключей, потом пан Супейко вернулся. На нем уже был зеленый кубрак. Он взял у пана Брожака фонарь и повел его по коридору вглубь, к дверям склепа.

* * *

Пока пан Брожак ждет свое вино, мы вернемся в первую комнату, где остались незнакомцы.

Это были, как мы уже упоминали, молодые парни, хорошо одетые; насколько можно было судить по их обхожденью и виду, придворные какого-то господина, шляхтичи. Одеты они были на один манер в темное, закутанные в богатые плащи. Они сняли шапки и присели на лавку возле окон со стороны улицы напротив горожанина, спящего, разлегшись на столе.

— Ну, что скажешь? — спросил один из них. — Попробуем что-нибудь сделать?

— Опасно, — ответил второй. — Об этом надо было подумать заранее.

— Но покуда мы будем думать, этот парень уйдет. Ну так что?

— У него есть ключ от двери, — промолвил второй, — а нам бы он очень пригодился. Воеводич хорошо заплатил бы нам, если бы мы получили такой легкий доступ во дворец Ходкевичей да еще и связь со служанками молодой княжны. Она и хотела бы нам помочь, но ее зорко стерегут.

— Как же мы выудим у него ключ?

— Само собой, его ни в коем случае нельзя отнимать, но не поискать ли нам какой-нибудь способ, чтобы обмануть этого сосунка?

— Что же придумать?

— Мне кажется, лучше всего хорошенько напоить его, — рассуждал первый, — а ключ выкрасть и оттиснуть копию с него. Я слышал, что именно так подделывают ключи воры.

— Как бы это все не вылезло нам боком, — забеспокоился второй, — тут пахнет виселицей!

— А кто об этом узнает? К тому же, мы делаем все это ради добра.

— А я думаю, что красть ключи нет смысла, ведь они так же, как и всюду, запирают дверь еще и на засов. Вот если бы нашелся кто-нибудь, кто открыл бы нам засов, тогда бы и ключ не понадобился.

— Да, это так.

— Вот вернется наш сосунок, тогда и посмотрим, можно ли его напоить. А заодно, пане Адаме, попробуем кое-что у него узнать.

Только он это сказал, как вошел, прикрывая кувшин полой, пан Брожак. Он уже собирался выйти за дверь, как один из парней спросил его:

— Как видно, пан куда-то несет вино. А вы не хотели бы распить кружечку с нами?

— Благодарю вас, панове, за предложение, — ответил пан Брожак, у которого при упоминании о кружке, аж слюни потекли, — и рад был бы выпить с вами, но мне некогда, меня ждут во дворце Ходкевичей.

— Да что там, всего какая-то минутка, сказал первый незнакомец и подал хозяину знак принести вина. — И у нас времени нет, чтобы долго сидеть тут, и нам нужно возвращаться, но в такую холодрыгу грех будет не согреться хотя бы кружечкой.

— Ну, если вы, панове, так уж хотите, — ответил Брожак и сел, поставив кувшин под стол, — то и выпьем. Скажу пану Берберию, что долго блуждал, пока не раздобыл вина. Пусть подождет.

— Теперь, при свете, я вас лучше рассмотрел, — добавил Брожак, — а то возле дома Мальхера вы меня напугали. Простите, но я подумал, уж не воры ли вы, их в такую пору много на улицах.

— Да, в самом деле, ночью не стоит выходить из дому, — подхватил его слова второй незнакомец, — но еще такого не случалось, чтобы кто-то напал на одной из главных улиц, да притом возле ратуши, там же всегда стража. Вот в переулке можно запросто получить палкой по лбу.

Тут хозяин подал большую бутыль вина и три кубка. Старший из незнакомцев налил полный кубок пану Брожаку, тот сразу же осушил его, вытер усы и прошептал:

— Какое-то крепкое вино, боюсь, как бы оно не ударило мне в голову.

— Слабенькое, не будь я Супейка! — заверил хозяин. — Его можно пить как воду! Оно печет в животе, а в голову не шибает.

— Ну, тогда выпьем, как говорится, под вторую ногу! — объявил новоявленный друг и выпил.

Пан Брожак тоже выпил.

— Что же! Бог Троицу любит, — улыбнувшись, промолвил второй.

Услышав это, Брожак побелел, будто увидел перед собой еретика, и сказал:

— Что это вы вспоминаете за кубком о Святой Троице? Может вы, простите, из конфедератов?

— Нет, что вы! — заверил незнакомец, взглянув на товарища. — Что вы! Так, выскочило ненароком. Вы же знаете присловье: *Omne trinum perfektum* — все хорошее — трижды.

И они снова выпили, кланяясь друг другу. Потом заговорил старший:

— Так значит, вы из дворца Ходкевичей?

— Да, подтвердил Брожак, — я приехал с паном Берберием, который будет переделывать дворец в крепость или что-то вроде этого.

— А зачем? — спросил второй.

— А кто его знает! — пробормотал Брожак. — Может, пан староста хочет с кем-то воевать.

Незнакомцы переглянулись, а Брожак моргал, протирал глаза, чувствуя, что вино все же ударило в голову.

— А разве вы одни приехали? И никого больше нет там?

— Как же! Еще и пан Станислав приехал из-за границы помогать пану Берберию в этом деле.

— Кто он такой, пан Станислав?

— Воспитанник пана старосты, его прочили в военные, посылали за границу учиться военной премудрости.

Брожак говорил и чувствовал, что он как будто запутывается в какой-то сети, поэтому взял кувшин и встал из-за стола.

— Мне нужно возвращаться, кажется, я перепил.

— Вот именно, кажется, — сказал незнакомец. — Нам нужно выпить еще по кубку, чтобы пара была.

Он снова выпил, то же сделал и пан Брожак, который уже еле стоял на ногах, но все же ждал, что ему еще нальют. Второй незнакомец незаметно сунул руку в его карман, вытащил ключ от двери и побежал в каморку.

— Что это с вами? — повернувшись к нему, спросил Брожак.

— Да вот кровь носом пошла, — ответил тот.

Тем временем второй парень, как мог, развлекал Брожака, пил с ним, пока еще оставалось вино, и хотя тот все время порывался пойти, боясь выпить сверх меры, но как только видел перед собой полный кубок, даже и не пытался отказаться. Вскоре из кладовки вышел, утирая нос, второй парень, обнял и перекрестил Брожака, а сам незаметно положил ему в карман ключ.

— Будет свободное время, — обратился он к Брожаку, приходите к Мальхеру, и мы снова немного выпьем.

— С радостью, — отвечал им Брожак, шатаясь и расплескивая вино из кувшина, который он снова спрятал под полу. — Но вы, панове, меня так напоили, что я даже не знаю, как мне попасть назад во дворец Ходкевичей, хотя мне и не впервой ходить ночью по улицам.

— А нам с вами по пути, — успокоил его незнакомец. — Отворите нам, пане Супейко.

Они вышли из ворот, которые открыл им хозяин. На прощанье он перекрестил их. Все трое снова оказались на улице.

Осмотревшись и вдохнув свежего воздуха, пан Брожак почувствовал большую тяжесть в голове, ему казалось, что все вокруг кружилось и шумело. Он еле распознал перед собой ратушу и пошел влево, в сторону замка. Двое новых друзей вели его, расспрашивали о том о сем, а он, насколько мог собраться с мыслями, отвечал, не задаваясь вопросом, почему они выведывают и зачем это незнакомцам, даже не сказавшим, кто они такие. Наконец они расстались, предварительно показав дверь, которую пан Брожак отомкнул с большим трудом, замкнул ее за собой, но закрыть на засов уже не смог. Потом он долго блуждал по двору, пока не нашел лестницу, ведущую в комнату пана Бурчака. Когда ему открыли дверь, он застал в комнате пана Барбье, который ходил взад-вперед, беспокоясь об унесенном ключе, и пана Станислава, тот уже спал за столом.

Брожак вошел пошатываясь и, хотя еле держался на ногах, но поставил кувшин посреди стола; пан Барбье заметил перемену в его лице и все понял.

— Ты где-то уже хорошенько хлебнул, — упрекнул он Брожака.

— Кто? Я? — оправдывался тот. — Я? Да это чистейшее вранье, право же, у меня кроме снега макового зернышка во рту не побывало.

— Отдай ключ! Куда ты подевал ключ? — прервал его Бурчак. — И где так долго шатался?

— Что? Да ведь всюду уже позакрывали. К тому же меня хотели ограбить воры, еле вырвался от них.

Он отошел от стола и зашатался.

— О, да тебя будто черти под бока толкают! — воскликнул Барбье.

— Кто-то огрел меня чеканом по голове.

— Где? Покажи!

Все начали искать след от удара, но пан Брожак закрывался, притворяясь, что ему очень больно, потом удрал в соседнюю комнату, разостлал там плащ и лег спать. А в это время пан Барбье и Станислав достали кубки, пригласили пана Бурчака, который отложил четки и охотно сел за стол.

— Вы собирались, пане, рассказать мне, что у вас тут творится, какая гражданская война должна вот-вот начаться, — напомнил пан Станислав. — Раз уж вы мне обещали, то расскажите, вино как раз и язык развязывает и располагает к беседе.

— Вообще-то я не все знаю, — тихо проговорил пан Бурчак, — но расскажу, если вам интересно.

Радзивиллы и Ходкевичи

— Вашей милости следует знать, — начал пан Барбье, смакуя вино, — что наш пан староста и вся семья Ходкевичей издавна роднятся с Радзивиллами, хотя и не очень-то ладят между собой.

— Да, это так, — прервал его Бурчак. — Я вырос и умру в этом доме, а поэтому как никто знаю обо всех обстоятельствах. Поначалу дядя его панской милости пана старосты ныне покойный Юрий, также бывший жмудским старостой, взял себе жену из рода Радзивиллов, а сам он был сыном княгини Слуцкой из рода Олельковичей — это также связывает их с Радзивиллами. Уж очень он был по нраву Радзивиллам, хотя мы все говорили, что ничего хорошего из этого не получится: орлу с грифом не подружиться.

— Вашей милости нужно знать, что Олельковичи также в родстве как с Радзивиллами, так и с Ходкевичами.

— И что эти Олельковичи — яблоко раздора между ними.

— Но разве все дело в Радзивиллах? — спросил пан Станислав.

— И ни в ком ином, — заверил француз, — но вы слушайте дальше и тогда услышите о многом удивительном.

— Позвольте мне сначала рассказать об этих связях, без них невозможно будет что-либо понять, — старался пояснить Бурчак. — Я повторяю: Радзивиллы роднятся с Ходкевичами, а оба этих рода, в свою очередь, — со слуцкими Олельковичами. Чтобы лучше все представить, следите за моей мыслью: покойный дядя нынешнего пана старосты Иеронима, бывший в свое время также жмудским старостой, породнился с Софией Олелькович, слуцкой княжной, а та София была сестрой князя Семена, отца князя Юрия, который, в свою очередь, является отцом нашей Софии Юрьевны Олелькович, слуцкой княжны. Из этого вы, ваша милость, ясно видите, что пан Юрий был дядей нашей панны. Вам нужно также знать, что это был очень набожный и учтивый пан, пусть Бог даст вечный покой его душе. Пять лет назад он умер, мы все плакали, когда его хоронили в Бресте, и я пролил немало слез, потому что он мне покровительствовал и всегда помнил обо мне. Однако вы, пане, еще не видите, в чем тут родство Радзивиллов с Олельковичами, так вот я вам как раз про это сейчас и расскажу. Нынешний виленский воевода, пан Криштоф Радзивилл, у которого есть сын Януш, женат на Катерине, дочке князя Константина Васильевича Острожского, киевского воеводы, а она, в свою очередь, — дочь Александры Олелькович из Слуцка. Вот вам и кровное родство.

— Мне кажется, — прервал его Барбье, — что из всей этой генеалогии пану Станиславу не вполне понятно, как все это связано с их нынешней ссорой, я хочу пояснить ему это. А поэтому возвращаюсь к своему: Ходкевичи с Радзивиллами в родстве, но не очень-то ладят между собой. Однако же покойный Юрий, жмудский староста, был очень набожный приверженец православия, а воевода, как известно, протестант, спознался с иноверцами, а недавно записался в конфедераты вместе с князьями Острожскими и другими господами из Руси. Но между собой они были в добром согласии. В 1586 году отец нашей молодой княжны Софии Слуцкой умер, и перед смертью в своем завещании доверил опеку над ней пану Юрию Ходкевичу.

— Она последняя представительница этого славного рода, — добавил Бурчак, — рода, который некогда, при князе-епископе Виленском, имел свое место в сенате. У нее богатое приданое: Слуцкое и Копыльское княжества.

— Когда это случилось, и княжна досталась в опеку пану Юрию, жмудскому старосте, Радзивиллы начали его обхаживать с надеждой склонить на свою сторону, чтобы заполучить Софию и все ее владения. И они настолько хорошо справились с этим, так уговорили жмудского старосту,

что он еще в 1594 году, накануне своей смерти, подписал договор о том, что София выйдет замуж за князя Януша Радзивилла, сына нынешнего пана воеводы и княжны Острожской.

— Как такое могло случиться? — удивился пан Станислав.

— Как? — переспросил Бурчак, подставляя кубок, чтобы в него налили вина. — Об этом лучше расскажу я, потому что сам был свидетелем. Было все это в Бресте, когда там строился на старостовы деньги прекрасный храм, а сам он проводил немало времени в молитвах, за несколько лет до смерти ходил что ни день на все богослужения и даже мало общался с людьми, настолько ревностно веровал. Радзивиллы хотели иметь полную уверенность в том, что они заполучат княжну Софию, которой в то время (а это был 1594 год) не исполнилось и десяти лет. Совсем дитя была! Очень уж они возле него увивались, все уговаривали его, но ни один из Ходкевичей и думать не желал о браке богатой девушки с близким родственником, даже если бы и уверенность была, что папа римский позволит им жениться по просьбе короля, который хорошо относился к Ходкевичам. Но они не хотели этого, потому что видели в этом браке нарушение Божеских установлений. А вот евреи — те вступают в брак даже с родственниками. И вот тогда...

— Что-то вы уж больно подробно все это рассказываете, — не утерпел Барбье.

— Ничего, вас же никто взашей не гонит, лучше уж рассказать все обстоятельно, — гнул свое Бурчак, — только наберитесь терпения. Так о чем это я?

— О том, как хотели отдать княжну за Януша.

— Ну да, так и есть. Само собой, они этого очень хотели и, как могли, уговаривали пана старосту, а тот, чтобы избавиться от их давления, дал слово шляхтича, что когда княжна подрастет и сама захочет выйти замуж за князя Януша, то он ее отдаст за него. Но воеводе Радзивиллу было мало одного его слова, он хотел быть полностью уверенным в том, что его сын станет владельцем Слуцкого и Копыльского княжеств. Как сейчас помню: был я однажды в Бресте, и пошли мы все в храм. А это было, помнится, в субботу, за неделю до Пасхи. Вдруг подбегает к нам придворный слуга и говорит, что приехал на коне вассал князя воеводы, а вскоре будет и он сам. Маршалок подошел к скамье пана старосты и сообщил ему об этом, а пан староста строго так отвечает: «Иди и прими его, а у меня на первом месте — Бог, а уже вслед за ним все на свете князья и даже короли. Вот окончится служба, тогда я и вернусь в замок». Он дослушал до конца молебен, вернулся в замок, а там уже стоит карета, кони пана воеводы и его личная охрана. Сердечно и дружески поздоровались, а потом был великий пир. Хорошо приняли и людей воеводы: для них выкатили бочки с вином, еды было много, стол был накрыт целый день, при нем и я, как сейчас помню, прислуживал воеводской челяди. Потом уже при дворе прознали, что пан воевода приезжал к пану старосте за какой-то бумагой.

С ним в то время был молодой сын, князь Януш, парень видный и добросердечный, но уже тогда, как и теперь, в его глазах светилась необычайная гордыня. Было там немало панов, среди них и племянник пана воеводы — князь, староста мозырский, много друзей. И вот они все снова стали виться возле нашего пана старосты, немало чего ему наобещали, напоминали о родственных связях. Назавтра мы узнали, что княжну Софию сосватали князю Янушу под залог, и это было засвидетельствовано документом.

— Как это — под залог? — снова удивился пан Станислав.

— Пан староста дал бумагу пану воеводе, в которой засвидетельствовал, что под залог большой суммы денег обещает выдать княжну только

за князя Януша, когда она станет совершеннолетней. Если же не исполнит этого, то сам заплатит большой залог. Я уж и не знаю, зачем пан староста это сделал, но куда денешься, если и просят, и уговаривают, и клянутся в вечной дружбе. Как тут не согласиться? После этого снова были большие пиры и виваты, выпито много вина, и, наконец, все разъехались. Пан староста был очень рад, что спровадил их — сразу же приказал прибраться в покоях и наново освятить их после этих еретиков, как после прокаженных.

— С этой поры, — подхватил Барбье, — хотя княжна была еще ребенком, к ней стал часто приезжать князь Януш, присылал подарки, чтобы понравиться ей; воевода также время от времени заезжал погостить. Пан староста был человек терпеливый и добродетельный, но не любил этих внезапных наездов и не однажды говаривал: «Ох, не подумал я, как следует, когда подписывал эту бумагу, но будь что будет, дело сделано. Раз уж дал слово, надо его держать». Но внезапно наш пан староста умер.

— О, пусть будет ему вечная память, — воскликнул пан Бурчак, молитвенно сложив руки. — Это был человек, каких мало на свете, добр к людям и Богу, ведь не было ни одной живой души, которая затаила бы на него обиду.

— Умер он в Бресте в июне 1595 года, с этого времени прошло вот уже четыре года, даже почти половина пятого. После его смерти Радзивиллы очень всполошились, не знали даже с чего начать, как снова наладить прерванные связи, потому что опека перешла к брату покойного — Иерониму, виленскому каштеляну, брестскому старосте, который не был настолько дружен с Радзивиллами, как Юрий. Каштелян прознал о смерти брата и поспешил в Брест, ибо Ходкевичи хотели, как положено, справить поминки и воздать долг его памяти.

На похороны приехало немало влиятельных людей — сенаторы, священники — все они сказали много добрых слов о покойном, а ксендз Брандт, иезуит, выступил с прочувственной речью, которая всех растрогала. Позже она была напечатана в местной иезуитской академии. Но это было почти что в ноябре, а известие о смерти дошло до Радзивиллов сразу, и они будто бы ради похорон (хотя и еретики), а на самом деле ради подтверждения договоренности поспешили вслед за виленским каштеляном.

— Был там и я, — продолжал Бурчак. — Все мы плакали у гроба нашего благодетеля, ждали дня похорон, и тут как раз Радзивиллы *in magno comitatu* — с большой свитой — знатных панов и чиновников приехали в замок. В первый день они, уважая память покойного и траур пана каштеляна, ни о чем разговоров не заводили; но назавтра уже начали напоминать о той бумаге, настаивали на том, чтобы обновить ее, вспоминали о родстве и дружеских связях, которые издавна были между родами. Сначала каштелян не шел ни на какие уступки, отговаривался тем, что будет достаточно той первой договоренности с братом, но Радзивиллы настаивали, что нужно снова договориться на прежних основаниях, с залогом, потому что им хотелось добиться своего.

Я забыл вам сказать, что виленский каштелян во время переговоров с братом также присутствовал, более того, сам писал тот договор, поэтому он был вынужден обновить его, раз уж опека перешла к нему. После долгих уговоров был составлен новый акт, который написал и оформил еще более хитро, чем первый, маршалок его королевского величества Андрей Юндил. Подписали его русин Александр Головчинский, который поддерживал Радзивиллов и приехал с ними, Ян Тризна и Петр Страбовский, трайденский староста. В том новом акте было записано, если верить слухам, что виленский каштелян обязуется отдать молодую княжну замуж за князя Януша в тот день, когда ей исполнится пятнадцать лет, здесь в Вильно, вот в этом

доме, где мы сейчас сидим, 6 февраля 1600 года, если она сама того захочет и не будет против. На этот раз Радзивиллы были весьма довольны, князь был очень рад, ведь они уже столько лет домогались этого. И все же они очень боялись, как бы кто-нибудь не нарушил их планов. Ведь именно с нашим паном старостой они что-то не очень ладили, между ними велись какие-то давнишние родовые тяжбы. Поэтому они побаивались, как бы он не настроил пана каштеляна против договора, а может, их заботило и другое: многие известные литовские роды почли бы за честь породниться с Ходкевичами через княжну. Правда, желая уберечься от этого, воевода повелел дописать в том акте, что каштелян не будет тайно чинить препятствий, и все это под залогом в тысячу литовских коп. А это, сами понимаете, сумма немалая! Когда неосмотрительный пан каштелян пошел на этот уговор и подписал акт, Радзивиллы, даже не дожидаясь похорон, уехали из Бреста радостные и довольные тем, что им удалось перехитрить Ходкевичей. А князь Януш по воле своего отца воеводы старался войти в фавор, завоевать расположение княжны, понравиться ей. Люди говорят, что он пришелся ей по нраву, и это так и есть.

Все это происходило в 1595 году, как я уже вам говорил, и с той поры князь Януш часто проведывал княжну, а она подросла и стала очень красивой. Вы ее хоть раз видели?

— Нет, никогда, — ответил пан Станислав, — мне ведь приходилось более бывать при войске, чем при дворе. Как я мог ее видеть, если она живет то в Гродно, то в Бресте, то у вас в Вильно. А я тут, почитай, не бываю.

— Теперь она живет в нашем дворце, — сказал Бурчак, — вместе с экономкой нашего пана Влодской. А подбор придворных девушек просто королевский — из числа самых лучших, шляхетных паненок. Если вы ее не видели, то очень жаль: на нее так же приятно смотреть, как на росписи в храме. Раз уж вы тут будете, то, наверное, увидите ее. Глядя на нее, никогда не скажешь, что эта девушка росла горя не ведая, что ей всего хватало, такая она худая и слабая. Кажется, ветерок повеет, и она упадет. Зато лицом пригожая, хотя и постоянно грустная, будто недавно плакала или болела. Глянешь на нее, и такая тоска охватит, что кажется, будто и сам вот-вот заплачешь. Я никогда не видел и даже не знаю, смеется ли она. Может, только тогда, когда приезжает князь Януш. А он, будто бы, на самом деле увлечен княжной, очень любит ее, во всем слушается.

— И все же вы, пане, многое упустили, — заметил Барбье, разливая вино по кубкам, — ведь нужно еще знать, что Криштоф Радзивилл взял за своей женой Катериной Острожской хорошее приданое, а среди всего прочего — несколько имений под Оршей, которые еще при Сигизмунде Августе были под залог в пять тысяч злотых переданы Ходкевичам. Неизвестно, что за злой дух подтолкнул воеводу Радзивилла по суду требовать возвращения тех имений. Ходкевичи были настолько потрясены этим, что, несмотря на все обещания в Бресте, на клятвы в вечной дружбе, через пару лет перечеркнули все те договоры. Радзивиллы подняли жуткий крик и разорвали с Ходкевичами все былые связи. Они настолько не поладили, что даже перестали встречаться, а пан Александр и пан жмудский староста затаили большую обиду на пана воеводу. Они судились, угрожали Радзивиллам, что эти имения и Копысь отзовутся на судьбе княжны Софии. С той поры Ходкевичи делали все, чтобы не допустить этого брака. Вскоре после той тяжбы за Копысь наш пан староста с братом Александром поехали в Брест, туда же приехал и их дядя, опекун княжны, виленский каштелян Иероним.

— Вы еще туда не ездили? — спросил Барбье у пана Бурчака, который внимательно слушал его.

— Нет, не был, но я обо всем хорошо знаю, — уверенно отвечал Бурчак. — Они приехали к дяде, жаловались, кричали, что он зря затеял тяжбу с Радзивиллами, что они теперь делают все, чтобы извести их род, затевают судебные тяжбы, хотят отобрать имения.

И так они разбередили душу пану каштеляну, что и он, охваченный яростью, начал угрожать Радзивиллам. Все вместе они стали доказывать, что договор с ними о браке недействителен, потому что князь Януш и княжна София близкие родственники, что она ему почти сестра; позже они вложили это в уши королю, а он всегда благоволил к Ходкевичам. Да и королю не понравилось то, что еретики могут объединиться с ними и, несмотря на предписания католической веры, женят своего сына на православной. Ходкевичи так осерчали на Радзивиллов, что князь Александр Головчинский, осмелившийся напомнить о последнем соглашении, скрепленном печатью, вывел их из терпения, и, тоже рассердившись, покинул Брест. А пан Александр и пан староста Ян Кароль начали тем временем убеждать дядю, что если уж он хочет отдать княжну Радзивиллам, то пусть хотя бы при этом не забывает о своей родне и ничего не делает без их ведома, чтобы им можно было с выгодой для себя прийти к соглашению насчет Копыся. В конце концов они добились того, что он на бумаге засвидетельствовал, что без их ведома не выдаст княжну замуж. Радзивиллы узнали об этом. Воевода забрал спорные имения себе, поскольку у него была бумага от каштеляна, а на угрозы не отвечал, он был уверен, что добьется своего. А наш пан староста вместе с братом Александром пригласили пана каштеляна в новогрудский земский суд, чтобы разобраться в родстве князя Януша с княжной Софией, по этому делу был вызван и виленский князь воевода. Братья пытались доказать, что по Литовскому статуту и католическим канонам между близкими родственниками брак невозможен.

Воевода над этим только посмеялся, поскольку уже не раз утверждалось, что земский суд не имеет отношения к брачным делам. Рассердившись на наших панов, а более всего на каштеляна за то, что он дал себя уговорить и подписал новый договор, воевода тоже начал угрожать. А вы же знаете, что он может натворить!

— Так все и тянулось до этого года. Но я же еще не рассказал вам, как обошлись Ходкевичи с князем Янушем, который по-прежнему часто бывал у княжны Софии, не забывал о ней. Помню, что он два года назад поехал к ней в Брест и вернулся оттуда очень разгневанный, проклиная наших панов за то, что они его плохо приняли, позволили увидеться с княжной всего раз или два, да и то в их присутствии.

А совсем недавно пан каштелян попросил пана старосту Яна Кароля, чтобы он позволил княжне пожить в нашем недавно подновленном доме, и перевез княжну вместе со всем ее двором в Вильно. Тут князю Янушу стало еще труднее видеться с ней.

Уже скоро год тому, как это случилось, а между Ходкевичами и Радзивиллами отношения не улучшились. Во вторник, накануне дня Божьего Тела, приехал князь Януш, чтобы повидаться с княжной, она увидела его в окне и, как всегда, радостно приветствовала. Но пан староста был дома и через маршалка приказал уведомить князя, что княжна не примет его, потому что опекун не позволяет. Князь Януш поднял шум, угрожал ему, сердился, но ничто не помогало.

Спустя несколько дней князь Януш отправил гонца с письмом и каким-то подарком, но и этого наш пан староста не допустил: подстерег его и отправил назад, да еще наказал передать: пусть князь ни на что не надеется. Радзивиллы сотворили так много зла Ходкевичам, что лучше, если оставят их в покое.

Князь Януш пытался подкупить слуг, но и это раскрылось, слуг прогнали, на том все и кончилось. Княжне было строго наказано, чтобы она не

пыталась тайно встречаться с князем, иначе ее посадят под замок в монастыре. Княжна плакала, но ничто не помогло. А князья Радзивиллы, чтобы отомстить за Яна Кароля и Александра виленскому каштеляну Иерониму, в том же году потащили его в трибунал, где судья князь Юрий (он ведь тоже из Радзивиллов), троицкий каштелян, обвинил его в нарушении договора, по которому он не мог вступать в тайные соглашения против воеводы. Судья также обвинил его в том, что тот вступил в сговор со своими племянниками, из-за чего возникли трудности в исполнении договора. Легко догадаться, что воевода проиграл дело и должен был заплатить залог — тысячу коп. Но тот, даже под угрозой баниции, платить отказался.

— Ну, наш король такого никогда не допустит, — заметил Барбье, — мы все хорошо знаем, как он любит и поддерживает верных католиков, в том числе и Ходкевичей, а еретиков и схизматиков, во главе которых стоят Радзивиллы и Острожские, люто ненавидит. Это просто невозможно, чтобы выиграли они, а не мы. Вам, пане Станислав, надо знать, — добавил он, — что в их рядах в этом году началось большое оживление, что они идут против короля и католиков, как львы, и что король помогает нам. Он снова стал помогать распространению унии, а она, как известно, не на пользу православию. Три года назад она началась, теперь же король хочет довести ее до конца. В прошлом году накануне трибунала тут был великий съезд, на который приехали князья Острожские из русских земель, а также и реформаторы из Польши. Они хотели создать какую-то унию православия с другими еретиками, чтобы противостоять католикам, иезуитам и королю, и таким образом защищаться от них. Тогда состоялся и знаменитый диспут, на котором против тридцати предводителей сторонников унии выступил ксендз иезуит Смиглецкий и многих из них сумел переубедить, но их это не остановило, они ходили по городу и говорили, что выиграли, хотя есть немало иных свидетельств.

— Но вы, пане, все еще не сказали, когда, где и между кем будет война, — напомнил пан Станислав, — неужто будут воевать за княжну Софию?

— Во всяком случае, я так думаю, — сказал Бурчак, — потому что Ходкевичи собираются защищаться не на жизнь, а на смерть. Правда, король писал пану старосте и пану воеводе, просил их угомониться, чтобы позволили их рассудить, рассмотреть их взаимные претензии на сейме, но — как о стенку горох. Не согласились!

— Что же будет? Неужто в самом деле начнут воевать?

— Похоже, что так и будет, — ответил Барбье. — А пока не наступит указанный в договоре день, когда княжна должна быть выдана замуж, — шестое февраля следующего года, — дай нам бог спокойно дождаться здесь, в этом каменном доме-замке, когда она начнется.

— А мы к войне уже потихоньку готовимся, — добавил Бурчак. — Но напрасно он потакает этим мерзким еретикам. Им помогают Острожские и все, сколько их есть, еретики, и русины. Но королевскому величеству не понравится, что могут погибнуть его самые близкие и самые преданные сторонники. Благодаренье Богу, наш король очень озабочен этим, и, конечно же, сделает все, чтобы не допустить войны. Если же до этого дойдет, то пан староста выставит не менее двух тысяч войска на оборону замка, да еще три десятка орудий.

— А что же Радзивиллы? — спросил пан Станислав.

— О, у них людей довольно, им помогают все нынешние конфедераты, все на их стороне. С ними три князя Острожских, краковский каштелян, киевский и волынский воеводы, и все они могут выставить много людей. А еще с ними и князь курляндский, ведь и он еретик.

— Кроме того, еще и Абрамович из Воронян, и смоленский воевода, а с ним его шурин Нарушевич, племянник — мозырский староста, да кто

их теперь сочтет! — добавил Барбье. Все они могут собрать около пяти, а то, может, и шести тысяч войска. Но там, где шесть атакуют, две могут легко защищаться.

— Будем надеяться, что Бог нам поможет, не поддадимся, — промолвил пан Станислав.

— Вы говорили, что якобы и Замойский с ними?

— Кто его поймет? — заметил пан Станислав. — Мы о нем столько наслышаны после элекционного сейма. Вроде бы нормальный человек. Но на него смотрят, как на какое-то диво. А расскажите-ка, кто же за нас?

— Все католики, но магнатов мало, шляхты больше. Наверное, придется брать в войско наемную солдатню, потому что все боятся затронуть воеводу и конфедератов: каждый учтиво отвечает, что и рад бы помочь, да вот что-то мешает. Только сандомирский воевода Мнишек по старой дружбе и по единой с нами вере готов помочь, но и он не обещает прислать людей, хотя сам приедет.

— А все же — это жуткое дело, оно может очень плохо кончиться! — воскликнул пан Станислав и встал. — Ходкевичи даже и не подумают отдать княжну, а Радзивиллы вознамерились взять ее силой, как крепость.

— Так оно и есть, — подтвердил Барбье.

— А что думает об этом сама княжна?

— Только Бог может читать в ее сердце, — промолвил Бурчак. — Я каждый день вижу Софию, много о ней слышал, но знаю ее не лучше, чем вы, панове, приехавшие издалека. Мне кажется, что она всей душой тянется к князю Янушу, что она любит его. Но с виду — спокойная, молчаливая, держится так, будто ее все это совершенно не касается. Когда пан каштелян и наш пан староста сказали ей, чтобы никаких связей с князем Янушем, никакой переписки (а раньше она была) с ним не имела, чтобы не принимала от него посланцев, она ответила: «Пусть будет ваша воля». О, мне все же думается, что она ищет способ увидеться с князем Янушем. Потому что когда он едет по улице (а он довольно часто проезжает под нашими окнами), она всегда стоит и смотрит, иногда подает ему знак белым платочком.

— Она, бедняжка, и головой ему кивала. Я не раз видел такое. Вот проведает об этом пан каштелян и переселит ее в другую комнату. Угроза банниции страшно разозлила его. Как только дознался, что они хотят сотворить, был готов уступить скорее черту, чем Радзивиллу. Он знает, что против князя все католики, что ректор коллегиума Святого Яна через своих людей дал знать об этом королю и просил, чтобы он не допустил войны. Если бы не иезуиты, они бы тут по головам ходили.

— А вот и светать начинает! — воскликнул пан Барбье, выглянув в окно. — Пойдем в нашу комнату, потому что уже и кувшин пуст, и голова тяжелая.

— А мне еще и работать после бессонной ночи, — добавил пан Бурчак. — Как только стукнет в воротах, надо отворять, да еще и в покоях придется порядок наводить, потому что пан староста может вот-вот приехать.

Уже было совсем светло, когда пан Барбье и пан Станислав легли спать на сене.

В кардиналии

Как только чуть-чуть порозовело на Востоке, не дожидаясь, что скупое декабрьское солнце поднимется над городом, все улицы города пришли в движение. Вильня пробудилась ото сна; первым подал голос и позвал на молебен колокол на костеле бернардинцев, на другом конце города отозвался колокол францисканского костела, и наконец зазвучал хор всех

городских костелов и церквей. Двери храмов раскрылись, нищие заняли свои места и тихо зашептали молитвы. Старые пани в черных атласных туфлях, с толстыми молитвенниками важно шествовали в костелы, согревая руки в лисьих и рысиных муфтах. Евреи в длинных белых, волочившихся по земле одеждах, брели по улицам, повторяя на ходу слова молитв. Отворились брамы и по мостовым загрохотали крестьянские повозки с сеном, дровами, разной живностью. Развернули недолгую утренюю торговлю молочницы, открылись винные лавки. Купцы в меховых бекешах шли открывать магазины. Из харчевен потянуло запахом печеных пирогов и квашеной капусты, темные столбы дыма потянулись вверх от труб. Народ спешил в многочисленные цирюльни: почти в каждом окне, над которым висела вывеска с изображением тарелки, можно было видеть намыленное лицо, и только усы торчат из-под пены.

Во дворце Радзивиллов, стоящем недалеко от замка, рядом с костелом Святого Яна, также все проснулись; слуги и сторожа пошли в город, через ворота туда-сюда уже пробегали придворные. Гайдуки в пестром одеянии с оружием в руках стали на страже во дворе. О том, что здесь живет воевода, можно было легко догадаться по пышности дворца, по множеству различного люда, приходящего сюда по своим делам и терпеливо ожидающего приема. Усадьба Радзивиллов состояла из нескольких отдельных строений, основанных при кардинале Юрии Радзивилле, который ко времени начала нашей повести уже три или четыре раза надолго съезжал в Рим. А после его избрания краковским епископом больше не жил здесь и уступил свой дворец воеводе. Этот дворец не отличался красотой и цельностью. Но что-то все же придавало ему величие, к тому же всюду царила чистота, ухоженность, что также показывало: в этом здании живет важная особа. Здесь не было тех куч мусора, которые возвышались у домов горожан, где шныряли голодные собаки в поисках поживы.

В одном из домов, окна которого выходили на площадь перед костелом Святого Яна и на Замковую улицу, жили виленский воевода и его сын Януш. Княгиня, четвертая жена Криштофа Радзивилла, в это время в Вильно не жила, не было больше и никого из его детей от первых трех браков.

Мы уже рассказывали о воеводе и его характере. Он был гордый, богатый пан, стоял в оппозиции к королю, возглавлял союз реформаторов, которые были в конфедерации с православными, но завидовал католикам, потому что их любил король. Радзивилла высоко ценили его сторонники. Воевода был связан и делами, и родством с князьями Острожскими, а также другими родовитыми людьми Руси, а по-семейному — с Замойскими и с самим канцлером Львом Сапегой. Он хотел быть во главе литовских магнатов — представителей тех сил, которые не любили короля за его предрасположенность к католикам и Ходкевичам, а потому надеялись только сами на себя. В таком духе воевода воспитал и своего сына Януша, который потом так невыгодно прославился в восстании, когда особенно проявилась его неприязнь к Ходкевичам (едва ли не первая причина бунта), ненависть к католической партии, пренебрежение к главенствующей религии, желание унизить их и отомстить.

Князь Януш только проснулся и открыл глаза, привычно скользнул взглядом по изысканным гобеленам на стенах, хлопком в ладоши вызвал слуг. Вскочив с застланной мягкими шкурами постели, осмотрел блестевшее, будто только что вышедшее из-под руки оружейника, оружие, залюбовался растительным орнаментом из серебряной проволоки на недавно привезенной испанской шпаге, тронул простую польскую саблю с прямой крестовиной и обернулся на стук в двери.

Отодвинулась занавесь, и двое лакеев в ливрее дома Радзивиллов принесли холодную воду для умывания и полотенце. Около кровати князя уже

стояла серебряная с позолотой чаша, медный кувшин и кубок. Князь молча облил себя водой, вытерся, расчесал свои длинные (по последней зарубежной моде) волосы. Не завивал их, как делают это теперь, не душил, только облил холодной водой и пригладил ладонью. Потом завил усы, надел простую черную одежду, натянул сапоги из красивой желтой кожи и атласа, жилетку со шнуровкой и орнаментом, непременный пояс с позолоченными полосками.

Спросил у слуги:

— Пан воевода уже не спит?

— Да, ясновельможный пане, — ответил слуга, — к нему только что пришел министр...

— Подайте мне поесть и позовите Тамилу Тамиловича.

Затем прошел по просторной спальне к сводчатым окнам, обращенным к костелу Святого Яна. Несколько минут смотрел на богомольцев, идущих по улице, и недовольно пробурчал:

— Вечно я должен смотреть на этих поганых папистов!

Он отвернулся, сел за мраморный столик, подпер голову рукой. Поправил усы. Какая-то мысль неотступно вертелась в его голове, он строго морщил лоб.

Тут внесли уху в серебряной тарелке на серебряном подносе, следом вошел солидного вида придворный по имени Тамила Тамилович — доверенная особа молодого князя. При дворе этому молодчику дали кличку Дубина, ибо он и в самом деле был могучий и сильный, как дуб, и чем-то в обличье даже походил на это дерево.

Слуги вышли. Князь отставил в сторону уху и спросил:

— Что ты делал, Тамила? Что видел? Что слышал? Рассказывай.

— Всю ночь, ясновельможный пане, мы ходили около дворца Ходкевичей, там началась какая-то суета.

— Что бы это значило? Ты виделся с кем-нибудь?

— Ночью туда прибыли две группы всадников.

— Две группы. А сколько их?

— Да немного, всего несколько человек.

— Кто такие? Ты что-нибудь выведал?

— Я не смог бы ничего узнать, потому что еще не придумал, как попасть во дворец, — отвечал Тамила, — но, к счастью, кто-то послал ночью придворного за вином, и кое-что я разузнал.

— И что же?

— Ничего особенно важного, потому что он сам только что приехал, — отвечал Тамила. — Во главе первой группы пан Барбье, какой-то француз, он якобы служил в войске в крепостях и в боевом строю. А других привел пан Станислав из-за границы, он — воспитанник старосты, был послан обучаться военному делу.

— Должно быть, они думают обороняться в этом дворце-замке! — воскликнул князь Януш. — Сюда съедется целая толпа этих проклятых последышей Лойолы, папистов! Но пусть они даже выстроят крепость повыше, чем их костелы. Мы все равно достанем их и там, пусть даже придется разрушить весь город!

При этих словах он так ударил кулаком по столу, что подскочил кубок.

— Что еще? Вы не пробовали подкупить этого придворного?

— Мы с паном Адамом вчера напоили его, пригласили выпить с нами и сегодня. Может быть, нам удастся что-либо вытянуть из него.

— Попробуй, — сказал князь Януш, — может быть, удастся с его помощью открыть вход во дворец Ходкевичей и встретиться с княжной.

— Мне кажется, что можно попробовать, — ответил Тамила, — но я еще не уверен.

— Я хорошо отблагодарил бы его, если бы это удалось.

— Я тут кое-что задумал, не знаю только, похвалите ли вы меня за это.

— Что ты задумал?

— Когда мы вчера его хорошенько напоили, я вытащил у него ключ от малых дверей дворца Ходкевичей, тех, что на Замковой улице, а потом сделал с него восковой слепок. Может, пригодится.

— Хорошо сделал, молодец, очень хорошо сделал! — похвалил князь Януш. — В борьбе с ними годятся любые способы, как они воюют, так будем и мы. Иди и глаз не спускай с дворца Ходкевичей. Нам нужно знать обо всем, что там будет твориться.

Тамила поклонился и вышел. Князь взял саблю, прицепил ее сбоку на пояс, надел шапку с пером, надвинул ее на одно ухо и пошел по коридору к покоям отца. В том углу дворца царила тишина, множество слуг, придворных, лакеев, гусар ожидали у закрытых дверей в глубоком молчании. Когда они увидели князя Януша, сидевшие встали, чтобы поприветствовать его, но князь не обратил на них внимания, подошел к двери, отодвинул завесу и постучал. Из глубины комнаты послышался голос:

— Кто?

— Janussius, — ответил князь.

— Зайди.

Получив разрешение, сын, мягко ступая по толстому персидскому ковру, пересек комнату, еще более красивую и еще более богато обставленную, чем его собственная. Князь Кристофор сидел в любимом резном кресле, которое, как и скамьи, до пола покрывал в тон обитых парчой стен пурпурный бархат с позолотой. Шпаги, сабли и инкрустированные ружья, естественно, тоже украшали апартаменты гетмана, хотя и в меньшем, чем у Януша количестве, но зато у окна занимал почетное место большой темно-коричневый стол с геометрического рисунка резьбой, весь заваленный книгами и различными бумагами. На нем возвышались позолоченной бронзы часы с боем.

Воевода был в бархатной одежде, с золотой цепью на шее, но еще по-домашнему неподпоясанный. Украшением на его бледном лице были длинные черные усы, концы которых свешивались вниз. Особая примета рода — черная борода. Во всем его облике, как в зеркале, отражались мужество, уверенность в своих силах, даже оттенок презрения и гордыни; казалось, такой человек не может быть ласковым, чутким.

Но когда вошел сын, лицо воеводы посветлело. Он протянул руку, сын поцеловал ее и молча стал за креслом отца.

— Ну, что нового, князь? — спросил отец (он всегда так титулировал сына).

— Ничего, или почти ничего.

— А у меня есть новости, — промолвил воевода и показал рукой на бумаги.

— Я могу спросить у своего доброго отца, что это за новости?

— Ответы господ сенаторов, которых я просил быть посредниками между нами и этими папистами в деле с княжной Софией, коль уж они отказались от всех своих обещаний и даже не пускают тебя к ней. Все, кого я попросил, обещали завтра быть у меня, потом они пойдут к каштеляну и будут уговаривать его, доказывать, что именно он должен отказаться от своего не достойного магната поведения. Если же он хочет войны, то будет война, и, видит Бог, упорная это будет война!

Воевода встал и продолжал:

— Это будет война, из которой Ходкевичам не выйти живыми! Что ты на это скажешь?

— Целую руки моему отцу и властелину, благодарю за заботу обо мне.

— Хочу надеяться, — добавил воевода, — что если каштелян увидит моего канцлера Льва Сапегу, да еще воеводу смоленского, старосту мозырского, каштеляна жмудского, каштеляна краковского, других сенаторов, то задумается, уразумеет, что зря он слушается своих племянников-молокососов, а также всяких там иезуитов, что только сам накличет на себя беду и позор. Победить меня он не сумеет, пусть ему даже будут помогать сотни иезуитов и даже два каких-нибудь никчемных короля, ибо за Радзивиллами — вся страна!

— Я узнал, — сказал князь Януш, — что Ходкевичи уже вызвали из-за границы людей, сведущих в фортификации, для обороны своего замка. Как раз вчера они приехали.

Воевода рассмеялся.

— Неужто они думают, будто могут сравняться со мной! — воскликнул он. — Со мной и со всеми Радзивиллами! Ходкевичи — со мной! Смешно! Да мы их шапками закидаем, ножнами от палашей побьем! Нет, они задумали это, видимо, только для того, чтобы попугать нас, показать, что не намерены мириться. Они хотят выторговать у нас Копысь и соглашение. Этому научили их хитрые иезуиты, но ведь и мы не лыком шиты! Нет, это же надо!

Воевода возмущенно покрутил головой. Когда же успокоился, спросил:

— Может, есть какие новости от Софии?

— Никаких. Ян Кароль сторожит ее как Аргус, я только иногда вижу ее в окне, когда проезжаю по улице. Но есть надежда, что Тамила сумеет пробраться во дворец Ходкевичей, он уже кое-что сделал для этого.

— Смотри только, чтобы этот громила тебя не впутал во что-нибудь неприятное. Пусть он все делает сам, свой хребет подставляет, иначе паписты тут же обвинят нас в том, что мы действуем с помощью обмана. А для Радзивиллов уже только подозрение в этом — позор!

— Не волнуйтесь. Он парень сообразительный, дельный, предан мне.

— Удастся ли мне завтрашнее посольство, один Бог знает, — промолвил воевода, обернувшись к сыну, который все еще стоял за креслом, — но я все же думаю, что какой-то толк будет; если двенадцать уважаемых и влиятельных сенаторов будут вести речь о наших делах, то и паписты никуда не денутся, поймут, что не стоит нарушать договор. Пан каштелян и так на волосок от банниции, исключительно по доброте моей, хотя и думает, что это его не касается.

Каштелян и княжна

Утром того дня во дворце Ходкевичей была большая суета. Ожидали, что вот-вот приедет жмудский староста. Барбье и Станислав обошли и осмотрели твердыню, прикидывая, что еще можно сделать для ее укрепления и подготовки к осаде. Они показали каменщикам и челяди, где нужно пробить отверстия в стенах для установки орудий и мортир. Прислуга с волнением глядела на эти приготовления: все подтверждало слухи о возможной войне, которым, правда, никто не хотел верить. В городе хорошо знали о ссоре Радзивиллов с Ходкевичами, об их взаимных угрозах, знали о том, что они собирают войска, но никто и думать не думал, что дело может дойти до войны, до пролития братской крови. Однако по городу мгновенно разнеслись слухи о том, что дворец жмудского старосты укрепляется как крепость: пробиваются бойницы, замуровываются те места в стенах, где их можно было бы проломить. Горожане, проходившие по Замковой улице, останавливались, поглядывали на каменщиков в фартуках, стоящих на стенах с кельмами в руках, качали головами и говорили один другому:

— Видно, плохи наши дела, пане Матей, коль уже в городе, в самом центре, сооружается крепость.

— Да, Базыль Иванович, пора, видимо, уезжать из города, раз тут будет война.

Прохожие шли дальше, разнося по городу тревожные слухи. Больше всех были обеспокоены те, кто жил вблизи дворца Ходкевичей: они боялись пасть невинными жертвами междоусобной войны. Горожане со страхом глядели на эти приготовления, распрашивали о количестве войска, а оно в устах пугливых все росло и росло; горевали, были даже готовы задешево продать свои дома, если бы кто-нибудь решился купить их.

Тем временем пан Барбье, нацепив на пояс длинную шпагу, в шляпе с перьями, черном плаще ходил по дворцу, покручивая ус, все осматривал, во все вникал, взбирался даже на крышу, задавал работу каменщикам. Прежде всего он приказал удвоить стену со стороны церкви Богородицы, которая выходила на чужой двор. Оттуда ее легко можно было бы пробить, сделать пролом и ворваться во дворец. Он определил места, откуда можно будет отбить нападение с помощью орудий и мортир, показал, где нужно добавить кладку, где пробить узкие щели-бойницы, чтобы могло поместиться орудие.

Работа шла полным ходом, но суматохи не было. Пока во дворце Ходкевичей на Замковой улице готовились к обороне, каштелян Иероним Ходкевич спокойно жил в своем доме возле монастыря бернардинцев. В то время он еще не отдал его ордену францисканцев. Его дом стоял впритык к монастырю, а с другой стороны он смыкался с небольшим домиком бернардинок; крестик над ним вызывал мысли не столько о монастыре, сколько о госпитале — так убого выглядел этот домик монашек.

Усадьба каштеляна, которую в народе в то время называли каштелянией, не была ни большой, ни роскошной — это был скорее обычный деревенский каменный дом. Деревенский вид ему придавал сад. Тут царила тишина, которая нарушалась только пением монашек, доносившимся из монастыря. Двор каштеляна не был таким пышным, как воеводский, тут было больше свободы и меньше строгости. Усадьба содержалась в чистоте, дорожки были посыпаны белым песком, на стенах комнат висели портреты предков, начиная с того Ходки Борейки, от которого вели свой род Ходкевичи, а между ними — иконы и картины из истории костела и страны. Возле всех дверей там стояли, согласно обычаю, серебряные чаши с освященной водой. Каждый, кто заходил, крестился.

Здесь слуги не прятали под полу принадлежности для игры в кости, как в коридорах дворца Радзивиллов, потому что у каштеляна азартные игры были строго запрещены; они проводили время за книжками с жизнеописаниями святых или в разговорах. Сам каштелян обычно проводил утро в своей комнате, обитой черной тканью. В ней все говорило о набожности хозяина. Около скромного ложа висел крест, проволочная плетка для ритуального самобичевания, называемая «дисциплина», рядом — сабля и шлем; на столе лежали книги: хроника Бельского (в то время запрещенная, но католики ее читали), хроника Матея Стрийковского, жизнеописания святых, проповеди Скарги, запись популярного тогда диспута ксендза Смиглецкого с еретиками, а также множество иезуитских панегириков и разных свитков — все это оружие в борьбе за веру. Каштелян только что вернулся с утреннего молебна от бернардинцев и в раздумье завтракал.

В дверь постучали.

— Кто там?

— *Servus tuus Domine, Joannes*. (Приветствую тебя, господин, это я — Ян.)

— Пожалуйста, ваша милость, заходите.

Каштелян встал и сделал несколько шагов навстречу гостю.

В вошедшем можно было безошибочно признать иезуита по его узкой черной сутане, покорно согбенной фигуре и хитрому взгляду, по сложенным на груди рукам. На голове светилась, будто большая тарелка, тонзура. На фоне темного одеяния его бледное вытянутое лицо с острым подбородком и сморщенной кожей, впалыми глазами, худым длинным носом, бледными щеками и тонкими губами казалось совсем старческим.

Отец Ян вошел, поклонился, молитвенно сложил руки, ступил шаг вперед, снова поклонился, потом еще раз, пока подошедший каштелян не сжал его обеими руками в объятиях и не посадил в кресло, где тот пристроился на краешке, держа под мышкой свою ксендзовскую шапочку.

— Что у вас нового, отче? — спросил каштелян.

— В коллегиуме ничего нового, — ответил отец Ян. — Я ходил в город с Социушем, у которого было дело к бернардинцам: ему хотелось посмотреть на нашу костельную капеллу. И, пользуясь случаем, я решил засвидетельствовать свое почтение ясновельможному пану.

— Искренне благодарен вам, — приветливо ответил каштелян. — Может, выпьете чего-нибудь, а то и поешьте.

Иезуит поклонился, его язык невольно облизнул пересохшие губы.

— Как вам известно, ясновельможный пане, — ответил он, — законы нашего ордена запрещают нам пить и есть у светских особ.

— Это для ваших студиозусов, — возразил каштелян, — а вам, отче, не поддающемуся искушениям, можно. Позвольте, я прикажу.

— Нет, нет, ясновельможный пане, — поспешил отказаться иезуит, мы привыкли уважать законы ордена, да и паствы тоже.

Каштелян более не настаивал.

— Как поживает ваш достопочтимый ректор коллегиума, отец Гарсиа Алабянус?

— Благодарение Богу, который поддерживает его в добром здравии, ибо времена теперь трудные, глава ордена может понадобиться во время войны.

— Вы правы, отче, вы правы, — ответствовал каштелян. — Костел воюет, давно воюет с еретиками.

— Нам более всего неприятно их соседство с нашим костелом Святого Яна, это оскорбляет наши святыни. Ни один из нас не может показаться на улице, чтобы не нарваться на косой взгляд, на оскорбление, даже грязью в лицо бросить могут. Кажется, будто они нарочно подстерегают нас, даже ученики, идущие в академию, и те не исключение. А более всего жаль, — вздохнув, присовокупил иезуит, — что это место, теперь опоганенное еретиками, было когда-то жильем нашего чтимого опекуна, ксендза кардинала Святого Сикста (Юрия Радзивилла), большого заступника нашего ордена. Увы, увы, как говорится в Святом Писании: «Мой дом есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников».

При одном упоминании о Радзивиллах каштелян помрачнел и сказал:

— Что поделаешь, отче, не вам одним еретики не по душе. И мне они причинили немало зла, но я надеюсь, что Бог покарает их, сам же я терпеливо снесу все.

Каштелян провел ладонью по своей седой голове.

— Они придумали для вас, ясновельможный пане, нечто новое. Мы видели, что у них во дворце необычайное оживление.

— Не иначе как готовятся к войне! — воскликнул каштелян.

— Не знаю. Кто их поймет, что они там творят. Они рассылают во все концы множество гонцов. И к ним тоже много гонцов прибывает, приносят и относят письма. Все это не к добру. Видимо, все же к чему-то готовятся. Я слышал, что они созывают в Вильно многих сенаторов.

— Я об этом знаю. Возможно, они хотят создать какой-то союз, но ведь сейчас не то время.

— И мне так кажется, что готовится нечто вроде заговора. Придворные Радзивилла говорят, будто он очень встревожен. Его запугивают войной, поэтому он остерегается, как бы чего не случилось, как бы не началась междоусобица: ему не хочется стать ее причиной. Сегодня утром к нам приходил один из наших тайных друзей со двора воеводы и сказал, будто к ясновельможному пану собираются отправить какое-то посольство.

— Ко мне? От кого? — спросил каштелян, оживившись.

— От воеводы.

— Зачем?

— Этого еще никто не знает. Тот человек сказал, что завтра он будет знать.

— Завтра! Мне хотелось бы знать сегодня. Но я ко всему готов.

Однако было легко заметить, что эта новость встревожила каштеляна. Он прошелся по комнате и спросил:

— Кого же ко мне пошлют?

— Наверное, тех сенаторов, которые, как нам сообщают, приезжают из разных сторон.

— Так-так! К Ходкевичу — сенаторов? Таких же, как и он, еретиков, отщепенцев, нынешних конфедератов, подстрекателей, которые присягали и подписывались против нас, против закона, против короля, против порядка! Хорошо, что сегодня приезжает мой племянник, жмудский староста, он будет свидетельствовать против них и поможет мне.

Иезуит встал, трижды поклонился, после чего сказал на прощанье традиционное:

— *Laudetur Jesus Christus*. (Слава Иисусу Христу.)

Каштелян приказал подать карету, надел соболью шубу с длинными, до пят, рукавами, покрытую ярко-красным бархатом, и стал с волнением ожидать. Через две-три минуты послышался топот копыт. Вошел слуга и сказал, что можно ехать. Каштелян вышел. Около ворот ожидала карета, обитая позолоченной кожей, а также гвоздями с позолоченными головками. У нее были невысокие колеса и не очень удобные сиденья.

Каштелян сел в карету, возница — впереди на козлах, два гайдука стали сзади, несколько придворных верхом сопровождали его, а впереди, прокладывая путь, ехали несколько казаков.

Каштелян приказал:

— Ко дворцу пана старосты!

Кони с пучками алых перьев на головах резво тронулись с места, миновали дворец канцлера Льва Сапеги, проехали по Бернардинскому переулку и свернули на Замковую улицу; а оттуда — мимо дворца Радзивиллов к каменному дому Ходкевичей.

Проезжая мимо дворца воеводы, каштелян нарочно отвернулся от церкви; слуги высыпали из ворот поглазеть на него, шептались и подшучивали. Свита каштеляна сохраняла важность и не обращала на них внимания.

Карета быстро проехала мимо домов кардиналии и остановилась около ворот дворца Ходкевичей.

Каштелян вышел.

Прибытие гостя не осталось незамеченным: в окне дворца мелькнула и исчезла худенькая девичья фигурка с распущенными волосами. Каштелян вошел через ворота и увидел стоящих с непокрытыми головами в ожидании гостя маршалка двора и нескольких слуг. Был там и Барбье, он тоже снял свою шляпу, но держался более свободно.

— День добрый всем! Пана старосты еще нет? — спросил Ходкевич.

— Покамест нет, — отвечал маршалок, — ждем с минуты на минуту, только его что-то не видно.

— Скажите княжне, что я хочу ее видеть, — он поднял руку, и тут же один из слуг побежал вверх по лестнице выполнять его приказ.

— Пан Барбье! Приветствую вас! Когда приехали? — обратился каштелян к французу.

— Только вчера вечером, а вот сегодня сразу же взялся за работу.

— За какую работу?

— По укреплению замка, — ответил француз.

— Что вы говорите?

— Да, таков был приказ пана старосты.

— И вы уже начали работы...

Барбье показал рукой на людей, которые трудились на лесах, сновали туда-сюда, на котлы с горячей водой, которую приходилось лить на стены из-за холода.

— Плохо, что вы делаете все так открыто, — буркнул Ходкевич. — С улицы это видят, могут подумать неведомо что. Половину каменщиков лучше снять, времени еще хватает, а пока надо делать вид, будто что-то подправляется. Не показывайте, что вы тут занимаетесь фортификацией. Зачем давать *assumpt* — подтверждение — злым языкам, и без того способным на все. И не пробивайте в стенах бойниц. С этим можно подождать.

— Уже несколько пробили, — сказал Барбье, — да нам и не приказывали делать это тайно.

— Я вас не виню, но зачем пану старосте такая спешка?

Посланный слуга вернулся и сказал:

— Панна княжна ждет ясновельможого пана. Она наверху.

Каштелян кивнул и, недовольный, поднялся по лестнице, открыл двери в большой зал, где его ожидала слуцкая княжна София Олелькович.

Зал выходил окнами на Замковую улицу, все стены тут были увешаны картинами и иконами. Помещение украшали несколько венецианских зеркал в серебряных рамах и часы высотой в несколько локтей, они были в декоративном стеклянном ящике. Кресла с белыми позолоченными кручеными ножками долгим рядом стояли перед мраморным столом, ножки его были вырезаны в виде грифов, дельфинов и крылатых сфинксов.

Когда вошел каштелян, княжна стояла посреди зала. Она была бледной худощавой блондинкой, со светлыми глазами, невеселым лицом, бледными губами. На ней было платье из толстой темной волнистой материи, обшитой оборками, со шлейфом, который спускался до земли. Волосы у нее на голове были собраны вверху и застегнуты дорогой заколкой. Она казалась более высокой, чем была, потому что платье на ней было длинное и волнистое, а ботинки — на высоких каблуках. К тому же княжна была худощавой, что выглядело в те времена довольно непривычно. По ее лицу была разлита грусть, которая, казалось, ни на минуту не покидала ее с самого рождения. И не удивительно.

Она была сиротой с колыбели. Поэтому выражение глубокой грусти дополнялось состоянием смирения перед судьбой, терпеливости, но в ясных голубых глазах светились жизнь и чувство.

Едва каштелян вошел, княжна почтительно поцеловала ему руку. Он наклонил голову девушки и поцеловал ее в лоб. Потом пригласил ее сесть, пододвинул к ней кресло и хотел заговорить, но тут увидел в дверях неподвижную фигуру экономки.

Это была особа уже преклонного возраста, но еще необычайно стройная; она стояла словно кол проглотив, а глаза вытаращила, будто жаба. На ее платье было столько складок, что оно выглядело даже смешным, грудь неприятно полуобнажена. А что творилось на ее голове — пером не опи-

сать! Чего только на ней не было! Прежде всего, волосы там были не только свои, но и чужие, торчащие, зачесанные вверх, как свечки, и, что хуже всего, они были разного цвета. Из них торчали гребни и шпильки, заколки и цветы, перышки и стеклышки. Жуткий французский чуб возносился вверх на целый локоть, он мог бы пролезть не во всякую дверь.

Пани экономка ожидала взгляда каштеляна, как чибис дождя, когда же, наконец, дождалась, то, забыв о своем прекраснейшем чубе, поклонилась так низко, что еле не повредила его. Каштелян поприветствовал ее, сказал несколько вежливых слов и тут же отпустил. Она вышла, но не было уверенности, что не осталась подслушивать. Как только за ней закрылась дверь, каштелян повернулся к княжне, во взгляде которой читался вопрос, и заговорил:

— Уважаемая панна, вы скоро расстанетесь с детством, в феврале начнется счастливый для вас шестнадцатый год. Есть за что благодарить Бога.

— И вас, — подхватила княжна, — за то, что вы заботились о сироте.

— Мы делали все, о чем меня и моего покойного брата просил ваш уважаемый отец. Причем делали это с душой и сердцем, заботясь о вашем счастье.

— Я это понимаю и постараюсь отблагодарить вас, как отца, — ответила княжна.

— Надеясь на вашу отзывчивость, на ваше доброе сердце, я и обращаюсь к вам, как взрослой девушке, которая вскоре станет совершеннолетней, — говорил далее каштелян. — Я еще никогда не говорил с вами о важных делах, потому что вы были в счастливом детском возрасте, который не стоит омрачать. Поэтому, если я скажу нечто неприятное для вас, считайте это началом новой жизни, которая уже не будет для вас такой, как в детстве, а Бог учит нас быть терпеливыми.

— Все, что вы мне скажете, я приму с покорностью и благодарностью, — спокойно и учтиво промолвила княжна. Но ее лицо слегка покраснело, видимо, от волнения.

— Я не сомневался в этом, — продолжал каштелян. — Вы знаете, что князь воевода виленский просил вашей руки для своего сына, князя Януша.

Каштелян глянул на Софию, она выглядела спокойной, только при упоминании имени Януша вспыхнула, побледнела и смутилась. Каштелян помрачнел, но заговорил снова:

— И я, и мой покойный брат охотно соглашались на этот брак, потому что считали князя за равного вам по знатности, богатству, надеялись на вашу счастливую жизнь в замужестве. С нашего позволения князь Януш бывал у вас, он старался завоевать ваше расположение.

Каштелян на мгновение умолк, София тоже молчала.

— Скажите мне искренне, скажите открыто, как опекуну, как отцу, понравился ли он вам?

— Воля опекуна будет моей волей, — ответила княжна.

— Я спрашиваю у вас не об этом, — пояснил каштелян, — я не хочу знать, послушаетесь вы меня или нет, я в этом не сомневаюсь, я хочу...

— Что вы хотите услышать?

— Понравился ли вам князь Януш?

Княжна молчала.

— Не знаете, что ответить? — допытывался каштелян. — Мне кажется, что вы не хотите меня обидеть. Скажите, скажите откровенно.

Княжна продолжала молчать.

— Неужели вы мне ничего не скажете? — снова спросил каштелян.

Княжна София встала, ее лицо раскраснелось, глаза заблестели.

— Вы ожидаете моего признания, — сказала она. — А зачем оно вам? Все решает не моя воля, а ваша.

— Я хочу, чтобы вы ясно понимали, что принуждением, силой мы ничего не будем делать, если же я и спрашиваю о ваших чувствах, то только для того, чтобы иметь их в виду.

— Вы знаете меня, знаете все, поэтому вам и не нужно ни о чем спрашивать, — ответила София.

— Почему вы считаете, что я вас хорошо знаю? Я хочу знать вас еще лучше, — пояснил каштелян, — лучше, чем по слухам и домыслам. Я хочу, чтобы вы сами мне обо всем рассказали.

— Вы хотите этого? — переспросила княжна. — Тогда не вините меня за то, что услышите. Я послушна, осознаю свой долг перед вами, знаю, что всю жизнь буду вам благодарна. Я вас уважаю и ценю, знаю, что вы против князя Януша, но я — я отношусь к нему *доброжелательно*.

— Доброжелательно! — воскликнул каштелян, как будто боялся этого ответа и не надеялся его услышать. — Это правда, в самом деле? Да?

— Да, — смело отвечала княжна.

— И вы хотите стать его женой?

— Я все сказала, — тихо проговорила княжна.

— А теперь послушайте, что я вам скажу, — начал каштелян. — *Вы* доброжелательны к *нему*, а он *нас* ненавидит, вы высказываете признательность *нам*, он *нас* преследует. *Вы* за Радзивиллов, а Радзивиллы *наши* враги, они мне, мне, говорю я вам, угрожают банницией, нашей вере, (правда, она не ваша) они враждебны, они против нас, против короля стоят; они, если бы могли, утопили бы нас в ложке воды. И вы к ним доброжелательны?

— Еще раз повторяю,— отвечала София спокойным голосом, — что я знаю о вашей власти надо мной и буду послушна вам.

— Дело не в том, что вы будете послушной, я в этом уверен, я хотел открыть вам глаза на то, кто они такие!

— Не мое это дело, и не с детским умом разбираться в нем.

— Это дело любого ума. Не надо, княжна, принижать себя. Лучше выслушайте меня до конца. Когда воевода просил вашей руки для сына, мы с братом дали согласие, и вы знаете, чем он нам отплатил?

— Не знаю.

— Он вызвал нас в суд, чтобы выжить из имения. А теперь преследует и угрожает войной, собирает войско. Хочет послать его на нас. Так скажите, если в вас есть хоть капля доброты, если к нам клонится ваше детское сердце, скажите, можете ли вы быть женой князя Януша?

— Нет, — холодно и твердо ответила княжна. — Нет. Я это вижу.

— Пусть Бог воздаст вам за эти слова, они меня оживили, — сказал Ходкевич, встал и начал ходить взад-вперед. — Вижу, что вы чувствуете в себе уважение и признательность к нам. Поверьте мне, это ваше благорасположение к князю легко покинет ваше сердце.

— Никогда, — тихо ответила София.

— Никогда? — переспросил каштелян. — Никогда? Но вы же сами только что признали, что не можете быть женой князя Януша!

— Я могу теперь только сохранять мою доброжелательность к нему, уважение — до самой смерти, и я так и сделаю.

Каштелян пожал плечами.

— Вам надо избавиться от того, что вы называете доброжелательностью к князю Янушу, ради вас же самой. Выйти за него замуж — дело для вас совершенно невозможное. И чем более он будет вас домогаться, тем более невозможным оно будет. Чем более упрямо он будет настаивать, тем сильнее рассердит нас; а поэтому избавьтесь от того, что может только омрачить ваши молодые годы.

— Никогда! — отвечала княжна. — Но не думайте, что из-за этого я окажусь непослушной вам. И то *никогда* — и это *никогда*.

— И как же вы сумеете это устроить?

— На все воля Господа, еще сама не знаю. Будет так, как Он повелит и решит.

— Я хочу сказать вам также, — заговорил каштелян, — что не надеюсь на какие-либо перемены. Я только прошу вас, княжна, понять то, что вы уже признали справедливым. Поймите, что в этом случае для нас было бы величайшим оскорблением, унижением, радостью для наших врагов, если бы мы отдали вас ему. Да, только Бог видит и знает все, знает, чем это кончится, Бог может все переиначить. Но в нашем договоре записано, что без вашей воли и согласия, княжна, мы вас отдать не можем. Нужно только, чтобы и вы, вы сами, когда это понадобится, сказали князю Янушу, что вы не можете стать его женой, не можете...

— Кто? Я? — воскликнула слуцкая княжна, вскочив с кресла. — Чтобы я сказала это, в то время как я думаю иначе? Зачем? Ради чего? Разве вы не мой опекун, не имеете власти, чтобы решить это без меня? Зачем же я должна это говорить?

Каштелян, пораженный словами княжны, застыл на месте. Ему нечего было ответить ей, к тому же он понимал ее и не хотел настаивать на своем, видел, что она и так высказала много почтения и покорности.

— Подумайте, — сказал он, с минуту помолчав. — Это дело не может кончиться без вас, если Радзивиллы будут поступать в согласии с договором, если они не успокоятся. Вот тогда мы будем вынуждены привести их к вам, и вы своими устами скажете князю Янушу «Нет».

— Но ведь князь Януш будет знать, что это ложь! — воскликнула княжна.

— Откуда? — сурово спросил каштелян. — Разве временная благосклонность дает залог на будущее? А может, вы ему все рассказали?

— Пока что нет; без вашей воли я этого не сделала бы.

— Даже если бы вы это и сделали, — заметил каштелян, — детские обещания не имеют никакой силы, и только теперь вы получаете право обещать и держаться своего слова.

Княжна молча слушала.

— Дорогой дядя и опекун мой, — сказала она, вставая, — не заставляйте меня лгать, мне это омерзительно. Я не скажу, я не могу сказать этого князю Янушу; он знает, он чувствует, что не безразличен мне. Зачем же мне лгать даже ради нужного дела? Я не солгу, не склоняйте меня к этому, я не смогу этого сделать, потому что это не по моим летам и выше моих сил.

— Это в ваших силах, — отвечал каштелян, — ибо я вижу, что у вас есть воля и недетская стойкость. В этом для вас не было бы ничего трудного, лишь бы вы захотели.

— Я соглашусь на все, чего только вы от меня не потребуете, — заверила княжна София, склонившись в поклоне и целуя каштеляну руку, — но не делайте так, чтобы я сама все говорила князю Янушу. Достаточно того, что вы скажете все от моего имени.

— Но войдите и в наше положение, — добавил старик, — подумайте, что произойдет тогда, когда они согласно договору будут спрашивать вас, а вы втемяшили себе в голову какое-то чудное желание правдиво сказать князю Янушу, что он вам нравится. Подумайте, поразмышляйте, в каком положении окажемся мы? Да, мы будем вынуждены покорно отдать вас ему и молчать.

— Вот и постарайтесь сделать так, чтобы до этого не дошло, — промолвила княжна София. — Это зависит от вас, это в ваших силах, только не вмешивайте меня, отвечайте сами, делайте, что хотите. А я слова не скажу, буду послушной.

— Вы не хотите идти против своей совести, не хотите лгать?

Каштелян спросил так, потому что не мог объяснить поведения княжны ничем, кроме ее мыслей и чувств.

— Но это выше моих сил, я не смогу это сделать, — ответила княжна,

— Даже ради того, чтобы избавить нас от стыда? — спросил каштелян.

— Даже для спасения жизни, — заверила София.

Каштелян помолчал, взял шапку, наморщил лоб и сказал:

— Вы не по годам умны, и воля у вас не по годам сильная, делайте то, что вам по душе, а мы будем стараться, чтобы не дошло до необходимости именно вам давать ответы по этому делу.

Княжна перекрестилась, помолчала, потом тихо спросила:

— А что, нет никакой надежды на примирение?

— Никакой. Бог видит, никакой надежды, совершенно ничего не светит! Радзивиллы собирают против нас войско, к ним присоединяютя все конфедераты. Все враги католиков и короля, все готовятся к войне. Вся Литва берется за оружие — или с нами, или против нас, против *вас*...

— Против меня? Неужто я так много значу для князя Януша? — спросила София.

— О, нет! Даже не думайте так! — воскликнул каштелян, — он подхватил и высказал мысль, только что пришедшую ему в голову. — Вы еще дитя были, когда сладился этот договор. Дело совсем не в вас, а в княжествах Копыльском и Слуцком, в ваших усадьбах, в ваших имениях. Не вас они любят, а ваше богатство!

— Не меня! Не меня! Это воевода мог думать и поступать так, но не Януш, он на это не способен! — уверенно возразила княжна.

— Поверьте мне, дорогая панна, яблоко от яблони недалеко падает, — сказал каштелян. — В конце концов, не мое это дело убеждать вас, время покажет. Будьте здоровы и никому не пересказывайте того, о чем мы тут говорили.

Каштелян снова поцеловал княжну в лоб, она его — в руку; на том они и расстались. Едва за каштеляном затворились двери, как в зал вошла экономка, она успела увидеть только его спину и не дождалась тех слов восхищения ею, на которые рассчитывала.

— А вот и наш пан староста едет! — воскликнула она, глянув в окно.

София не слышала этих слов, потому что медленно шла в свои покои, а за ней поспешила и недовольная экономка, поправляя на голове свой наряд, который давил на нее своим весом.

Как раз в это время свита пана жмудского старосты Яна Кароля Ходкевича проехала по улице и долгой цепью растянулась в сторону ворот под приветственные возгласы жителей виленского дворца вельможи. В конце свиты показался и сам староста, он ехал верхом.

Виленский каштелян, дядя старосты, стоял на последней ступеньке лестницы и первым приветствовал пана Яна, как только он спешился.

* * *

На следующий день перед дворцом Радзивиллов было настоящее вавилонское столпотворение: площадь перед ним и подворье переполнились гусарами, гайдуками, слугами, казаками, придворными приехавших к воеводе панов сенаторов. Эта мешанина людей, лошадей и повозок представляла собой пеструю картину, которой любопытные виленские жители не могли не заметить, любовались ею стоя в воротах своих домов, высовываясь из окон, и даже взобравшись на кучи навоза и мусора, окружавшие в те времена некоторые дома словно валом.

В этой толпе были самые разные краски и наряды: яркие гусары, широкоплечие казаки с длинными чубами, богатырские гайдуки, маленькие пажи, множество разодетой придворной шляхты при кривых парадных саблях, называемых «корабеля», на конях. Вся эта тьма придворной челяди подняла невероятный шум и гам.

А в это время у воеводы паны завтракали и вели оживленные разговоры перед тем, как отправиться с посольством к виленскому каштеляну. Не было еще только канцлера Льва Сапеги, зятя воеводы, он почему-то опаздывал. Но вскоре и он со своей свитой появился на Замковой улице. Сам канцлер ехал в карете, с собой он взял только нескольких слуг. С трудом протиснулась карета Сапеги к воротам дворца, огибая лошадей, людей, кареты тех, кто приехал раньше. И вот у самого крыльца из кареты вышел Лев Сапега: высокого роста, мужественный, красивый, стройный; лицо его украшали усы и небольшая бородка, негустые волосы на голове были аккуратно подстрижены. Канцлер прошел прямо в зал, где уже собрались сенаторы. Это было высокое помещение с десятком длинных окон, по стенам, обитых алым бархатом, было развешано холодное оружие. В зале царили шум и гам, гости оживленно разговаривали. Князь воевода с сыном радушно принимали всех.

Посреди зала стоял стол, застланный скатертью с вышитыми узорами, она свисала почти до самого пола. На столе дымились на серебряных тарелках и полумисках различные яства. За другим столом маршалок двора хозяйничал у серебряной посуды, ковшов, кувшинов и фляг с вином, кубков, небольших бочек и множества других столовых предметов. Придворные прислуживали. Когда вошел Лев Сапега, завтрак уже полчаса как начался — это было видно по веселым лицам и более оживленной, чем обычно, беседе. Пан воевода и князь Януш приветствовали его объятиями, сенаторы — поклонами, иные удостоились чести пожать руку. Когда канцлер занял место за столом, шум на минуту утих.

— Я немного опоздал, — обратился канцлер к воеводе, — но в этом виноват не я, а мои часы, они показывали, что еще не так поздно.

— Да еще и в самом деле не поздно, — ответил воевода, — а до нашего посольства, в которое мы пригласили уважаемое панство, еще много времени.

— Я знаю, что каштелян дома, — сообщил Лев, — он, видимо, готов принять нас, потому что и пан жмудский староста приехал к нему час назад, и пан Александр Ходкевич также собирается туда.

— Наверное, он вызвал родственников посоветоваться, — с улыбкой промолвил князь. — Хоть бы они снова не насоветовали ему такого, как раньше, когда подговорили нарушить данное им слово. Не надеюсь я, что будет толк из нашего посольства, — добавил он, — ибо Ходкевичи уже всерьез, может, и ради устрашения, готовят свою крепость к обороне и, как мне говорили, действительно собираются воевать. Не иначе как пан жмудский староста желает показать свои воинские таланты.

— Сомневаюсь я, что дело дойдет до войны, — заметил Лев, — и надеюсь, что панам Ходкевичам больше по нраву мир и согласие. У меня на это большая надежда.

Лев Сапега был в свое время знаменитым человеком, он всегда рассудительно решал спорные дела, каждый раз искал способы достичь примирения, не становился ни на чью сторону, выступал за согласие и взаимопонимание; он был как будто создан для роли посредника.

Пока он беседовал с Радзивиллом, смоленский воевода Абрамович взглянул на Сапегу и тихо обратился к мозырскому старосте, завершая начатый разговор на тему религии:

— Давайте помолчим, а то канцлер прислушивается к нашему разговору и может услышать то, о чем мы тут толкуем про папистов и супостатов. Он же поддерживает и тех, и этих.

Они замолчали, а за столом завязался общий разговор обо всем и ни о чем. Когда завтрак подошел к концу, виленский воевода пригласил сенаторов к окну и начал кратко и рассудительно высказывать им свою просьбу, зная о том, что большинство уже осведомлено обо всех ее обстоятельствах.

— Я очень признателен вам, панове, — заговорил он, — что вы любезно откликнулись на мою просьбу и согласились помочь в этом невеселом деле с виленским каштеляном. Я не буду много говорить о моих несчастьях, ибо они вам всем ведомы, да и не только вам, а всей Короне, всему Великому княжеству Литовскому они понятны. Для того, чтобы это дело кончилось, а я надеюсь, что оно завершится по-хорошему, по-справедливому, нужно только, чтобы пан каштелян покамест позволил князю Янушу хотя бы иметь возможность завоевать доброжелательность и благорасположение его будущей жены. Несколько лет до того он свободно виделся с ней; ему было позволено оказывать ей услуги, но с тех пор, как между нами начались эти несчастные споры, его отлучили от дома Ходкевичей, разлучили с княжной Софией и не только закрыли перед ним дверь, не позволив видеться, но и не пускают гонцов, возвращают назад письма, короче, отметают все способы как-либо связаться с ней. Если пан Ходкевич будет и далее чинить препятствия, то дело, очевидно, дойдет не до полного согласия, как он говорит, а до раздора и войны. Будьте же так добры, панове, выскажите ему мои просьбы, убедите в справедливости и разумности моих желаний, исполнить которые пану Ходкевичу очень легко, тем более, что это его ни к чему не обязывает. Лишь бы только князь Януш смог приходить к княжне в любое подходящее время, большего я пока что не прошу. Я надеюсь на успешный исход вашей миссии, панове, милые братья, на то, что она вам удастся, и еще раз благодарю вас за то, что вы любезно согласились взять на себя это посольство.

Сенаторы дружно откликнулись на его просьбу, от их имени речь держал смоленский воевода:

— Вы, ваша княжеская милость, можете быть уверены, что, как вы того справедливо желаете, так и сделается. Раз уж каштелян уклоняется от выполнения договора, то нельзя доходить до таких крайностей. Он должен сам чувствовать, что это дело святое и нерушимое. Поэтому можно надеяться, что прежде чем придут к завершению и концу все ваши споры, он хотя бы не откажет князю Янушу в желании беспрепятственно видеться со своей будущей женой.

После этого сенаторы собрались идти во дворец виленского каштеляна. Посоветовавшись между собой, решили, что говорить с ним будет канцлер Сапега. Мы уже упоминали, что этот человек был миротворцем по своему характеру и как нельзя лучше подходил для тех случаев, когда нужно было примирить врагов, успокоить тех, кто поссорился. После этого сенаторы оставили воеводу с сыном — они должны были ожидать дома возвращения парламентеров — и пошли по Замковой улице в сторону костела бернардинцев, ко дворцу каштеляна.

Каштелян был готов принять их. Еще накануне ему о посольстве рассказал все, что знал, иезуит Ян, а потом другие люди из числа приближенных к сенаторам сообщили не только об этом, но даже и о чем пойдет речь. Он посоветовался со всеми, кто к нему приехал, а, прежде всего, со жмудским старостой Яном Каролем и его братом Александром. Как сам каштелян Иероним, так и они оба были против любых шагов к согласию и уступок Радзивиллам. Оскорбленные, и не без основания, более слабые, чем обидчики, они гордо и твердо стояли на своем. Угрожали войной, чтобы показать, что они ничего не боятся. Оба племянника каштеляна решили обойтись с послами любезно, а чтобы все удалось, загодя договорились с дядей, что в этом деле ничего не будут предпринимать без него.

Они сошлись на том, что ни в чем не уступят, не дадут себя уговорить, не будут ничего обещать от себя, отделываясь общими фразами. Они хотели показать, что их мало заботит договор, что они видят его в ином свете, и что этим своим шагом каштелян как раз и докажет то, что он всегда стоял на своем и придерживался того, в чем не желал уступать.

Когда паны сенаторы подошли ко дворцу каштеляна, то не увидели никаких признаков того, что их здесь ждут. Встретить их вышло всего несколько придворных, не было заметно, что к их приходу наводили порядок, готовились, ждали, но и не было удивления, когда они появились. Каштелян Иероним вошел в большой зал со своими племянниками Яном Каролем и Александром, с ними было еще несколько друзей. Послов сдержанно поприветствовали, и Лев Сапега сразу же начал разговор:

— Мы пришли к вам, пане каштелян виленский, с посредничеством и дружеским посольством от виленского воеводы князя Радзивилла.

— Я сомневаюсь, есть ли между мной и паном воеводой нечто дружеское, — холодно и важно сказал каштелян.

— Мне не хотелось бы начинать с плохого, — ответил Лев Сапега. — Может быть, вы рассердились на пана воеводу и не хотите иметь с ним дело, но я надеюсь, что вы еще, бог даст, помиритесь, и все окончится взаимным согласием. Сам пан воевода огорчен и мучается, оттого что, к сожалению, этот спор разлучил его с паном каштеляном и его славной родней, но в его сердце теплится надежда, что он сумеет разрешить спор к обоюдной выгоде. Мы знаем, — продолжал канцлер, — о договоренности вашего покойного брата с вами насчет того, чтобы выдать вашу воспитанницу, княжну слуцкую, за князя Януша, сына пана воеводы.

Лев Сапега не успел окончить свой медленный и обстоятельный пересказ дела, как вдруг Ян Кароль со свойственной ему солдатской горячностью прервал его:

— Пан воевода напрасно настаивает на тех договоренностях, они противоречат законам нашей веры и законам Великого княжества Литовского, а поэтому мы не можем достигнуть соглашения, и не должны. И не пойдем на него! — добавил он, невольно положив руку на эфес сабли.

— Католические законы не обязательны для всех! — возразил Абрамович.

— Но, я думаю, для всех обязательны законы Литвы, — гордо промолвил Ян Кароль, — которые запрещают брак между близкими родственниками под угрозой лишения детей права на наследство и имущества.

— Но это был бы не первый такой брак, — отметил Сапега, — прежние примеры позволяют повторить их; всегда есть надежда, что можно как-то уладить это несоответствие. Но прежде чем эти споры закончатся и будут решены (в чем мы не сомневаемся), пан воевода просит вас, пане каштелян, чтобы вы пока что исполнили хотя бы одну часть ваших договоренностей: не мешали князю Янушу видеться с княжной Софией, чтобы завоевать ее симпатии.

— А зачем это? — холодно спросил каштелян. — Для того, чтобы выставить княжну на посмешище, принудить ее пойти на противозаконное бракосочетание?

— Воевода так не думает, — продолжал Сапега, — в этом его не стоит упрекать, но он готов свято выполнять свои обещания и, несмотря на ссоры и недоразумения, надеется, что ваша милость будет со своей стороны поступать так же. Он был бы рад, чтобы этот брак устроился и чтобы князь Януш не был чужим для своей жены. В договоре ведь записано, и вполне справедливо, что княжна не может быть выдана замуж против своей воли, по принуждению, а только по своему желанию и доброму согласию, так почему бы и не позволить князю Янушу стараться понравиться ей.

Каштелян холодно выслушал Сапегу, который говорил, как всегда, медленно, плавно, а потом сказал:

— Никак не могу понять вас, пане канцлер. Мы словно на разных языках говорим, и о разных вещах. Вы настаиваете на исполнении договора?

— Вы же его подписывали.

— Я сделал это неосмотрительно и не по праву, поддался на уговоры и просьбы, а, прежде всего, я тогда хотел выполнить волю брата, — сказал каштелян, — в этом я вынужден признаться. Да, я виноват. Но этот договор недействительный.

— Вы в самом деле признаете недействительным весь договор? — спросил Лев Сапега. — Вы не хотите исполнить то, что засвидетельствовано вашей шляхетской подписью?

Вот теперь, обычно терпеливый и сдержанный каштелян налился кровью. Услышав о нарушении шляхетского слова (а Сапега сказал об этом нарочно, так как надеялся убедить его при помощи этого в те времена неоспоримого довода), он даже отступил на шаг и то краснел, то белел, дрожал от гнева.

— Не место и не время сейчас, — резко сказал он, — добиваться исполнения договора; когда же на это будет место и время, я объясню, кто и как верен своим обязательствам и обещаниям.

Сказав это, каштелян поклонился и отступил еще на несколько шагов назад, словно уклоняясь от дальнейшего разговора, просьб, уговоров. Для сенаторов это стало знаком окончания их посольской миссии, они были поражены холодным и презрительным отношением к ней каштеляна, суровыми взглядами Яна Кароля и Александра и не захотели настаивать далее, в душе приписали неудачу упрекам Льва Сапеги и свалили на него всю вину. Так они и пошли ни с чем, чтобы молча вернуться во дворец Радзивилла.

— Канцлер испортил все, — перешептывались они по пути, — пусть теперь и оправдывается перед воеводой, а наша хата с краю.

Князь воевода с сыном ожидал их, он волновался, надежда на успех сменялась отчаянием, когда же он увидел из окна, что вся компания так быстро возвращается, то сначала подумал, что, возможно, каштеляна не оказалось дома.

Сын так же, а может быть, и более обеспокоенный, молчал, боясь нарушить зловещую тишину, смотрел на сенаторов, которых увидел на улице, ничего не понимая.

Сенаторы приехали к воротам дворца Радзивилла, тихо поднялись по лестнице, советуясь о том, как сгладить для воеводы свое неудачное посольство.

— Вам, пане канцлер, следует самому рассказать воеводе обо всем, — посоветовал мозырский староста. — Попробуйте хоть как-нибудь смягчить отказ Ходкевичей.

Воевода ждал их на пороге и по лицам понял, что его ожидают неприятные новости.

— Что вы нам скажете, пан канцлер? — спросил он. — Каштеляна не было дома, или он не принял вас?

— Нет, он почтительно принял нас, — сказал канцлер, входя в свою роль миротворца.

— И что он ответил? — не терпелось узнать воеводе.

Канцлер немного задумался над тем, как бы ответить более тонко и мягко, но воевода уже все понял, он раскраснелся и в гневе закричал:

— Пане канцлер! Он оскорбил вас, не дал согласия?

— Совсем нет, наоборот... — начал Сапега.

— Неужели согласился? — наступал на него воевода. — Быть этого не может! Слишком хорошо я знаю его и его иезуитов-племянников! Что он ответил? Что сказал?

— Слово в слово, — вмешался мозырский староста, который понял, что канцлер специально медлит с ответом, а воевода все больше переполняется злостью, — слово в слово сказал так: ответит потом, когда будет место и время, кто и как верен своим словам и обещаниям.

— Что это означает? — крикнул воевода. — Вызов?

— Да нет! Нет! — прервал его Сапега. — Это было сказано совсем в ином смысле. Каштелян обижен, причем справедливо, его нужно понять.

— Значит, отказал! — воскликнул воевода. — Отказал вам, панове, и мне отказал в том, о чем я просил, отказался дать позволение князю Янушу видеться с княжной.

— Он не сказал этого так определенно, и я думаю... — начал Сапега.

— А я думаю, — оборвал его Радзивилл, — что это окончится не иначе, как с оружием в руках. Видимо, он хочет, чтобы я пошел с войском добиваться исполнения договора! Что же, чего он хочет, то и получит! Я найду друзей, найду сторонников, как он нашел их у иезуитов и короля. Он хочет войны, хочет войны...

— Не делайте таких поспешных выводов, княже, — прервал его Лев Сапега. — Он и не говорил, и не думал о войне...

— Тогда что все это означает, пане канцлер? — горячо возражал воевода. — Что, если не это? Что он не считается с договором, не придерживается его, не пошел даже на маленькую уступку при вашем посредничестве, на мою просьбу не откликнулся. Упрекает, что я не придерживаюсь договора? Но, Богом клянусь, я исполняю его! Я держусь его, строго держусь! Прошу простить меня, панове, мои добрые друзья, что подговорил вас всех на это неприятное посольство. Простите мне, но я даже не предполагал, что все так окончится. Бог тому свидетель! Но я найду иное, более надежное средство против панов Ходкевичей, я не позволю измываться надо мной! Беру вас всех в свидетели, панове, что не я первый отступил от договора, что я не нарушаю его, что я его уважаю, и если даже не по доброй воле, то оружием заставлю его исполнить.

Воевода окончил и, усталый, упал в кресло, дрожа от гнева. Он взглянул на князя Януша, лицо которого тоже покраснело от крови, хлопнул рукой по колену и воскликнул:

— Война! Значит, война! Что же, я готов и к ней! Если не уступит, то, Богом клянусь, не жить ему! Получишь, Ходкевич, войну, если ты ее хочешь и вызываешь меня! И пусть на тебя падет пролитая кровь!

Совет возле ратуши. Войт у ректора

При тех обстоятельствах, о которых мы писали, не было уже не только надежды, а даже намека на согласие — обе стороны готовились к войне: Радзивиллы — к нападению, Ходкевичи — к обороне; а поскольку, как мы уже упоминали, день, когда княжна София должна будет выйти замуж, был определен — 6 февраля 1600 года, — то как раз к этому времени в Вильно возле дворца Ходкевичей и должна была начаться эта горячая борьба. Но силы были слишком неравными, потому что хотя Ходкевичи были известны в стране и имели множество приверженцев, связи, но с избытком имелось это и у Радзивиллов. Воевода, кровник семьи князей Острожских, возглавляя союз конфедератов и православных, пользовался могучей поддержкой у русских православных реформаторов как у братьев по вере. Этой силе Ходкевичи не могли ничего противопоставить. Кроме того, Радзивиллы хорошо понимали, какой опорой им могла быть мелкая шляхта в крае, поэтому стремились привлечь ее к своему двору, помогали, чем могли, устраивали на должности, защищали, сватали, женили, —

в итоге имели множество сторонников, чем-то им обязанных. Они не только что хотели, то и делали на сеймиках в угоду своим опекунам, но и были готовы по первому зову сесть на коня с саблей в руке, даже не спрашивая, для чего это нужно. Такой шляхты, преданной роду Радзивиллов, в Литве было очень много; она не интересовалась существом дела, а слепо выполняла приказы: налететь, разгромить, не допустить к депутации на сеймиках, поднять крик, отлупить кого-то — все для них было законно, все допустимо. Шляхта вообще была морально испорченной. Почти вся она стала безразличной к этической оценке своих поступков, не служила тому, к чему была призвана, а слепо шла за хозяевами, которые поили, кормили ее, используя в своих целях. Радзивиллы называли шляхту *czapką i papką* — шапка и кашка, — что означало братскую дружбу и богатый стол; вот такая шляхта и оставила заметный след в истории их рода. Князь Миколай Радзивилл, прозванный Сироткой, постоянно повторял, что он называет Радзивиллов не иначе, как Рад — живилы.

Такой были политика и расчет и у других представителей этого рода. Присовокупим, что и разница в вере была им выгодной, потому что за Радзивиллами шли те, кто ненавидел католиков. Не удивительно поэтому, что и на этот раз они обратились за помощью к шляхте: кому написали, к кому отправили гонцов. Друзья их рода (так именовали их Радзивиллы) без колебаний откликнулись на этот призыв к борьбе. Пан воевода разослал во все стороны оповещения. С ними разнеслась и весть о начале новой гражданской войны. И в Короне, и в Литве никто из имеющих мало-мальское отношение к роду Радзивиллов не отказался помочь; выходило так, что все они были не прочь начать в Литве новую междоусобную войну.

Главными предводителями протестантской партии были, прежде всего, три князя Острожских: краковский каштелян, киевский и волынский воеводы. Они были из числа самых влиятельных магнатов в Литовской Руси. У них было много народа при дворах, они обещали солидную помощь. Каждый из них мог привести с собой шестьсот всадников и семьдесят гайдуков, а это насчитывало в целом три тысячи девятьсот человек. Менее значимым и не столь богатым считался смоленский воевода Абрамович, который был протестантом и стоял за Радзивиллов; обещая не так уж много, он хотел все же хотя бы чем-то помочь общему делу, которое считал делом борьбы за веру, поэтому и обещал прислать от своего двора пятьдесят всадников. Шурин воеводы Николай Нарушевич, жмудский каштелян, выставлял сто всадников и сто гайдуков. Замойский также без рассуждений был готов прислать людей с Подолья. Князь курляндский ответил на послание воеводы обещанием прислать отряд своих рейтаров. Князь Юрий Радзивилл пообещал дать несколько десятков всадников, да и все другие хоть что-нибудь да жертвовали на общее дело.

А вот Лев Сапега, хотя и был родственником воеводы, и хорошо относился к нему, тем не менее дать людей не обещал. Это было, как мы уже упоминали, в его характере: он не любил ни во что ввязываться; как католик и как большой сторонник короля он не хотел выступать против Ходкевичей, потому что они были в почете у Сигизмунда III, стояли во главе католиков Литвы.

Если же говорить о силах Ходкевичей, то по своему количеству они не шли ни в какое сравнение с силами Радзивиллов. Хотя их и поддерживали все католики, но военной помощи им никто не обещал. Для того, чтобы выставить хотя бы что-нибудь на защиту от Радзивиллов, им оставалось надеяться в основном на деньги, причем на большие деньги: на них нанимались, записывались в войско люди по всей Литве и за ее пределами. Дошло до того, что из-за интриг Радзивиллов приходилось искать наемников по заграницам, а они рядились в их войско только тогда, когда хорошо

платили. Ежели к этому присовокупить то, что в ту пору у Ходкевичей не было таких уж больших и богатых владений, да и вообще богатства, то легко понять, в каком тяжелом положении они очутились. Им приходилось закладывать и отдавать в аренду свои имения. Жмудский староста Ян Кароль, стоящий во главе своей группировки, надеялся таким способом собрать тысячу шестьсот конных наемников и еще шестьсот пехотинцев. Он постарался также обзавестись и орудиями для укрепления обороны своего дворца-крепости.

Весть об этой подготовке, из которой никто не делал тайны, скоро дошла до короля. Ничего удивительного: вся страна была занята подготовкой к войне; все сравнивали силы сторон, предсказывали что проиграют войну Ходкевичи, а вместе с ними и все католики. Они боялись, что воевода, имея в руках такое войско, легко победит и не остановится на этом, а использует свою победу для обеспечения себе и своим сторонникам решающей победы в Литве. Это беспокоило католиков и самого короля, к которому все чаще начали доходить просьбы вмешаться в это дело. Но король не очень верил в то, о чем ему докладывали, считал, что положение не столь уж страшное. А, возможно, чувствовал, что Радзивиллы не будут так уж считаться с его посредничеством.

Воевода был сильно рассержен исходом своего недавнего посольства, еще больше возненавидел Ходкевичей и уже не помышлял о новых переговорах и примирении. Поскольку воевода был сильнее и не сомневался в своей победе, он и чувствовал себя увереннее.

Обе стороны с нетерпением и тревогой ждали решающего часа.

И вот закончился 1599 год. Новый 1600 год начался в тревоге, и, наконец, наступил февраль.

Король Сигизмунд III, обеспокоенный близкой развязкой всей этой истории и доходившими до него слухами о грандиозной подготовке к гражданской войне, в конце концов решил послать в Вильно четырех сенаторов, передал с ними письма к каждой из враждующих сторон, в которых запрещал им браться за оружие. На дорогу он напутствовал послов просьбой сделать все возможное, чтобы остановить пагубное кровопролитие. Сенаторы отправились в Вильно в январе 1600 года, но, пока они не прибыли и не начали действовать, нам стоит вернуться к описанию дальнейшего развития событий в самом городе.

Жители Вильно подумывали о том, что, может быть, придется покинуть город: они чувствовали, что могут стать безвинными жертвами этой войны, ведь она начнется обязательно в центре города, на рыночной площади, на улицах. Некоторые уже собрались уехать: им не хотелось очутиться между враждующими группировками.

Напрасно с болью и сожалением говорили жители Вильно о том, что станет с городом, на это никто не обращал внимания; поэтому они решили напомнить о себе тем, кто собирался воевать.

Симпатии горожан склонялись к партии католиков, потому что большая часть жителей Вильно была католической. Горожане-русины стояли за воеводу, потому что он защищал их от иезуитов. В 1599 году они вступили в конфедерацию под опеку воеводы. Но русинов было немного. Во главе магистрата в то время стоял виленский войт, которого незаконно назначил король, это был правоверный католик и преданнейший слуга иезуитов Матей Бориминский. В прошлом он служил секретарем короля.

В самом магистрате половина заседателей были православными, половина — католиками; но среди православных было уже более униатов, нежели приверженцев прежней веры. То же соотношение было и между бургомистрами и радцами: и там преобладали католики; чувствовалось и большое влияние иезуитов, хотя его подрывали частые споры с маги-

стратом. Войт Бориминский был членом братства Божьего Тела и милосердия Иисуса — это явственно свидетельствует о том, на чью сторону он склонялся.

В один из первых дней 1600 года, когда весь город переполнился слухами о близкой войне, холодным январским утром ратушная площадь стала наполняться людьми. Одни из них шли открывать свои магазины, другие стремились попасть в ратушу, кто собирался на суд в магистрате, кого интересовала сокровищница, кого весы, парикмахерская либо что-то еще. Бургомистры, радцы, члены магистрата, писарь — все столпились у больших дверей ратуши, ожидая, когда часы на башне пробьют девять. Разговор как раз и зашел о приближающихся событиях; рассуждали о том, какие последствия это может иметь для города. Более всего волновались богатые, они любили спокойствие, опасались за свое имущество, тревожились, что им доведется брать на постой тех, кто будет выступать в этом противостоянии на той или другой стороне. Пересказывали один другому то, что удалось узнать.

— Я, пане Базыль, — говорил толстый и краснолицый шляхтич, — слышал от человека из свиты пана старосты, а тот услышал от полковника, а полковник от самого пана старосты, что будут воевать не в поле, а только на городских улицах; как вам, пане, это нравится?

— Конечно, иначе зачем бы они укрепляли дворец? — вопрошал второй. — Все знают, что там уже есть восемьдесят орудий, они лежат во всех углах; а кто знает, сколько их еще привезут. Говорят, что орудия поставили даже в окнах, выходящих на улицу, в парадных покоях.

— А что до воеводы, — утверждал третий, — то мы знаем: как только он наведет сюда войска, еретики тут же сотрут католиков в порошок, уничтожат костелы, а ксендзов передушат. О магазинах и складах и думать нечего. А поэтому не пора ли подумать о себе? Береженого Бог бережет.

— Да, верно. Все может быть. Но неужто наш король позволит им воевать?

— Не может же король сам стать между ними, — заговорил еще один горожанин. — Даже если бы он и хотел помочь Ходкевичам, все равно не сможет. Можно только запретить браться за оружие, ничего иного ему не придумать.

— Так его воевода и послушает, — возражал второй шляхтич, — он посмеется над его запретом как только созовет войска из земель Руси, Курляндии, да мало ли откуда еще. Говорят, что под залог католического имущества он созывает даже татар и поганых турок.

— А поэтому, — гнул свое третий, — каждый, у кого есть голова на плечах, должен побыстрее выметаться из Вильно, и пусть им достанутся одни голые стены, даже обивку можно содрать. Я как раз так и сделаю.

— У меня постоялый двор, — вмешался маленький горбун, — и я не могу оставить его. Наоборот, я могу еще и нажиться на войске.

— Тебя обожрут и обопьют, а потом покажут кукиш, — усмехнулся пан Базыль, — вот и вся будет твоя нажива.

— Может быть, не так уж страшен черт, как его малюют, — рассуждал первый. — Ксендзы, иезуиты ведь никуда не уезжают, капитул — тоже, вообще никто еще не едет. Если бы было так опасно, все бы давным-давно повыехали.

— Вы правы, — поддержал его стоящий вблизи горожанин, — как только они начнут выселяться, так и мы двинем вслед за ними. Будем наготове, но покамест не стоит выезжать; а ежели до войны не дойдет, наша торговля может оживиться, если наедет столько народа. И за постой нам заплатят.

— А вы знаете, что из-за этого воеводы-язычника мы уже столько лет не имеем своего епископа? — снова вмешался третий. — Он ни в грош не

ставит ксендза Матиевского и настраивает против него других, чтобы не утверждали его на епископство, а все потому, что он на стороне короля.

— Может, это и так, — промолвил Базыль, — но ведь ксендза не пускают на епископство еще и потому, что он не литвин, есть какой-то закон, запрещающий всем, кроме литвинов, занимать виленское епископство. Вот почему его не допускают.

— Вовсе не поэтому, — возразил третий, — мне братчик-портной из ордена иезуитов говорил, что привилей на епископство выдан ксендзу канцелярией Короны и с ее печатью.

— А если даже и так, кого это волнует? Некогда покойный король Стефан запечатывал привилеи рукоятью сабли, и ничего, все, что там было написано, исполнялось.

— В том и все дело, что наш король глух и нем, знает только одно — молиться да молиться, а в королевстве все пошло наперекосяк. Но нам нет до всего этого дела, нам пора думать о себе, сейчас самое время. Нам нужно что-то решать насчет этой войны.

В эту минуту подошел войт Матей Бориминский. Все поклонились ему, а пан Базыль Бильдюкевич спросил:

— Правда ли, что вскорости начнется война между Ходкевичами и паном воеводой?

— Одному Богу то ведомо, — отвечал войт, худой и высокий мужчина, — но *probabiliter* — очень может быть.

— В таком случае, нам, может быть, самое время подумать о себе? — спросил пан Дурник, тот самый третий шляхтич.

— Видимо, так, — ответил войт. — Подумайте, с чего начинать.

— А что вы сами думаете делать? — спросил Бильдюкевич.

— Буду покамест сидеть, — ответил войт, — я ведь не могу оставить свою должность.

— И я, — сказал один из членов магистрата, — но магазин закрою, а товары вывезу в деревенскую усадьбу.

— Так надо поступить и нам, — проговорил еще один участник разговора пан Дубович, — но не лучше ли было бы прежде отправить депутацию виленского магистрата к их милостям каштеляну и воеводе с просьбой не причинять вреда городу?

— Успокойтесь вы со своими хождениями! — воскликнул Дурник. — Хотите, чтобы нас подняли на смех? Разве они послушаются нас, если там уже побывали несколько сенаторов, но даже им утерли носы.

— Это так, — засвидетельствовал войт, — но все же нечто значим и мы, как никак — *brachium reqium* — правая рука власти в этом городе. И наши предложения они не могут проигнорировать, потому что кому как не нам радеть о поддержании порядка и *securitas* — безопасности — в городе? Поэтому совет пана Дубовича насчет депутации я считаю *ratione* — дельным — и поддерживаю.

— И я, — присоединился Базыль Бильдюкевич. — Сегодня же посоветуемся и отправим гонца с бумагой.

— Бумаги здесь ни к чему, — возразил Дубович, — нужно, чтобы туда пошел весь магистрат, а иначе будет нам полный афронт.

— Пожалуй, так будет лучше, — согласился Бильдюкевич, — только прежде, чем пойти, надо найти кого-нибудь толкового, кто мог бы дать толковый совет, подсказать, что и как говорить.

— Мне кажется, — ответил войт, — лучше всего попросить совета у ректора иезуитского коллегиума.

— Ваша милость говорит чистую правду, — подтвердил Дурник. — Сходите к нему вы сами, пане, и расспросите, что он думает обо всем этом.

— А что, в самом деле, *stante pede* — сходите сами, это не повредит, — добавил Дубович. — На сегодня важных дел пока нет и не предвидится, поэтому вы, пане, можете сходить в коллегиум, а здесь останутся члены магистрата, бургомистры и наш уважаемый пан писарь.

— Хорошо, хорошо. Я и без того собирался сходить в коллегиум по судебным делам, — сказал войт, — а раз уж вы так хотите, то я пойду прямо сейчас.

Войт поклонился и пошел по улице в сторону коллегиума Святого Яна, размышляя о том, что ему спросить у ректора.

В то время коллегиум занимал значительную площадь, помещался в нескольких домах, купленных еще епископом Валерианом Протасевичем, и в основанных еще ранее, даже с перестроенной прежней Святоянской плебанией (в которой знаменитый Ройзий Маро писал свои «Постановления»), а также в докупленных и подаренных каменных зданиях. В центре всех построек стоял костел Святого Яна с высокой башней и крылечками. Около ворот коллегиума собрались молодые ученики-братчики, ожидая, когда зазвонит подвешенный над ними колокол. Одеты они были весьма пестро, с чернильницами у пояса, книжками под мышкой, в испятнанном и порой сильно поношенном одеянии. Несколько светских учеников и ксендзов из костела Святого Яна, одетых в черное, шли по двору, кто с ключами, кто с книжками. Возле дверей столовой собралась целая толпа: колокол как раз оповестил время завтрака. А из глубины помещения уже слышался голос священника — он, как здесь повелось, читал устав ордена перед началом еды. Было слышно, как вслух каются несколько братчиков — они во время чтения должны были отбывать наказания за провинности.

Пан Бориминский, здороваясь со знакомыми, миновал двор, прошел коридорами, где сновало еще больше учеников и ксендзов, нигде не останавливаясь, так как спешил попасть в ректорскую келью.

Войт пробрался сквозь толпу и, наконец, оказался перед одной из двух соседствующих келий ректора. Одна была более богатой, чем другая, выходящая на Провинциальную улицу, потому что в ней ксендз ректор принимал только почетных гостей, которые не хотели проходить через все заведенные здесь церемонии, причем с обязательным мытьем ног у входа. Над дверью той кельи висела икона Святого Ксаверия, кажется, личного покровителя ректора.

Войт постучал и сразу же вошел, потому что ученик-иезуит открыл ему. Ксендз ректор Гарсиа Алабянус стоял в дверях и как раз заканчивал разговор с братчиком:

— Пусть посадят его на три дня на хлеб и воду после чтения устава, а об остальном мы поговорим позже.

Братчик поклонился со сложенными на груди руками и вышел, а войт поздоровался с ректором. Келья, в дверях которой они стояли, была скромная, ничем не украшенная, кроме портрета основателя коллегиума и его первого ректора ксендза Станислава Варшевицкого. Около дверей висело кропило, рядом — деревянное распятие, скамьи, возле стен — шкафчики. Более торжественно выглядела вторая, тоже сводчатая, сюда ректор и провел Бориминского. Эта келья выглядела значительно большей, в ней были два окна. Стены ничем не обиты, на них висели иконы святого Игнатия Лойолы и первых девяти братьев ордена иезуитов, а также изображения нескольких предшественников ректора в виленском коллегиуме.

Тут стоял шкаф с книгами, рядом простая твердая кровать, а над ней — плетка — «дисциплина» — и распятие, веточка вербы и свечка. И больше ничего такого, что могло служить украшением, глазу не на чем было остановиться.

— Важное дело привело меня к вам, милостивый ксенже, — заговорил войт после приветствия. — В городе неспокойно, люди боятся. Я хотел бы посоветоваться с вами, что можно сделать.

— А почему неспокойно? — спросил Гарсиа Алабянус, повернув к пану войту лысую голову и взглянув на него живыми черными глазами.

— Да все из-за этой несчастной войны, к которой готовятся Ходкевичи и Радзивиллы, — пояснил войт. — Весь город в тревоге, люди беспокоятся, не знают, что делать. Уезжать, выбираться из города или сидеть и ждать, надеясь на Божью милость.

— Что же я могу вам посоветовать? — ответил ректор, не скрывая своего полного безразличия. — Поступайте так, как вам подсказывает ваш ум.

— Но тут как раз нашего ума не хватает, — пожаловался войт, — и мы были бы рады услышать совет, как нам себя вести, на что надеяться. Есть нам чего бояться или нет?

— Я знаю об этом не более вас, — отвечал ректор. — Да, похоже на то, что пахнет войной, но наш король уже отправил в Вильно панов сенаторов с ингибицией к воеводе и каштеляну.

— С ингибицией! — воскликнул войт. — Но прислушаются ли к ней?

— Этого я не знаю, — осторожно сказал ректор. Он не хотел показать, насколько хорошо осведомлен во всем, что творилось в городе.

— Мы хотели бы предложить магистрату выступить с представительством от города к панам каштеляну и воеводе, чтобы они не нарушали спокойствия и не вредили *securities Metropolis* — безопасности города.

— Это было бы не лишним, — сказал ректор, — но я вам и не советую этого делать, и не отговариваю.

Причину такой осторожности ксендза ректора в его разговоре с войтом надо было искать во всем известной болтливости пана Бориминского. Именно из-за нее ректор боялся сказать лишнее слово; он не хотел, чтобы весь город узнал про какое бы то ни было его участие в том, что назревало. Поэтому он хотел сохранить хотя бы внешний нейтралитет в этом деле. И так уже протестанты обвиняли иезуитов во всех грехах.

— А будет ли какой-нибудь толк, если мы это сделаем? — допытывался войт. — Мы надеемся на ваш ум и осведомленность, пане ректор, так посоветуйте что-либо.

— Плохого ничего не будет, — заверил его ректор, — но, опять же, и большого успеха ожидать не стоит. Сделайте так, как вы уже решили между собой, а я прикажу отслужить молебен за успех вашей миссии. Надо только не забыть дать знать об этом в каплицу Божьего Тела.

Ректор произнес это и встал, чем-то озабоченный, и пан войт, хочешь не хочешь, был вынужден распрощаться с ним. Проходя через ворота коллегиума, он взглянул на вывешенные там объявления и пробежал их глазами. Это были объявления о заказанных молебнах в день памяти какого-то святого, о диспуте по поводу получения ученой степени, а также об исключении из числа учащихся трех братчиков за какие-то проступки.

Депутация магистрата

На следующий день еще часы на ратуше не пробили двенадцати, а из ее дверей уже выходила депутация магистрата. Возглавлял ее почтенный пан войт Матей. За ним шли двое судей из магистрата, двое из рады, два бургомистра и городской писарь. Все они были так богато одеты, словно собирались участвовать в процессии или идти на смотр цеховых учений: в новых одеждах яркой расцветки, новой обуви из наилучшей кожи. По недавнему привилею наияснейшего Сигизмунда Августа (так его тогда

называли) магистрат был приравнен к шляхте, а потому все чиновники в знак своего шляхетства подвесили к поясам сабли, ножны которых дребезжали, задевая камни мостовой.

По пути им низко кланялись горожане и даже купцы, глядя, как важно и стройно они выступали; люди давали им дорогу, чтобы не мешать, потому что все чувствовали: шли они не просто так, не на гулянье, а озабоченные каким-то важным делом, имеющим отношение ко всему городу. Так они прошествовали в молчании по главной улице, а потом, чтобы не обращать на себя лишнего внимания, повернули на улочку в Рыбном конце, а остаток пути *unanimitate* — единодушно — решили пройти напрямки, предместьем у самого дома виленского каштеляна.

Здесь они остановились и попросили известить о своем приходе. Через минуту их провели в зал, а вскоре к ним вышел и сам каштелян. После низких поклонов и приветствия пан войт откашлялся и торжественно начал свое слово:

— Ясновельможный пан каштелян! Господин наш и благодетель! С определенного времени страх и беспокойство охватили жителей Вильно, славного города его королевского величества, а все из-за каких-то слухов и разговоров, которые пошли, словно нарочно для того, чтобы нарушить спокойствие этого города и *sekuritas* — безопасность его. Какие-то недобрые люди содействуют нарушению спокойствия жителей нашего стольного города, разнося подобные сплетни и вымысел, однако же для этого имеются некоторые основания. Каждый день народ видит, как вы, пане, проводите некие фортификационные работы в самом сердце города, делаете какие-то приготовления, могущие нарушить покой горожан. Обдумав все это, мы, войт и городская рада его королевского величества города Вильно, пришли к вам сюда, *ad illustrissimum* — к вашей светлости — покорнейше просить вас, чтобы в том случае, если вы и в самом деле готовитесь к войне (пусть вас Бог хранит от этого), то хотя бы город Вильно не стал театром военных действий. Мы имеем привилей, по которому ставить войска в самом городе воспрещается, а гостям, прибывающим ежедневно, отводятся в городе постоялые дворы *in visceris* — посреди — его метрополии, это записано в юрисдике ратуши, чего ранее не было. Если же, не дай бог, дойдет до войны и боев, то это будет погибель для города Вильно, его торговли и расцвета. Потому что даже теперь уже иноземные купцы и гости, до которых доходят эти слухи, закрывают магазины, постоялые дворы и гостиницы пустеют, плата за проживание не поступает, все живут в каком-то страхе и ожидании. Поэтому все мы покорно просим от имени магистрата, товарищества купцов и всего посполитого виленского люда, чтобы вы, если можете, не начинали этой войны, которая приведет к уничтожению торговли и спокойствия в городе, бедствиям и несчастью его жителей.

Пан Бориминский собирался продолжать, но каштелян нетерпеливо перебил его выспренную речь:

— Дражайший пане войт! Вы напрасно пришли ко мне с этим посольством. Я тут никакой войны не начинаю. Я не хочу ее. Не готовлюсь к ней. Идите к пану виленскому воеводе и просите его, чтобы он хорошенько подумал, и, если что-то затевает, то пусть не забывает о городе. Я же вынужден только защищаться, если кто-то затронет меня, а защищаться имеет право каждый и везде, разве не так, пане войт?

— Да, это неотъемлемое право, — смиренно подтвердил войт, — но...

— Но что? — спросил каштелян.

— Но ведь собирается войско, — пояснил войт, — и в окрестностях, и в самом городе его уже много, а говорят, что прибудет еще больше!

— Идите к воеводе! — снова остановил его каштелян. — Идите! Это не моя затея. Я не буду стрелять первым. Если он будет спрашивать у вас,

были ли вы у меня, то можете сказать то, что я говорил вам: я никакой войны не начинаю. Всего вам наилучшего, панове!

Депутация низко поклонилась, а потом таким же неторопливым шагом молча пошла к пану воеводе. Но на лицах чиновников магистрата можно было прочесть, что это второе посольство им совсем не по душе, потому что они шли к воеводе, которого боялись как еретика и которого всем расписывали как ужасного человека. Хотя они пребывали в уверенности, что он не должен оскорбить столь представительную депутацию магистрата, но все же им было несколько не по себе. Пан войт обеспокоенно поглядывал на писаря, писарь — на магистратских заседателей, они — на бургомистров. Чем ближе они подходили к дворцу, тем медленнее ступали их ноги. Вдруг войт предложил:

— Обратитесь к нему вы, пане бургомистр.

— Кто? Я? — испуганно спросил бургомистр. — Я? Но это же будет большим оскоблением для вас, пане войт, вы же — голова города и этой депутации. Я ни за что этого не сделаю!

— И я. И я, — тихо отозвались другие. — Надлежит говорить только пану войту.

А войт уже и сам не знал, как ему быть, у него словно язык присох. Но рассуждать было слишком поздно, потому что они уже прошли через ворота дворца и стояли в коридоре.

Слуга оповестил:

— Депутация магистрата!

Воевода сидел в своей комнате с паном Абрамовичем. Услышав о депутации, приказал:

— Впустить их. Наверное, явились с вечной жалобой на подвоеводу или начнут дурить голову насчет торговли, торговцев и портачей.

Не успел он закончить, как вошел и склонился в еще большем, нежели у каштеляна, поклоне пан войт, а за ним на цыпочках вошли и все остальные. Воевода не встал. Смерил их взглядом и повернулся к ним, ожидая, что скажут.

Такой прием не очень радовал, войт едва не потерял сознание от страха, комкал шапку, кланялся, не мог отыскать в голове и молвить хоть какое-то слово, с которого можно было бы начать. Наконец, когда молчание слишком уж затянулось, он начал говорить почти то же самое, что уже говорил у каштеляна, только произносил свою речь на этот раз очень тихо и невыразительно, дрожащим голосом. Войт остановил его еще на середине:

— Вы что же это, панове, беретесь меня поучать или запугивать? Меня? Делайте то, что подобает вам, а не сенаторам и рыцарству! Сидите в своих магазинах, взвешивайте товары в ратуше, собирайте подушную, подымную и другие подати, но не суйте свой нос туда, куда вас не просят! Слышите, васпане?

Войт замолчал, он побелел, как стена.

— Однако же, ясновельможный князь, — заикаясь, проговорил он, — *securitas* города его королевского величества, доверенного...

— Безопасность города от воров и проходимцев — вот единственный предмет ваших забот, пане войт, а о наших делах вам заботиться не надо! — воскликнул воевода. — Неслыханное нахальство! Вас всех стоило бы посадить за это на неделю в замковую тюрьму! — добавил он, все более распаляясь злостью.

— У магистрата его королевского величества города Вильно и в мыслях не было оскорбить ясновельможного пана, но ведь *zelus* — забота — об имуществе, доверенном нам...

— А я вам говорю, — загремел воевода, — направьте вашу *zelus* на другое, и вам будет чем заняться и к чему приложить ее! Не вмешивайтесь

в то, что вас не касается, собирайте подати, судите своих горожан и гостей, поддерживайте порядок и сидите спокойно.

Войт отступил к дверям, напуганный напоминанием о тюрьме и грубостью воеводы. Когда князь произнес последние слова, двери открылись и вся депутация молча двинулась назад, а воевода в комнате еще бушевал.

С невеселыми лицами, словно жаб наглотавшись, паны радцы, бургомистры и магистратские заседатели во главе с почтенным паном войтом пошли в ратушу. Еще издали они увидели, что около ворот их ожидает кучка любопытствующих горожан и купцов.

— Что мы им скажем? — спросил войт.

— Что? — переспросил писарь. — Вовсе нет нужды рассказывать им о визите к воеводе, это уронило бы наше достоинство в их глазах. Лучше скажем, что каштелян и воевода обязали нас заботиться о порядке в городе.

— А что, если они про все прознают?

— Лучше мы сами убедим их, что мы говорим правду, а все иное — это всего лишь сплетни и вымысел, — настаивал писарь. — Иначе мы утратим доверие наших подданных, от чего охрани нас Боже, потому что с нами и так мало считаются, а после этого мы и совсем выйдем из доверия.

— Что хорошего скажете? — спросили их ожидающие.

— Сказали, чтобы мы были спокойными и терпеливыми, — ответил войт. — Все хорошо.

— Нас приняли с надлежащим почетом, — бодро добавил писарь.

— Город может надеяться на рассудительность воеводы и каштеляна, — заверил войт.

— А войны не будет?

— Если и будет (этого нельзя предвидеть), то нам пообещали не причинять большого вреда городу.

— Ну, конечно! — ядовито заметил, покачав головой, один из горожан. — Ограбят и попросят прощения, сожгут и будут проливать слезы.

Тамила

Уже темнело, но еще не было сигнала тушить огни; еще были переполнены корчмы, харчевни и шинки, и даже не очень смелые горожане с фонарями в руках, вооруженные палками с шипами, еще отваживались ходить по улицам. В костелах звонили к молитве Божьего Ангела, самые набожные в это время становились на колени даже посреди улицы. Звон колоколов смешивался со скрипом телег и карет, голосами прохожих. В окне дворца Ходкевичей на Замковой улице сидела княжна София и смотрела на улицу невидящими глазами. Казалось, она хотела развеять грусть видом уличной суеты, но мысли ее были далеко.

Княжна явно кого-то ждала. А улица тем временем пустела; кроме нескольких завсегдатаев шинка Мальхера под вывеской с Бахусом — одни из них спешили туда, другие выходили — никого не было видно. Ворота дворца Ходкевичей еще были широко открыты, возле них стоял только старый служка, он тоже молился ангелам за души умерших — к этому призывал живых голос колоколов. Вдруг рядом с домом кто-то зашлепал по грязи, а вскоре показалась старая нищенка в изодранных лохмотьях, она замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась под окном княжны. Взглянула на него, как будто заметила нечто необычное.

— Подайте, Христа ради, шелег убогой, — попросила она. — А Бог вас утешит.

Она молитвенно сложила руки, протянув их вверх, сама же поглядывала на служку, а тот, занятый молитвой, совершенно не обращал на нее внимания. Она повторила:

— Подайте, Христа ради, шелег убогой. А Бог вас утешит.

В окне открылась форточка, из нее вылетела и упала на улицу монета, завернутая в бумажку. Нищенка жадно схватила ее, подняла глаза вверх и начала благодарить:

— Бог вам заплатит за вашу доброту, ясновельможная панна. Бог заплатит!

Княжна тут же закрыла форточку, а нищенка еще раз оглянулась и заспешила назад по Замковой улице, да так резво, будто она и не была согбенной старухой. Как только она отошла подальше от дворца, развернула бумажку и вслух произнесла:

— Ого! Целый талер! Но намного дороже стоит бумажка, чем эта монета, будь она даже португальской!

Нищая старательно сложила бумажку и направилась в сторону дворца Радзивиллов. Приблизившись к нему, она открыла дверцу, выходящую на улицу, вошла в нее и подалась напрямик к галерее, на которую вела лестница.

Смело и привычно она взошла по лестнице, постучала в дверь, открыла ее и вошла. Ее заметил молодой придворный, сидевший в передней, и предупредил:

— Иди раздеваться в коморку, потому что как раз пришел кто-то чужой. Сделал все, что надо?

— Все хорошо! — ответила мужским голосом фальшивая нищенка и пошла в каморку.

Там она скинула свои лохмотья и стала надевать мужской костюм. Оказалось, что это был Тамила Тамилович, доверенная особа князя, который таким образом раздобыл письмо от княжны. Переодевшись, он снова вошел в комнату и спросил:

— А кто там пришел?

— Да пан Адам привел какого-то служивого из дворца Ходкевичей, поит его, обхаживает. Только что мух от него не отгоняет.

Тамила выслушал это и пошел в другую комнату, где несколько его друзей колдовали над кувшином с вином, а посреди стола сидел очень навеселе уже знакомый нам пан Брожак и о чем-то рассказывал.

Он увидел Тамилу, которого уже встречал раньше, хотя и не знал его имени, вскочил с лавки и сердечно обнял его.

— А, и ты здесь!

— И я здесь! — ответил Тамила.

— А что ты тут делаешь? — спросил Брожак.

— Зашел выпить, — ответил Тамила и подмигнул приятелям.

— Тогда садись, гостем будешь, — сказал один из них и налил кубок вина. Они начали пить по очереди, передавая кубок из рук в руки и кланяясь. Тамилович шепотом спросил у друга:

— Что-нибудь еще вытянули из него?

— Пока нет, — ответил тот, — но его уже пора спроваживать, потому что он подвыпил еще у Мальхера, и мы привели его сюда; он даже не догадывается, что сидит у Радзивиллов.

— Пью к вам, пане Брожак! — воскликнул Тамила, подойдя к столу. — Что у вас там слышно?

— А, что там можно услышать, все то же самое: укрепляем крепость, покупаем и привозим орудия, нанимаем войска, точим сабли, подшиваем кожей панцири. Сотрем этих Радзивиллов в порошок, покажем им, где раки зимуют!

— Обязательно! — поддакнул кто-то. — И много там уже войск?

— Кто их сосчитает! — махнул рукой Брожак. — Староста собирает солдат со всего света. А теперь еще и маршалок поехал добирать недостающих в Пруссию.

— Кто он такой, ваш маршалок? — спросил Тамила.

— Да вы разве его не знаете? Ну! Микола Хомец. Не простого рода человек! Говорят, еще вся шляхта пасла скот и ходила в кожаных лаптях, а его предки уже были князьями.

— Ну, теперь таких князей хоть пруд пруди, — улыбнулся Тамила, — и шляхта уже не пасет скот. Так что они теперь все равны! А какой дорогой он поехал?

— Да кто ж его знает!

— А что, у вас так мало орудий, что вы их еще и привозите?

— Мне кажется, их будет много больше, чем в последнем походе, ведь если посчитать, сколько для них заготовлено места и во дворце, и на крышах, и на стенах...

— Уже подготовили места?

— О! Только поставить и осталось! — заверил Брожак. — Пан Барбье работает без устали, он говорит, что нам будет удобнее обороняться, чем Радзивиллам нападать: даже если у еретиков будет много войска, оно все равно не уместится на улицах. А подойдет кто на расстояние выстрела, так мы его — ядром, осколками прямо в глаза!

Тамила Тамилович кивнул головой, взглянул на своих друзей и начал снова выпытывать количество войск.

— А все же, много ли у вас людей?

— Говорю же, точно не знаю. Но каждый день слышу, как их тысячами считает пан Берберий с паном старостой и паном Александром.

— И откуда вы их только берете?

— По всему свету собираем, как грибы, один тут, второй там, — болтал пан Брожак. — Разве мало тех, кого манят деньги? Не жалеем сил, ищем, где только можно. Суета большая, староста все ездит и ездит.

— Не иначе, его и сейчас нет в Вильно?

— Это так. Он вернется, пожалуй, к самому сроку с пушками и войском.

— И кто же будет всеми руководить?

— Как кто? Сам староста, — сказал Брожак. — И Миколай Хамец. Тоже, говорят, бравый вояка! Ну, а каждый отряд будет иметь своего ротмистра.

Они еще долго пили вино, смеялись, шутили, но Тамила вскоре исчез. Он побежал к молодому князю. В комнате горело несколько желтых свечей. Князь Януш опробовал оружие, сгибал сабли, рассматривал и выбирал лучшие, кладя их на большой стол.

— Тамила? — спросил он, подняв голову. — С чем пришел?

— Принес письмо! — ответил придворный. Князь положил саблю и схватил листок, подбежал к свету, прочел его, поморщил лоб и кивнул головой.

— Что еще?

— Только что мы отправили одного пьянчугу из Ходкевичевой псарни, он много чего рассказал.

— А что именно?

— Что староста собрал множество орудий, что выписывает войска даже из-за границы.

— Это не секрет, — заметил князь.

— И что сам староста будет руководить...

— Это тоже не новость, — раздраженно ответил Януш.

— Что во дворце все устроено, подготовлены места для установки орудий.

— Откуда они их взяли?

— Этого я не знаю. Но он сказал, что ихний Барбье, какой-то там француз, заверил, что им будет во сто раз легче защищаться во дворце, чем нам нападать и брать его штурмом, потому что наше войско не уместится на улицах, а по очереди его легко можно будет перебить из орудий.

— С этим можно сладить, — возразил князь. — Пока они будут их перезаряжать, мы выломаем ворота.

Он презрительно пожал плечами и спросил:

— А знаешь ли ты, Тамила, сколько Ходкевичи раздобыли пороха, свинца и денег?

— Сколько пороха и свинца, я точно не знаю, а денег им недавно доставили пятьсот коп. И все пошли на войско.

— Все равно им не победить! — воскликнул Януш. — Пусть даже им все помогают! Там, где их десяток, нас — тысячи!

— На, — сказал он Тамиле, помолчав минуту. — Возьми эту саблю и прикажи оружейнику крепко и надежно насадить рукоять. И пусть также он починит легкие доспехи. Может, они и не понадобятся, но пусть будут исправными, а то и ремни оборваны, и пластин на груди недостает.

Тамила забрал все. Януш в раздумье молчал.

— Видел княжну? — спросил он.

— Видел. Она, как всегда, сидела у окна.

— Тебя никто не заметил?

— Думаю, что нет, хотя возле ворот стоял слуга.

— Завтра я сам пойду вместо тебя, — сказал князь после минутного размышления.

— Вы, князь? — удивился Тамила.

— А что тут такого? Пойду сам. Сумел же некогда князь Семен Слуцкий прийти во Львов к своей возлюбленной Гальшке, дочери князя Острожского, в одежде нищего, попробую и я выкинуть тот же фокус.

— А если вас поймают?

— Не повесят же...

— Но могут оскорбить.

— У меня будет под лохмотьями кинжал. Значит, старосты нет, каштелян у себя дома, а во дворце одни женщины?

— Но там множество придворных, много глаз, вы же это хорошо знаете, — предупредил Тамила. — Зачем вам туда ходить?

— Воевода ничего не должен знать, — взволнованно заговорил Януш, — а ты, Тамила, молчи, никому ни слова, а то вырву язык! Как ты думаешь, можно проникнуть внутрь?

— Слуги могут выгнать, да еще по шее накостыляют.

— Неужто не пустят нищенку?

— Этого я не знаю, — сказал Тамила, — сам я внутрь не заходил.

— Потому что ты трус.

— Я, князь? Я? Когда я показал себя трусом?

— Да вот сейчас, когда ты отговаривал меня от единственного способа увидеть княжну, а мне это очень нужно.

— Так я же не за себя боюсь, а за вас.

— За меня или за себя, достаточно и того, что ты боишься, — упрекнул князь. — Иди к оружейнику. А завтра принеси мне нищенские лохмотья!

Продолжение следует.

Перевод с польского Михаила КЕНЬКО.

К 80-летию Вячеслава Адамчика

«Хочу показать трагизм человеческой души»

По всем канонам (естественно, бывшим, благополучно канувшим в Лету) писательской иерархии Вячеслав Адамчик мог бы иметь звание народного. Если не за свою прекрасную новеллистику, что даже на исходе эпохи крупных литературных форм было почти невозможным, то за не менее прекрасный роман «Чужая вотчина» и его продолжения.

Говорят, у него был непростой характер, которым он «сам себе навредил». Что же, видимо, «сами себе навредили» и Михась Стрельцов, и Владимир Короткевич, кого сегодня, впрочем, как и при их жизни, в Беларуси читают и вспоминают куда чаще и охотнее, чем некоторых, отмеченных всевозможными званиями и премиями. Непростой характер (или манера поведения, или «слабости», которые могут проявляться в чем угодно) — привилегия авторов самодостаточных, которые знают настоящую цену своему творчеству. Но из-за этого и страдают. И нередко бывают очень одинокими. Таким был и Вячеслав Адамчик. Это одиночество особенно заметно в его дневниках, где он — если иметь в виду литературу и литературный процесс — уютнее всего чувствовал себя в компании великих: Достоевского, Бунина или хотя бы древних китайских писателей, прозу которых называл «серебряно-прозрачной». Это была не только оценка, но и одновременно поэтический образ, один из бесчисленных и в его дневниках, и в прозе.

Он и свои первые шаги в литературе делал в качестве поэта, и было это еще в школьные годы. «Что подтолкнуло меня написать свое первое произведение, то, оглядываясь далеко назад, на свое нелегкое, а теперь кажется, овеянное красой детство, могу сказать — чувство ритма и звука слова, его музыки, — как-то признавался писатель. — Помню, как замирала и возвышалась душа от первых стихов Богдановича, которые прочитал в учебнике. А потом к этому прибавилась поэзия Мицкевича (несколько его стихотворений знала наизусть мать), польский и белорусский фольклор, незабываемая книжка Янки Купалы, что лежала на столе у хлопцев-сирот, как Библия под иконами. А потом, конечно, исподтишка появилось и первое желание написать стихотворение, как написал Якуб Колас в двенадцать лет... Писал втихаря, только для самого себя. А потом уже — и твердое желание и жажда напечататься».

Желание было таким большим, что он пешком носил свои первые поэтические опыты в дятловскую районную газету, которая находилась в пятнадцати километрах от его родной деревни! К счастью, в газете работал редактор, который, как потом писал в своих воспоминаниях Вячеслав Владимирович, «тоже имел грех рифмовать и радость, что может наконец выдать себя за настоящего поэта перед застенчивым деревенским парнем». Кстати, родители будущего писателя были неграмотными, но, по его признанию, «были духовно богатыми людьми, жили честной жизнью тружеников и заботились о том, чтобы их дети учились». Правда, они не очень-то обрадовались, узнав, что сын хочет стать писателем. Мать вздыхала, мол, лучше бы ты учился на доктора. А отец и позже мог махнуть рукой и сказать: «Наш унь завбазы живет куда лучше тебя».

Лучше не лучше, но писательская жизнь (разговор идет, конечно же, о настоящих писателях-тружениках), действительно, не из легких. «Чужая вотчина», — вспоминал Вячеслав Адамчик, — рождалась в голодные студенческие годы, но я вынужден был отступиться, чтобы проверить себя, и начал с рассказов, поставив перед собой немного злую цель: «Если из ста своих рассказов напечатаю один — буду писать!» Можно перечитать любое его произведение, чтобы убедиться: всю свою жизнь он «проверял себя». Поэтому у него нет проходных вещей, поэтому трудно в них что-нибудь вычеркнуть: абзац, предложение, слово. Это касается и крупных вещей: романов «Чужая вотчина», «Год нулевой», «И скажет тот, кто родится», «Голос крови брата твоего», составившие его знаменитую тетралогию о жизни западнобелорусской деревни от довоенного периода, когда она находилась под Польшей, до того времени, когда она оказалась под немецкой оккупацией.

Признание пришло к нему уже с первыми рассказами, которые сразу же заметила критика и возложила на их автора большие надежды. Надежды эти оправдались, и Вячеслав Адамчик уже в шестидесятые годы стал одним из самых ярких и самобытных белорусских новеллистов, автором таких замечательных творений как «Урок арифметики», «Сладкие яблоки», «Запах летних трав», «День ранней осени»... Его, действительно, не спутаешь ни с кем. У него свой стиль, свой язык. Он любил в произведении краски и детали. «Произведение может начаться даже с неприметного голого кустика лозы, который ты неожиданно из вагонного окна увидел среди белого заснеженного поля, — признавался писатель. — Ты проделал большой путь, миновал не одну станцию, слышал и видел нечто более значительное и достойное внимания, но пробежало время, ты забыл о том важном и достойном внимания, а перед глазами стоит тот голый, печальный (в оригинале, впрочем — «знябожаны», очень емкое и труднопереводимое слово) среди белого глубокого снега. Так запомнится, бывает, чье-то лицо, выражение глаз, слова, какая-то простая привычная деталь из чужого рассказа».

Вячеслав Адамчик не терпел в литературе фальши и безответственного отношения к слову. Как-то он назвал две «самые ясные» звезды на «невысоком

С Василем Быковым.

небе» белорусской литературы: Купалу и Богдановича. Это была очень высокая планка, и у него вызывали иронию, а то и раздражение те, кто даже не пытался «взять» ее, а просто «проходил» под ней с видом чуть ли не гения. Какое место Адамчик отводил себе в писательском сообществе? Об этом нет ни слова, ни намека в его дневниках. Нет ни самопринижения, ни самовосхваления. Может, разве что — самоудовлетворенность, но та, которую чувствует крестьянин, настоящий хозяин, любящий труд, работающий от темна до темна, о каких говорят в деревнях: «душится». Но забери у него эту работу — все равно, что забери у него жизнь. Казалось, свежие, оригинальные образы он не придумывал — он сквозь них смотрел на этот мир. Хоть, конечно же, не они главное в его прозе, а то, что сам писатель когда-то определил для себя в качестве первейшей и — добавим — наисложнейшей задачи: «В книгах хочу показать трагизм человеческой души, очарованность души и ее слом, столкновение между добром и злом, порывы человеческого сердца и его неволю». Не в этой ли фразе и ключ к разгадке и пониманию его творческой судьбы, его души?

Он чувствовал свою ответственность перед литературой и перед историей. И большие надежды возлагал на молодых — раскрепощенных в своих литературных опытах, на их поиск и пристальное внимание к новейшей всемирной литературе. Поэтому и любя Кузьму Чорного, он особенно подчеркивал его новаторство, относя роман «Земля» и рассказ «Сентябрьские ночи» классика к «самым найвеликшим, с яркими красками импрессионизма экспериментам в прозе». При всех оговорках, думается, его надежды на молодых, а точнее, на новейшую белорусскую литературу, сбываются. Верить в это помогает ее сегодняшняя многоликость, многожанровость, ее попытки заявить о себе в самых разных направлениях. Когда-то о подобном можно было только мечтать. Сегодня она может позволить себе поиск, эксперимент. Даже игру. Поскольку крепок не только фундамент, на котором она держится, но и сам сруб храма, имя которому — литература. Величественного, благодаря таким личностям, как Вячеслав Адамчик.

Алесь БАДАК

Отец

Слово о папе моем Чесе Адамчике

2001—1959. Впечатлительность

Папа считал, что я очень впечатлительный, поэтому оберегал от плохих новостей и малоприятных зрелищ. Как пошла такая заведенка с детства, так и продолжалась всю нашу жизнь. Папа, если бы только мог, то и на собственные похороны не пустил бы меня. Действительно, меня сильно впечатляют даже мелочи и малозначительные явления, но это не мешает мне действовать жестко и быстро, ведь я излишне впечатлительный, а не боязливый.

2010—1962. Дергай и лирика

«Проведаем старика Дергая?» — спрашивает отец. «Проведаем». Мы заходим в прокуренную однокомнатную квартиру, что в третьем подъезде на первом этаже. Поэт Дергай живет в нашем четырехэтажном бело-кирпичном доме,

который стоит на углу Коласа и Ломоносова. Дергай любит сине-дымный табак и густо-янтарный чай. Он делает мне полстакана сильного и сладкого, как яблочное повидло, дергаевского чая. Много позже я узнаю, что у отца в двадцатые годы прошлого столетия была в Минске собственная столовая, в которой закусывали даже Купала и Колас. А тогда, стоя возле этажерки с белорусскими книгами, я пил горячий напиток маленькими глотками. Мужчины курили у открытого в летний город окна. Мужчины говорили о поэзии. Курить табак, пить чай, рассуждать о стихах: три правильных взрослых мужских дела, которые хорошо делать в воскресный солнечный вечер. Так я думал в детстве, стоя в однокомнатной квартире с низким потолком поэта Дергая, да и теперь так думаю.

1973—1964. Медведь и часы на цепочке

Меня, маленького, папа водил на елку в Союз писателей. Там устраивали развлекательные игры с викторинами, танцевали Дед Мороз со Снегурочкой, показывали мультфильмы и раздавали подарки — картонные коробки с печеньем и конфетами. Больше всего меня впечатлял медведь. Даже не сам артист, переодетый в коричневого большеголового мишку, меня радовал, больше привлекали его круглые, посаженные на цепь часы. Те часы были покрашены желтой, можно сказать, золотой, краской. Черные стрелки неутомимо показывали без пяти двенадцать, показывали вечно-праздничное новогоднее время. Танцуя с медведем, я мечтал поскорее вырасти и приобрести круглые часы на цепочке... В художественном училище я откладывал деньги из стипендии и наконец насобирал семнадцать рублей на свои первые часы — круглые, карманные и с цепочкой. Носить их не смог, неудобные.

1965. Дуся Лось

Был ласковый, теплый, сентябрьский день, и папа наш сидел с детской коляской во дворе. Мать побежала за хлебом в магазин, на улице Кузьмы Чорного, а папа остался с коляской, в которой спал наш Мирик. К папе подошла поэтесса Лось и стала его стыдить: «Ты, Чесь, творец. Ты — писатель. Ты должен заниматься литературой, а не качать детей!» Дуся не заметила, что наша мама возвратилась из хлебного магазина, и громко, на весь двор прочитала краткую лекцию о правильном поведении белорусского писателя и его близких. «Евдокия Яковлевна, может, Вы нам наймете няньку, чтобы за ребенком смотрела? Чесь будет писать с утра до вечера, а я целыми днями буду сидеть в библиотеке и выдавать книги...» Дуся не смутившись отмахнулась от маминых слов, как будто была права. И действительно же была! Родители мои стали нанимать нянек, и они смотрели за Мириком, пока он не пошел в ясли.

1981—1963. Папа и Санги

С нивхским поэтом Владимиром Санги папа познакомился и подружился на Высших литературных курсах в Москве. Нивх Санги внешне был чем-то похож на знаменитого японца Исикава Такубоку, во всяком случае, его облик мне запомнился таким. После учебы папины пути и пути Санги почти не пересекались. Последний раз друзья встретились опять же в Москве на Съезде советских писателей в 1981 году. Папа поинтересовался, не получил ли Санги какую-нибудь высокую награду или премию. На что тот рассмеялся и ответил: «Нивхам премий не дают!» Отцу ответ понравился, и при каждом случае он повторял за своим давним товарищем, что нивхам (читай — белорусам) больших премий не дают.

2001—1953. Рассказы

Папа рассказывал, что в молодости он решил написать сто рассказов. «Если хотя бы один из ста напечатают, буду писателем!» Свой первый рассказ он послал в белостокский еженедельник «Ніва», и за это папу исключили из университета. «Студент, который учится в СССР, не должен посылать письма в панскую Польшу», — услышал отец от университетского начальства. Второй папин рассказ потерял редактор — Максим Танк. Казалось, нужно покориться и бросить писать, но отец верил в себя. Не зря верил, потому что его внуки изучали папины образцовые рассказы в школе. У меня с литературным делом было немного по-другому. Я задумал написать десять рассказов, чтобы стать профессиональным писателем. Мой первый рассказ назывался «Слон», а напечатала его Рая Боровикова 11 сентября 1985 года. Как же давно все это было... 11 сентября 2001 мать увидела по телевизору разрушение Америки. Она подхватилась с дивана и побежала по квартире, чтобы поделиться с нашим отцом ужасной новостью. Ее так потрясла увиденная война, что она даже забыла, что отец умер.

2008—1970. Больница на Академической

Шел по улице Академической и рассматривал ледянисто-белые корпуса больницы. В одном из них я когда-то лежал. Схватило живот, и так схватило, что слезы из глаз брызнули. Отец вызвал «скорую», и меня — пятиклассника — привезли в холодную больничную палату. Неделю я мерз в больнице с подозрением на аппендицит. Боль отпустила еще в больничной машине, но доктора ждали повторный приступ. Его все не было и не было. Я лежал на железной кровати и читал роман «Философский камень» Сартакова. Читал скучные страницы про сибирских красноармейцев и гражданскую войну в голодной России. Читал и надеялся найти что-то умное про таинственный философский камень. Наивность школьника провела меня через весь толстый роман. Из больницы я вышел с книгою в руке. «Ты что, читал эту дрянь?» — спросил удивленный отец. Он никогда не позволял себе читать бездарные книжки. Тогда я промолчал. А теперь? Теперь, стоя на улице Академической, я мог бы снова прочитать «Философский камень», чтобы за это мне дали возможность на одну минутку увидеть папу. Я даже согласился бы терпеть лютую боль в животе, чтобы на одно мгновение снова взглянуть на папу. Только папы давно нет среди живых, и мои рассуждения и воспоминания ничего не меняют для других, но они меняют мир, который вижу я. Корпуса больницы на улице Академической выглядят теперь не такими безнадежно-белыми, как минуту назад.

2010. Место встречи

Воскресным утром шел по проспекту Независимости. Вдруг что-то будто толкнуло меня, и я остановился на том месте, где в последний раз случайно встретил на улице еще живого, но уже смертельно больного отца. Прохожие шли мимо меня, а я стоял и стоял, потому что остолбенел. Явился отец. Теперь он совсем прозрачный и еле слышимый. Отец-покойник сказал, чтобы я постоял рядом с ним еще минуту. Я спросил у покойника, как ему там без нас терпится. Он ответил, что существует тихо-мирно. Днем, на том самом месте, я встретил мать. Она несказанно обрадовалась нашей случайной встрече, обняла меня, и я поцеловал ее в щеку.

2010. Непрочитанные библиотеки

У меня много книг, среди них много недочитанных и нечитанных совсем. Моя библиотека больше меня, она больше моей жизни. У меня не хватит времени

прочитать все приобретенные и расставленные на полках книги. Какое-то время это мрачное открытие и смущало, и беспокоило, и нервировало... Теперь я смирился с простой мыслью, что всю свою библиотеку не прочитаю, как не прочитал свой книгосбор мой покойный отец.

2010—1990. Николай, дорога и брат

На работу и с работы папа ездил на государственной «Волге». За рулем той легковушки сидел Николай. Несловоохотливый, преданный делу, большой профессионал. За всю свою трудовую деятельность он только однажды попал в дорожно-транспортное происшествие, но даже и то происшествие произошло по вине других людей. Но судьба у Николая была драматической. Поздно вечером он, возвращаясь из гостей, переходил улицу около минского завода холодильников. Какой-то шоферюга сбил Николая, сбил и оставил умирать на обочине. На серой придорожной траве Николай и скончался. Было то давно, а сегодня Николай несколько раз появился в моих снах. Появится, постоит и исчезнет. Тяжелое зрелище. Тяжелое, потому что как раз сегодня мой брат уехал на машине из Минска в Венецию. Волнуюсь.

2010. Часы

Пожаловался матери, что от жары опухает рука и становится неудобно носить часы. На что мама сказала: «А я уже лет девять их — свои наручные часы — не ношу. Как наш отец умер, так я и перестала носить часы...»

2010. Молоко

Сегодня День рождения папы. Поэтому вчера я ходил на Кальварийское кладбище, где он почивает. Возвращаясь, я сидел в метро рядом с молодой женщиной, от которой сильно пахло младенцем и женским молоком.

2011. Место

Над могилою папы и через полтора года как бросил курить, хочется глубоко затянуться табачным дымом.

2011. Тьма

Мать говорит, что ей не хватает папиного храпа. Он ее раздражал, много ночей она из-за того храпа не могла уснуть, а теперь то отцовское похрапывание вспоминается совсем иначе... Просыпаешься, вслушиваешься во тьму, и кажется, что сейчас услышишь храп. Услышишь и скажешь: «Слава, ты так храпишь, что я уснуть не могу». Он проснется, перевернется на другой бок и скажет: «Нина, ты сразу не засыпай, потому что тогда я из-за твоего храпа до утра спать не буду. Давай мы попробуем уснуть вместе...» Почти десять лет как папы нет с нами, а мать все вслушивается во тьму.

2011. Летние травы

На проспекте остановился перемолвиться словом со знакомым собирателем белорусской живописи. Неожиданно для меня он сказал, что в самом начале лета

снова перечитает папин рассказ «Запах летних трав». Он перечитывает этот рассказ каждый год, потому что и у него была постоянная дорога из столицы в родную деревню. Отец точно описал настроение, с которым возвращаются домой. Возвращение, после которого на какое-то мгновение тебе кажется: «что ты нигде не был, что жил дома, что это же самое было вчера, позавчера, год назад, два и больше...» Книгу отцовских рассказов «Миг молнии» я полюбил с юности, и тоже много раз ее перечитывал. После встречи с папиным читателем снова полистал «Запах летних трав», снова остановился на фрагменте с солнечно-желтым люпином: «Автобус тряхнет — оборвутся мысли. И будешь снова смотреть в окно, будут мелькать белые столбики — один за другим — у мостика, и издалека на пригорке будет виден люпин — весь в цвету, как солнце, и вдруг он запахнет густым теплом, легкою песчаною землею, и кто-нибудь, даже приподнимаясь, скажет: «Ой, как красиво!» Пойдут далекие угрюмые леса...» Скоро лето.

2011. Дубы и желуди

Каждое утро в парке пробегаю по дубовой аллее. Осенью я там даже останавливаюсь, чтобы поднять пару желудей, потому что люблю, чтобы на книжной полке лежал желудь, это у меня от отца. Еще в детстве я с ним ходил любоваться высоким городским дубом на улице Чернышевского. Под тем дубом мы брали по паре-тройке желудей. Папа рассказывал про желудевый кофе, который варила наша баба Броня. Тот кофе я попробовал только однажды, вкусный. Если с молоком и сахаром, очень вкусный. Сам я никогда и не пытался варить желудевый кофе. Перед пробежкой выпиваю чашечку крепкого черного кофе. В парке, в дубовой аллее я стал замечать мужчину, который обнимает дуб. Мне даже стыдно было смотреть на того мужчину, потому что он обнимал дерево, как человека, как женщину. Я сначала подумал, что у этого мужчины действительно какие-то интимные взаимоотношения с деревом, ведь он все время прислонялся к одному и тому же, самому могучему в аллее стволу. Мои подозрения не подтвердились, а напротив, разрушились, потому что мужчина стал приводить к своему дубу дочь и жену. Они обнимали дуб втроем. Делали они это серьезно, по крайней мере, с напряженными лицами, на которых лежал восковой свет религиозного чувства. Я не стал мешать такой деревянной молитве, но и маршрут менять не собираюсь. Как бегал я через дубовую аллею на улице Янки Купалы, так и бегать буду.

2011—2001. «Сыбота»

Папа всегда говорил «сыбота», а не немного русифицированное «суббота». Он в белорусской литературе принадлежал к так называемому филологическому поколению, которое старательно работало со словом и его диалектными вариантами и окрасками. Споры о разнице между «зараз» и «цяпер», о «мусіць» и «мабыць», о «агарках» и «прыгарках» папины ровесники вели часами. В честь папиного поколения я в своем личном дневнике пишу не русифицированное «субота», а папино «сыбота».

2011. Забвение

Десять лет никто не видел папу. Десять лет изредка его видели только близкие в своих снах. Папу стали забывать...

2011. Квартирант

Нашей матери стало тоскливо жить одной в большой квартире. Всю свою долгую жизнь мама пробытовала с какими-то людьми, с людьми близкими и далекими.

В маминых квартирах всегда было много людей. Поэтому и пустила она квартиранта. Скромный студент поселился в папином кабинете. Через несколько дней квартирант пожаловался, что как только он засыпает, приходит хозяин кабинета, берет его за шкирку, как какого-то котенка, и выбрасывает в ванную комнату... Мать посмеялась над впечатлительностью квартиранта и посоветовала сходить в костел, купить свечечку, зажечь и поставить под образом Христа. Так оно и произошло. Тень папы больше не выбрасывала квартиранта из кабинета. А еще квартирант очень радовался тому, что его выбрасывали в ванную комнату, а не в окно на четвертом этаже.

2012. Холщовые обложки

Папа не любил книг в бумажных обложках, хотя много его книг вышло именно в таких. Он уважал обложки картонные, оклеенные серым холстом. В таком виде вышли только две прижизненные папины книги: романы «И скажет тот, кто родится» и «Чужая вотчина». Оформление делали художники Селещук и Шеверов, сделали хорошо, учли едва ли не все требования автора.

2012. Отклик

Ровно одиннадцать лет как папы нет среди нас, а произведения его все еще читаются, перечитываются, звучат и на них есть отклик.

2012. Генрих и воспоминания

На Лысогорских дачах, куда не езжу, потому что не люблю сталкиваться с графоманами и графоманшами, к матери подошел Генрих. Он предложил написать воспоминания о нашем папе, если мы хорошо заплатим. Генрих пообещал воспоминания и от Алеся и Евгена, если мы хорошо заплатим. Мать сразу отказалась от творчества Женика, потому что тот уже написал и издал посредственную книгу о папином творчестве. От воспоминаний Генриха и Алеся мать тоже отказалась. Разумно. Алесь уже написал и напечатал свои дневниковые записи, где о папе написано довольно много. Думаю, что и Генрих что-то написал. Только нужно ли оно нам? Нет. Мать сказала, что ей воспоминания «железных мальчиков» (так называли Алеся, Генриха и Евгена, когда они воевали с критиком Адамовичем) не нужны. Если бы «мальчики» попросили денег на водку, мать нашла бы им бутылку или одолжила бы пару рублей, но они пошли другим путем и остались без выпивки.

2012. Школа

Хорошая весть пришла из Новоельни... Школа будет носить имя Вячеслава Адамчика. На здании школы и на доме деда установят мемориальные доски в честь папы. Родина не забыла своего героя, что радует.

2012. Лишний вес

Пожаловался матери, что, бросив курить, набрал лишние семь килограммов. Мама посочувствовала и рассказала, как, бросив курить, тоже стала набирать вес: «Если бы наш папа, мой Чесь, был жив, так ради него похудела бы. А так... Мне было все равно, как я выгляжу. Теперь я слежу за собой, чтобы ходить и никого не беспокоить своим присутствием в этом мире». Мама, как всегда, была права. Мы следим за собой ради других, а не ради себя. Нам и хотелось бы — ради себя, а все равно мы худеем, бросаем пить и курить ради других, ради любимых.

2013. Три события

Задумался о событиях и своей жизни... Чтобы не углубляться в бесконечный пересчет дат, я ограничил себя числом «три». Из событий, которые встряхнули мир во время моей жизни, выделил следующие: полет человека в космос, война СССР с Китаем и масштабный террористический акт 11 сентября 2001 года в США. Три значительных события в жизни Беларуси связаны у меня с другими датами: автокатастрофа, во время которой погиб руководитель республики Машеров, взрыв на атомной станции в Чернобыле, провозглашение независимости в 1991 году. Личную жизнь я мог бы обозначить следующими судьбоносными событиями: поступление в художественное училище, рождение дочери Яди и смерть папы в 2001 году. У других иное, а у меня пока так...

Адам ГЛОБУС

Перевод с белорусского Натальи КАЗАПОЛЯНСКОЙ.

«Бацькаўшчына родная, як кроў...»

В 1980 году, когда мне было двадцать лет, в коридоре редакции журнала «Маладосць» я познакомился с Адамом Глобусом. Спустя какое-то время Володя пригласил меня к себе в гости. Тогда я и узнал, что отец моего нового друга — известный писатель Вячеслав Адамчик. В квартире Адамчиков я познакомился с Мирославом Шайбаком, Максимом Климковичем, Владимиром Степаном и Владимиром Сивчиковым. Мы писали хокку и часто собирались у Глобуса. Читали стихи, спорили, мечтали вслух. Вячеслав Владимирович, возвратившись с работы, иногда заглядывал к нам в комнату, интересовался, как наши дела. Часто, когда он был дома, его вроде и не было. Честно говоря, я даже побаивался Вячеслава Владимировича из-за его немногословности. Теперь понимаю, почему он так себя вел — он просто не вмешивался в наши дела, давал нам свободу. И все же его присутствие ощущалось даже и тогда, когда его не было дома. Помню, мне всегда хотелось заглянуть в рабочую комнату писателя, чьи произведения я начал читать. И однажды, когда Вячеслава Владимировича не было дома, я зашел и осторожно прикоснулся к печатной машинке, которая стояла на столе. И мне этого хватило, чтобы почувствовать что-то неизъяснимо большое, неповторимое.

Шло время, и я в 1985 году уехал учиться в Москву. Возвратившись, стал работать в журнале «Беларусь», где изредка встречался с Вячеславом Адамчиком. Писатель интересовался моими делами, семьей. Потом я перешел работать в газету «Наша слова», помещение которой находилось далеко от улицы Захарова. Из-за работы и маленьких детей не было времени ходить по редакциям и к друзьям. И тут вдруг в 1995 году в один весенний день мне позвонил главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва» Микола Гиль и предложил перейти к ним на работу ответственным секретарем. Я согласился. Вечером, когда я рассказывал жене, что пойду работать в «ЛіМ», зазвонил телефон. Я поднял трубку. Звонил Вячеслав Адамчик. Он сообщил мне, что сотрудники редакции журнала «Бярозка» решили пригласить меня к себе на работу и он по этому поводу звонит мне. И если бы я уже не решил идти в «ЛіМ», то с радостью пошел бы работать в «Бярозку», где главным редактором был мой любимый прозаик Вячеслав Адамчик...

Балада Вячаслава Адамчыка

(1.11.1933—7.08.2001)

...А Бацькаўшчына родная, як кроў,
Што праз бінты, як — межы, праступае,
І пры чужых чужою не бывае
Зямля, дзе ты свой шлях і крыж знайшоў,
Дзе кожны крок твой, як да Бога крык,
Што мы жывём і будзем жыць у свеце,
Дзе нашы хаты, замкі, храмы й вецер
Таксама наш, бо ён да нас прывык
І для яго цяпер няма мяжы,
І камень, што нязрушаны, не зрушыць
Ніхто, бо гэты камень з нашых душаў,
Ён Беларуссю нашаю ляжыць
Сярод Еўропы, у якой твой крыж
У травах не губляецца, світае,
Бо наша Бацькаўшчына — нам святая
І ты ў яе душы, як зніч, гарыш...

26.06.2008

Виктор ШНИП

Белорусская Йокнапатофа

С режиссером Валерием Рыбаревым мы разговариваем о его экранизациях произведений Вячеслава Адамчика. Он проводит параллель: Уильям Фолкнер создал воображаемый округ, целую страну Йокнапатофу, где происходило действие большинства его романов (даже нарисовал подробную карту со всеми городками, лесами, дорогами). У Вячеслава Адамчика — тоже, свое, особенное пространство: местечко с узкими улочками, полустанок, осенние пейзажи. Его проза легла в основу значительной части кинематографической белорусской Йокнапатофы Валерия Рыбарева.

В руках Валерия Павловича — сборник прозы Адамчика: потертая обложка и множество закладок между страницами. Наш разговор, превращенный на страницах журнала в монолог, чем-то похож на этот сборник. Мы двигаемся от закладки к закладке, от названия к названию, от имени к имени, пытаясь проследить, как появлялась и исчезала белорусская Йокнапатофа.

«Живой срез»

Всякие сложности были почему-то с Адамчиком...

Я работал вторым режиссером, ушел в документалистику и пытался перейти в художественное кино. Но на «Беларусьфильме» по разным причинам нельзя было получить дебют. И когда я понял, что на студии мне не дадут снять киноновеллу, поехал в Москву, в объединение «Дебют».

В объединении «Дебют» предпочитали экранизации русских писателей и Адамчика не приняли. Но Андрей Кончаловский, посмотрев мои документальные фильмы («Немую скрипку» и «Тонежские бабы»), согласился быть художественным руководителем и поддержал меня. Из многочисленных заявок, объеди-

«Чужая бацькаўшчына».

нение приняло рассказ сибирского писателя Виктора Потанина «Белые яблоки». Рассказ был о садовнике, который выращивал яблони в сибирской деревне, а рядом живущий пьющий мужик как-то по пьянке спилил несколько деревьев...

Объединение предложило своего сценариста, и я вернулся в Минск работать. Я хорошо понимал, что выходить в большой кинематограф нужно только с национальной темой. Сценариста я отправил обратно в Москву. И вдохновленный, наполненный прозой Адамчика, за десять дней написал свой сценарий, и мы начали снимать фильм. У меня была замечательная группа. Оператор — Феликс Кучар, который стал оператором всех моих картин. Художник — Евгений Маркович Ганкин. В главной роли — Владимир Гостюхин. В «Живом срезе» впервые у меня появился мотив пустынного полустанка — важный мотив для Адамчика.

Когда я привез картину, в объединении «Дебют» разгорелся скандал, который погасил Андрей Кончаловский. Он просто спас меня. Фильм был принят, и я поехал с ним по фестивалям. Но впереди меня ждали новые испытания.

«Чужая бацькаўшчына»

Прошло несколько лет, прежде чем я запустился с «Чужой бацькаўшчынай». Картина снималась в горячечном состоянии, в невероятно сложных условиях. Ничего не было: ни реквизита, ни костюмов. Даже не знаю, как мы сняли фильм. Но было еще не тронутое временем местечко Ивье, сохранилась там старая улочка с еврейскими домами, интерьеры для чайной и полицейского участка, хата с земляным полом. Это было единственное место, в котором можно было воплотить время и реализовать мотивы романа.

Обходились минимальными средствами. Но включена была некая предельная энергия, и картину удалось снять. Со мной работала замечательная творческая группа единомышленников: оператор Феликс Кучар, художник-постанов-

щик Евгений Игнатьев, художник по костюмам Ирина Гришан. Все были заряжены материалом.

Противостояние чиновников — и наших, и московских — было жестким. Заместитель председателя Госкино СССР Борис Павленок дал указание об изъятии из фильма главного героя, Мити. Должна была быть мелодраматическая история Алеся — Имполь и никаких сложных проблем Западной Белоруссии. Я горько шутил: «Ребята, они хотят, чтобы наш фильм был без времени и вне пространства — они в своем уме?» Эпизоды с Митей мы снимали тайно, и не показывали этот материал до окончания съемок.

Когда сдавали фильм в Госкино, в зал вошел Павленок, и как только он увидел кадры Западной Белорусии — вышел, хлопнув дверью. В Минск пришло заключение: «Рыбареву не давать художественных постановок, пусть возвращается в документальное кино. Фильм перемонтировать и перевести на русский язык, назвать фильм «Чужая вотчина» и выпустить малым тиражом».

Но я ничего не изменил. Время шло, в Москве фильм посмотрели критики. Вышла статья Льва Аннинского и пошли слухи, что в Беларуси создана картина, которая эстетически отличается от всего, что в то время снималось.

В результате на киностудию «Беларусьфильм» пришло приглашение фильма на Всесоюзный фестиваль в Ленинград.

Земля под ногами — почва в буквальном смысле. Надел, за который могут убить. Земляной пол в хате. Абсолютная достоверность дверей и стен, скамеек, утвари, обстановки. Ощущение старой белорусской деревни — как этого добиться в павильонной «выгородке»? Валерий Рыбарев снимает не в павильонах, он снимает в старых крестьянских избах. Широкоугольный объектив протискивается из угла в угол, подолгу застывает на общих планах, чтобы мы могли рассмотреть детали, предметы, едва высвеченные скудным светом из маленького окошка, «вязко» провожает героев из комнаты в комнату — события монтируются внутри кадра без склеек, долгими проходами, долгим движением по реальным интерьерам... землю не склеишь.

Земля под ногами — это у Рыбарева весь ритм киномышления. Пока герой идет к нам от дальней изгороди, пересекая улицу и двор, режиссер держит кадр, проживая экранным временем все долгие натуральные секунды, его интересует не результат (результат проще смонтировать склейкой: пошел — пришел), его интересует реальное время, и он его переносит в фильм: время, какое нужно герою, чтобы пересечь двор. Время живой жизни.

Лев Аннинский, «Земля под ногами».
Журнал «Кино» №9, 1983 г.

Стась

Стась — это мой талисман. Впервые он появился в «Живом срезе». Мы искали натуру. Остановились в Логойске, обедаем в столовке, и вдруг я вижу в окно, как по площади идет здоровый мужчина в майке (а была уже глубокая осень), лысый, с мощными руками, держит под мышкой двухпудовую гирю, и за ним, как лошадь, бежит худая корова. Я спрашиваю: «Это кто?» Местные мужики смеются: «Это Ста-а-ась. Наш поэт...» И тут же рассказали, как он выбросил в окно двух грузчиков, которые пытались посмеяться над ним. Мы с ним познакомились. Работал он грузчиком. Он жил один в старом, ветхом доме под косогором, и весной его всегда затапливало. Он сделал огромный земляной вал. Жил одиноко. Но общение любил. Писал стихи, похожие на Уитмена. Стась сразу стал персонажем моих картин. Впервые он появился в «Живом срезе», а потом в

«Свидетеле». На съемку «Меня зовут Арлекино» он пришел со стихами французского поэта Беранже. «Что ты читаешь?» — спрашиваю. «Беранже-е-е... Видишь ли...» Листает. «О! Слухай!» И читает мне стихи. Так и сняли его. Хотел снять о нем отдельный фильм, но не получилось...

«Голос крови брата твоего»

Вы меня возвращаете к самым неприятным и драматическим событиям в моей режиссерской жизни. «Голос крови брата твоего» — это особая драма и в моей судьбе, и для киностудии «Беларусьфильм». Все уже было готово, найдены и утверждены актеры. Снимать мы должны были на местах, где реально происходили события романа, в Несвиже. Готовились костюмы и были сделаны пробы актеров. Тогда у меня была независимая студия Союза кинематографистов «Ард фильм». Решено было снимать картину совместно с «Беларусьфильмом». Киностудия по договору должна была обеспечить необходимым реквизитом, костюмами, игровым транспортом и пленкой «Кодак». А Чесю должна была играть польская актриса. Ничего особенного в этом не было. На студии уже не первый раз снимали на такой пленке, и в белорусских фильмах играли зарубежные актеры. Но мне была необходима только такая высокочувствительная пленка. Только она позволяла снимать в темных коридорах и казематах казармы в Несвиже. Я никогда не снимал в фальшивых декорациях.

«Беларусьфильм» не выполнил свои обязательства. Это было время начала распада студии, атмосфера там была далека от творчества. Думаю, и в высоких инстанциях такого фильма не ждали.

«Голос крови брата твоего» был закрыт. Вспоминаю это с болью.

«Чужая бацькаўшчына».

«Чужая бацькаўшчына».

Картина «Голос крови брата твоего» уже была готова во мне. Замысел затвердел, принял зримую форму. Только снимай. Но не получилось. И не реализовалось многое... И белорусской Йокнапатофы не получилось.

Вячеслав Адамчик

Я сразу был пленен его рассказами: о тоске юношеских переживаний, об ожидании любви, о трагических ее исходах. Его проза была образная, чувственная, изобразительная, стимулировала видимость будущего киноизображения. Меня всегда удивляло, почему белорусские кинематографисты не замечают ее.

В нем не было шаблонных качеств писателя, не было позы, он не любил глубокоумных бесед. Писателя в нем выдавали только глаза, внимательные, острые, немного насмешливые. И мне казалось, что в них таится молчаливая потаенная грусть.

Вячеслав Адамчик — самый близкий мне белорусский писатель. Я навсегда сохраню привязанность к его таланту. Мы должны быть благодарны Вячеславу Адамчику за его человечность, за любовь к своей земле.

Беседовала Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ

АЛЛА БАКШТАЕВА-ВАНЬКЕВИЧ

Глазами ребенка

По моей жизни шагает 77-й год. И одному Богу известно, сколько раз я буду встречать скорбный день 22 июня и буду ли встречать его вообще. Поэтому мне захотелось рассказать о том, что я, будучи совсем маленькой девочкой, пережила за годы войны. О чем думала, чего хотела, что сохранилось в памяти до сегодняшнего дня.

Да, я не была в оккупации. Не переживала блокаду. Меня не прятали партизанские леса. Я жила в Сибири, в глубоком советском тылу. Но в суровое военное лихолетье это тоже было несладко. Свидетельством тому — мои воспоминания, воспоминания эвакуированного ребенка.

Смею заверить, что в экстремальной ситуации маленький человек быстро взрослеет. Обостренная память фотографирует происходящее, фиксируя все (вплоть до непонятных выражений и трудных географических названий), и сохраняет это навсегда. Но жизнь, как известно, рано или поздно заканчивается. И чтобы вместе с ней все пережитое не кануло в Лету, я решила «пристегнуть» к бумаге свою память о войне...

...Мне нет еще и четырех лет. Я счастливая девочка. Меня очень любят мама и папа, обожают дедушка и бабушка. Мною восхищаются знакомые. Всегда просят почитать стихи: «Стоял в лесу домишко...», «Лесом частым и дремучим...», «Как-то летом на лужайке...» и много других. Я читаю с удовольствием, выразительно, не могу без жестикуляции.

...Теплый солнечный день. Небо голубое-голубое. Мама, наша знакомая врач Фанни Ефимовна и я возвращаемся домой из совхоза с купленным там молоком. Взрослые идут по дамбе, я бегаю по лугу, собираю цветы. Вдруг вижу, как навстречу спешит папа. Он очень взволнован. Его волнение мгновенно передается маме и Фанни Ефимовне. Слышу часто повторяющееся слово «война». Я не знаю, что это такое, но чувствую — это страшно.

Наступает новый безрадостный день. Стучат в дверь и приносят какую-то бумагу. Бабушка, увидев ее, плачет навзрыд. И начинает собирать дедушкины вещи.

В памяти грузовая машина, в кузове которой стоит дедушка и быстро-быстро ест. Он не успел позавтракать, и бабушка принесла его тарелку с едой прямо в машину. Я смотрю на все это и ничего не могу понять. Почему он не поел за столом, а потом бы уезжал?

Проходит день или два. И точно так же, рыдая, мама собирает в дорогу папу. Машина ждет его и других мужчин не на базарной площади, как дедушку, а на соседней улице, напротив здания, которое все называют сельсоветом. Папа залезает в машину первым, нагибается и подхватывает меня на руки. Почему-то запомнилось, что пол кузова, особенно в уголках, был оранжевый от кусочков кирпича и кирпичной пыли. И еще — на улице тепло, а папа в пальто из серой ткани в темную елочку и в кепке. Машина наполняется другими мужчинами, и папа, крепко поцеловав, опускает меня на руки своему дяде, потому что мама постоянно обмирает и ее поддерживают. Мне страшно. Все плачут, и я тоже.

Какой был день и какое число — не помню. Но это была первая бомбежка местечка Смольяны. Наш дом стоял в центре, на базарной площади. И поэтому мы все: мама, я, бабушка и родственники дедушки, пришедшие к нам из горящей Орши, побежали к реке, на луг, где я совсем недавно, радуясь, собирала цветы. Но и сюда упала бомба. Все рассеялись. Мама схватила меня в охапку, и мы спрятались в ямку под кустом. А там так плохо пахло: в ямке лежала мертвая собака. Мама вытащила ее за ноги, пахнуть стало не так сильно, но зато нас атаковали большущие муравьи. Они искусали все тело, лезли в нос, в уши. Ярко светило солнце, стояла жара. Хотелось пить. Но я терпела, чему потом очень удивлялась мама.

Бомбежка продолжалась. Местечко горело. Это было видно из нашей ямы. И меня удивляло: как это горит, а огня не видно? Видно только, как становились пепельными и проваливались вниз крыши домов. А мама постоянно шептала: «Господи, хоть бы наш дом уцелел!»

Когда бомбежка прекратилась, мы, скрываясь под елями, ограждающими совхозный питомник, побежали к жившей неподалеку маминой подруге тете Лизе. Она заранее вырыла траншею в своем саду, накрыла ее досками, забросала ветвями. Только мы добежали до тети Лизы, надеясь спрятаться у нее в убежище, опять началась бомбежка. А убежище было уже заполнено соседями. И опять мы с мамой оказались в яме, образовавшейся от предыдущей бомбежки. Шум, грохот, взрывы. И вдруг тишина. Не знаю, сколько это длилось. Помню только, что меня придавило чем-то тяжелым и я начала задыхаться.

Позже мы с мамой узнали, что кто-то из сидящих у входа в траншею видел, в какую сторону мы побежали. А когда немецкие самолеты улетели, нас начали искать. Оказалось, нас засыпало землей. Откопали вовремя: мы еще были живы. Помню, как плакала бабушка. Она думала, что потеряла нас навсегда.

Понимая, что этот ужас мгновенно не закончится, взрослые решили все бросить и идти на восток. А тут еще бабушке попала в руки бумажка, кажется, синего цвета, которую все называли «листовкой». В ней было написано, что фашисты маленьких детей сажают на кол. Взрослые были в ужасе: «Аллочку на кол! Бежать, бежать!» И мы побежали в том, в чем стояли. Меня время от времени нужно было нести на руках, поэтому ни о каких вещах речи не шло. Вместе с нами уходила семья дедушкиной сестры тети Иры. Тетя Ира была полной женщиной, и мне запомнились ее ноги ниже колен, которые от ходьбы были стерты до крови. Из ее глаз постоянно катились слезы. Она стонала от боли.

Дни шли за днями. Помню тенистую лесную дорогу. Мы еле бредем по ней. И вдруг нас нагоняет на лошади наша хорошая знакомая из Смольян Мария Яковлевна Малаховская, та самая, которую я всегда называла тетей Муней, т. к. Маруся выговорить не могла. Радости не было предела. Тетю Иру и меня посадили на телегу. Остальные тоже время от времени по очереди давали отдых своим ногам. И все разговоры велись о том, что еще немного надо потерпеть и война закончится.

Как-то мы остановились на лугу. Распрягли лошадь (ей тоже нужен был отдых). Было тепло и солнечно. За лугом начинался лес. И вдруг на опушке появились красноармейцы. Хорошо помню, что стоящий впереди командир был одет в зеленую гимнастерку, темно-синие галифе и сапоги. На голове фуражка. Счастливые, мы бросились им навстречу. До сих пор стоит в ушах радостный крик тети Иры: «Родненькие наши, как же мы вас ждали!» А в ответ непонятный окрик на чужом языке и выстрел.

Потом мне объяснили, что это были немецкие диверсанты в тылу. Назад мы бежали еще быстрее. И во главе бегущих была тетя Ира. Страх — великая сила. Кто-то из взрослых схватил лошадь под уздцы, а в телегу впряглись сами люди. А мне было до слез обидно, что убегая, я потеряла свой маленький кулечек с изюмом, который не выпускала из рук много дней, его я берегла как зеницу ока даже тогда, когда хотела есть.

Будучи совсем ребенком и не имея ни малейшего понятия о географии, я без труда запомнила многое из разговоров взрослых. Помню, когда закончились земли Белоруссии и мы пошли по Смоленщине (именно там нас догнала на лошади тетя Муня). Потом была Калужская область, и бабушка очень радовалась этому, потому что недалеко находился город Белев, в котором жил и работал ее сводный брат Михаил. Бабушка считала, что он обязательно нас приютит. Но его жена не согласилась помочь сестре мужа, и мы опять отправились в никуда.

Не помню где, не помню как, но мы вместе с другими беженцами (уже без семьи тети Иры) очутились в вагоне для перевозки скота. Наш вагон прицепили к товарному поезду, шедшему на восток. На остановках вагон загоняли на самые дальние пути. Никто не сообщал, сколько мы будем стоять. И мама вместе с другими беженцами, чтобы набрать на вокзале бидончик воды, рискуя жизнью, проползала под вагонами нескольких стоящих составов, которые внезапно начинали дергаться то вперед, то назад.

С ужасом вспоминаю, как наш состав после необычно короткой стоянки отправился в путь, а мама не успела вернуться в вагон. Я плакала, бабушка не находила себе места. Мы не знали, что делать. Вдруг изогнувшееся железнодорожное полотно позволило нам из дверей телятника увидеть последний вагон и там, — о Боже, какая радость! — стоя в открытом тамбуре, мама махала рукой, давая о себе знать. Она успела вскочить в вагон, когда состав уже двигался.

Отчетливо помню, как ночью мы пересекали Урал и через открытую дверь увидели сказочное зрелище: высокий пограничный столб с подсветкой внутри и черными косыми полосами. Мне объяснили, что этот столб отделяет Европу от Азии. А что такое Европа и Азия — разве я могла понять? Тогда мне было известно только то, что в Европе было темно по ночам, а в Азии горело электричество.

С любимым папочкой. Декабрь 1939-го.

Еще из этого долгого пути помню название города — Серпейск. Там поезд стоял несколько часов, и бабушка, любившая красивые вещи, не удержалась от соблазна купить сахарницу с двумя маленькими ручками и изящным павлином посередине (она и сейчас хранится в нашей семье). Эта сахарница, принесенная в вагон, так не соответствовала тому что было вокруг...

Вонь, грязь, отсутствие воды... В конце концов, я заболела дизентерией. Бабушка, медик по образованию, ничем не могла мне помочь: ни лекарств, ни соответствующего питания. Силы были на исходе. Мама и бабушка постоянно плакали надо мной. Но случилось чудо. На одной из остановок в наш грязный вагон вскочил необычный хорошо одетый пассажир

с красивым желтым портфелем. Оглядевшись и увидев двух плачущих женщин, поинтересовался, в чем дело. Ему объяснили.

И вот подъезжая к очередной станции, поезд замедлил ход, а мужчина взял меня на руки и выпрыгнул из вагона. К нам бежали военные точно в такой же форме, которую я видела на опушке леса. Они кричали, они были разъярены, но какого-то документа из кармана моего спасителя оказалось достаточно, чтобы изменить их поведение. И вот я открываю глаза и вижу чистую комнату, яркий свет и белую простыню, на которой меня осматривает врач. Потом укол, какое-то горькое лекарство... нам дали с собой много лекарств. В вагоне этот мужчина доставал из своего красивого портфеля яблоки, скоблил их перочинным ножом и кормил меня этой кашицей часто и по чуть-чуть.

Позже я узнала, что это был очень высокопоставленный товарищ. Его звали Василий Андреевич Болдырев. Мама и бабушка пытались связаться с ним, чтобы еще раз поблагодарить за мое спасение, но безрезультатно. После окончания войны из каких-то источников стало известно, что его репрессировали.

Мы ехали в поезде до тех пор, пока не объявили, что дальше поезд не пойдет. Это был Новосибирск. Мы расположились на вокзале. Бабушка куда-то ушла. Ее долго не было. Мы начали волноваться. Наконец, она вернулась: ее, как медработника, направляют в райцентр Колывань. Мы садимся на пароход и плывем по реке Обь. Оказывается, этот город расположен на острове. Это место для ссыльных. И приехали мы туда 12 сентября. Запомнила эту дату, потому что это день рождения дедушки. Нас заселяют в пустующий двухэтажный дом. В нем холодно и мрачно. Мы вдвоем с мамой, а бабушка сразу же приступает к работе.

О том, что в городе все только и говорят о богатствах, которые привезли с собой беженцы, мы знали от тети Муни (она эвакуировалась с нами и устроилась работать на кожевенный завод). И вот в одну из ночей, когда бабушка и Муня были на дежурстве, нас решили ограбить. Но сделать это бандитам не удалось, а утром, когда бабушка и тетя Муня вернулись с работы, взрослые приняли решение не рисковать и снять комнату у хозяев. Хорошо помню адрес нового жилья: ул. Ленина, 30.

Наша хозяйка — полная розовощекая женщина по имени Дуся — жила с мужем, который почему-то не был на фронте, дочерью и сыном-пятиклассником Жорой. Мне они казались очень богатыми. По субботам топили собственную баню, приходили домой распаренные, счастливые и пили чай с вареньем. По вечерам обязательно варили картошку в мундирах. Больше всего мне запомнилась квашеная капуста розового цвета. Бабушка объяснила, что в этой местности люди при закваске капусты добавляют красную свеклу. А вот какая она была на вкус, я не знаю, попробовать нам не предлагали. Зато каждый вечер меня звали помогать чистить картошку. Обжигая пальчики, я с радостью делала эту работу, вдыхая вкусный запах вареной картошки. Когда картошка была почищена, меня отправляли в нашу комнату, никогда не угощая.

В один из вечеров Дуся высыпала из чугунка на блюдо сваренную картошку, одна картофелина упала на пол. Этого никто не заметил кроме меня. Выполнив в очередной раз просьбу хозяйки, я нырнула под стол и стала жадно есть упавшую картофелину. Жора заглянул под стол, рассмеялся и закричал: «Алка-воровка, она украла картошку!» На его крик выбежала мама, схватила меня, затащила в нашу комнату и стала бить, бить жестоко, нещадно. От горя, от переживаний, от голода, от обвинения ее дочери в воровстве она потеряла над собой контроль. Меня защитила бабушка. Несколько суток потом я могла лежать только на животе: спина и попка были иссечены прутьями (они стояли в углу, в какой-то посудине и зимой напоминали летний раскидистый букет). Когда бабушка уложила меня, обессиленную, не плачущую, а только всхлипывающую, в постель, открылась дверь и Дуся внесла в нашу комнату блюдечко с двумя картофелинами и щепоткой розовой капусты. Но мама, будучи женщиной гордой, отвергла подачку. Да и я уже после пережитого ничего не хотела.

Рядом с домом нашей хозяйки жили учителя — муж и жена. Муж был сердитый и скупой, а жена — мягкая и добрая. Она, зная о нашем бедственном положении, в отсутствие мужа перебрасывала через забор кое-какие овощи, за что наша семья была ей очень благодарна. И я в свои четыре с половиной года уже четко разделяла людей на жадных и добрых.

Вскоре на нашей улице оказался пустующим небольшой домик, и мы поселились в нем, чтобы не зависеть ни от каких хозяев. Мама к тому времени устроилась на работу в районную библиотеку. Я оставалась дома одна. В конце лета и осенью меня это не тяготило. А вот когда наступила зима... По улице не побегаешь. Все время под замком. Еще я узнала, что в этом доме жили старик со старухой, и прошлой зимой они оба умерли на печи, которая стояла справа от входной двери. Эта печь меня пугала, я не могла на нее смотреть: все время чудились мертвые старики, протягивающие ко мне руки, чтобы схватить. Это было ужасно. Единственное, что меня отвлекало, — окно на улицу. Правда, оно всегда было замерзшим. Но я подолгу дышала в одно место на стекле и в образовавшийся глазок наблюдала за происходящим на улице. А там почти каждый день маршировали будущие солдаты перед отправкой на фронт. Глядя на них, я чувствовала себя защищенной и забывала о зловещей печи.

Иногда солдаты почему-то не маршировали, но я все равно смотрела на пустую улицу, на дом напротив и представляла счастливые картинки своего довоенного детства...

...Вот приезжает бабушка. Рассказывает о Москве. Я мало что понимаю. Но вдруг она достает из чемодана кувшин, а в нем стеклянные елочные игрушки. Они блестят, переливаются, искрятся на свету. Я думаю, что эта красота и есть Москва.

...Ночь. Я крепко сплю и не слышу, как Дед Мороз приносит мне елку. Однако просыпаюсь почему-то задолго до рассвета. Недалеко от моей кровати стоит лесная красавица, и первое, что бросается в глаза — большая бабочка. Она висит на ветке, блестит от света уличного фонаря и покачивается. Мне хочется прыгать и петь от радости. Но мама и папа спят, и я с нетерпением жду утра, когда замечаю на елке еще и московские игрушки, конфеты, мандарины.

Часто вместо воспоминаний я «читаю» газету или книгу. А точнее, выискиваю одинаковые буквы, а по вечерам спрашиваю у взрослых: «Эта какая? А это?» Довольно быстро осваиваю азбуку, и мама приносит мне из библиотеки детские книжки. Запомнилась одна — «Маугли». Очень люблю слушать, когда читают взрослые. А читать самой почему-то не очень интересно. Куда интереснее писать печатными буквами открытки папе и дедушке на фронт. Взрослые говорят, что отправляют их по почте. И я им верю. Я ведь еще не знаю, что письма доходят только по адресу. А адресов, то есть полевой почты, ни папы, ни дедушки у нас нет. Мы ничего не знаем об их судьбе. Мама и бабушка обращаются к каким-то гадалкам. Начинают верить в приметы. С вечера наливают воду в посудинки и выносят на мороз. Если после того, как вода замерзнет, образуется впадина — значит человек погиб. Если горбик — значит жив. У нас были горбики. Или еще. Очень часто среди ночи, когда я крепко сплю, мама вдруг будит меня и быстро спрашивает: «Папа жив или погиб?» И я, ничего не понимая спросонья, всегда отвечала: «Жив». Считалось, что детское сердце лучше чувствует, ближе к правде.

Но приметы маму не устраивали. И она, скрыв, что у нее есть ребенок, поступила на курсы по изучению азбуки Морзе, чтобы, закончив их, пойти на фронт, наивно полагая, что таким образом ей будет легче разыскать папу. Через какое-то время ее обман раскрылся.

Она возвращалась после занятий поздно, очень замерзшая. Одежды, хотя бы мало-мальски соответствующей сибирским морозам, у нее не было. Однажды она, совершенно обессиленная, буквально ввалилась в комнату. Бабушка растирала ей лицо, руки, ноги, а она ни на что не реагировала. Потом мы узнали, что мама почти дошла до дома, но неожиданно сильный ветер, оторвал ее от земли

и понес вдоль улицы, которая заканчивалась обрывом. Она, собрав остатки сил, ухватилась за дерево у края дороги и стояла в обнимку с ним, холодным, заледеневшим, пока ветер не утих.

Во время войны хлеб выдавали по карточкам. Да и можно ли было называть его хлебом? Это была какая-то сыроватая масса серого цвета с горьким вкусом. Говорили, что в этот хлеб добавляли кроме всего прочего полынь. Но и его было недостаточно. Поэтому взрослые занимали очередь еще ночью, а утром, получив хлеб, бежали на работу. Случалось, что привоз задерживали, тогда мама, бабушка и тетя Муня прибегали домой (благо, магазин был недалеко), укутывали меня и ставили вместо себя в очередь. Я покупала хлеб и приходила к бабушке или маме на работу, так как в пятилетнем возрасте дотянуться и открыть замок мне было не под силу.

Хлебный магазин размещался в обычном деревянном доме с высоким крыльцом без перил. И вот однажды под напором людей я упала с крыльца на острый камень и пробила руку выше кисти. Кровь полилась ручьем. Больше ничего не помню. Очнулась уже в больнице. Но кто и как меня туда доставил, не знаю.

Живее всего в памяти сохранились воспоминания о том, чем мы питались. Потому что голод для ребенка — это страшно.

Зимой, в лютые сибирские морозы, по выходным дням мама и бабушка брали лом и шли на колхозное поле, чтобы в промерзшей земле отыскать хоть немного картошки. Радовались, когда это удавалось. Но как она неприятно пахла! Однако ели.

Каждое лето колыванцы и мы, беженцы, на лодках переплывали Обь: на берегу росло огромное количество кустов смородины. Таких крупных и сладких ягод я нигде и никогда в своей жизни не встречала. Не видела я больше нигде и лугов, сплошь покрытых цветущими красными маками. И детям, и взрослым трудно было оторвать глаза от этой красоты.

Многие воспоминания о том, что мы ели, связаны с нашей соседкой тетей Муней. На кожевенный завод, где она работала, поступали шкуры животных. Рабочие, чтобы не заметило начальство, соскабливали со шкур остатки жира кусочками стекла, так как ножи приносить на завод строго запрещалось. Эту смесь из жира и шерсти, называемую мездрой, заворачивали в тряпочку, прятали под одеждой и приносили домой. В мою задачу входило очищать жир от шерсти животных, а ее было больше, чем самого жира. Работа эта требовала много времени и внимания. Да и запах был ужасен. Зато праздниками были дни, когда тете Муне удавалось принести лобаши. Они соскабливались со шкуры головы убитого животного. Там, кроме жира, были даже крохотные кусочки мяса. Лобаши не так дурно пахли, в них было меньше шерсти, и они шли для приготовления супов.

А однажды тете Муне удалось принести домой немного касторового масла. На нем пожарили оладьи из гнилой промерзшей картошки. Ели и радовались. Было это вечером. А ночью у всех началось расстройство желудка. Зима. Дикий мороз. А мы бегаем друг за дружкой на двор. И клянем войну.

О папе и дедушке все еще не было никаких сведений. А вот мамина подруга детства и юности Валентина Смирнова, работавшая личной стенографисткой у Сталина, вместе с членами правительства была эвакуирована в Куйбышев. Мама обратилась к ней с просьбой помочь продуктами маленькой Аллочке. Но ответа не было. И только через несколько лет Валентина рассказала, что ей было запрещено поддерживать связь не только с подругой, но даже с родителями. А тогда, во время войны, мама была обижена ее молчанием.

Взрослые очень боялись, что я умру от истощения. Бабушка даже уговаривала маму выйти замуж за врача, которому мама нравилась. Врача звали Григорий Ипатович. У него был большой, расширенный книзу нос, и мама за глаза называла его Лопатович. Он был богат: большой дом, сад, огород, пчелы, куры... Я могла есть мед ложкой, но он почему-то почти не лез мне в горло. Врач сидел рядом

с мамой. У его ног лежала огромная кошка с большим пушистым хвостом. И вдруг она подпрыгнула, передние лапы и голову положила на колени маме, а задние лапы и хвост на ногу Лопатовича. Он сказал, что после смерти жены эта кошка не выносила в доме чужих, а вот Наталью Петровну решила соединить с ним. Мама промолчала. А когда мы ушли, она долго укоряла бабушку за то, что она заставила всех нас сходить в гости к Григорию Ипатовичу. Бабушка объясняла, что для нее главная цель этого визита состояла в том, чтобы накормить Аллочку.

Через какое-то время нас разыскал дедушка, офицер медицинской службы. Он прислал бабушке аттестат. Мы стали получать небольшие деньги, и голод уже так сильно не ощущался. И вот на радостях к 1 Мая (кажется, 1944 г.) взрослые достали настоящей ржаной муки и настоящего растительного масла. Наступил праздничный день. Комната убрана. Пол чисто вымыт. В окно ярко светит солнце. На столе — горка аппетитных блинов. И тетя Муня торжественно несет сковородку с луком, поджаренным в настоящем растительном масле. И вдруг... нечаянно роняет сковороду на пол. Мы замерли. А тетя Муня хватает со стола стопку блинов и бросает их на пол, быстро-быстро возит по луже разлитого масла, чтобы блины им пропитались. Промедли она — и масло утекло бы в щели между досками. С каким же удовольствием мы потом ели эти блины, как смеялись и восхищались находчивостью тети Муни. И сейчас я не могу сдержать улыбку, вспоминая этот случай.

Детская память сохранила и кое-какие «несъедобные» впечатления. Вот, например, взрослые очень удивлялись, когда узнали, что в Колывани то ли во время революции, то ли в Гражданскую войну, одна часть города под лозунгом: «Долой коммунистов! Да здравствует Советская власть!», воевала против другой части, у которой был лозунг: «Долой Советскую власть! Да здравствуют коммунисты!»

Или еще. Примерно в середине войны пролетающий над тайгой самолет в нескольких километрах от Колывани обнаружил неизвестное селение. Как выяснилось, там жили семьи непримиримых врагов советской власти и дезертиры. Их судили, и всем было понятно, за что их судят.

А вот другой случай казался необъяснимым. В детском доме, где по совместительству работала моя бабушка, был сплошь женский коллектив. А хозяйственная служба лежала на плечах двух мужчин, немцев, родившихся и выросших в Сибири. Бабушка говорила, что директор детдома не могла нарадоваться, как ей повезло. Добросовестные, исполнительные, инициативные, кристально честные. И вдруг среди бела дня их арестовали прямо на работе, и они исчезли навсегда. Их облик остался только на общей фотографии коллектива детдома (это фото хранится у нас в семье).

После освобождения Оршанщины летом 1944 года мы стали собираться на Родину. Запасали соль, валенки и тулупы для папы и дедушки, свято надеясь встретить их после окончания войны живыми и невредимыми.

И вот опять в таких же вагонах-телятниках мы возвращаемся домой. Путь наш долог, но радостен. Мне уже семь лет. Но я совсем маленькая и худенькая.

Наш вагон часто отцепляют от паровоза, загоняют в тупик. Но теперь все воспринимается иначе. В вагоне — женщины и дети. И только один-единственный пожилой мужчина, который бесконечно курит и почти всегда сидит на полу у раскрытой вагонной двери, свесив ноги. На одной из остановок в вагон садятся трое молодых мужчин. Они веселы, приветливы. Играют со мной, чем-то угощают. Один из них даже берет меня на руки, подносит к двери, что-то рассказывает, и вдруг я слышу фразу, которую помню всю жизнь: «Ну, Николай, начинай работать». Николай, широко расставив руки, стоит в проеме открытой двери, делает вид, что любуется пейзажем и мгновенно сильным ударом колена сбрасывает под откос нашего единственного пассажира-мужчину. От ужаса я не

Мама, бабушка, я и папа после его демобилизации. Декабрь 1945-го.

могу даже закричать. Меня отталкивают в сторону и начинают отнимать вещи у женщин в противоположной от нас части вагона. Визг, крики, все в ужасе. И вдруг поезд резко тормозит. Мама, бабушка, тетя Муня и я со своими узлами буквально вываливаемся из вагона, и поезд сразу же продолжает движение. Что это? Судьба? Рядом маленький вокзальчик, пустой, без окон и дверей. Снуют какие-то подозрительные типы. И вдруг на дороге справа от вокзала показывается колонна военных грузовиков. Бабушка бросается чуть ли не под колеса с просьбой подвезти нас. Но офицер заламывает такую сумму, которой у нас и близко нет. Машины уезжают. Бабушка в слезах. Однако Бог не без милости, свет не без добрых людей. Офицер, который возглавлял следующую колонну машин, не только не потребовал от нас ни копейки, но даже помог погрузиться и привез прямо к вокзалу в Жлобине. Здесь было светло, тепло от дыхания людей, и мы почувствовали себя в безопасности.

В Смольяны приехали ночью. Наш дом оказался цел, но в жутко запущенном состоянии. В нем жила какая-то женщина, кровать которой стояла посередине столовой, а на спинке кровати, как на насесте, сидела курица...

Мама и бабушка довольно быстро устроились на работу, а все свободное время отдавали приведению в порядок нашего дома. Я ходила в детский сад, где нас, как мне тогда казалось, очень вкусно кормили. Я, конечно, съедала все, что давали, за исключением хлеба. Его я прятала от воспитателей, чтобы вечером отнести маме и бабушке. Они все еще голодали. Кстати, заведующей детсадом была Мария Яковлевна Малаховская, та самая, с которой мы вместе жили в Сибири и которую я до старости не называла иначе как тетя Муня.

Жизнь налаживалась. Но война все еще продолжалась.

В начале 1945 года к нам приехал мамин брат, дядя Володя.

Потом мне стало известно, что перед войной он служил под Белостоком. И в июне 1941 года прислал маме письмо со всеми имевшимися у него семейными фотографиями. В письме была фраза: «Они мне здесь больше не понадобятся». Эта фраза была воспринята моими родителями, как очень тревожный сигнал, что вскоре и оправдалось...

Пройдя по военным дорогам с несколькими ранениями и контузией, осенью 1944 года он был тяжело ранен в ногу. Врачи старались ему помочь, переводили

из госпиталя в госпиталь. Последний из них был в Уфе, где ногу все-таки пришлось ампутировать.

И вот он, офицер Красной Армии, высокий, красивый, подтянутый открывает дверь нашего дома. В руке палочка, стоит на двух ногах, то есть на одной ноге и протезе. Ходит, слегка прихрамывая. Улыбчив и доброжелателен. Шутник и балагур. Всегда напевает какую-нибудь песню (голос сильный, красивый). Его любимая — «Спят курганы темные». Все вроде бы хорошо. Но вот вечером, когда он снимает протез и обнажается культя, я с ужасом вижу страшные потертости, кровь и гной в крестоподобных швах. Мне очень жалко дядю Володю. Я предлагаю ему свою помощь, и он ее принимает. Каждый вечер я промываю культю слабым раствором марганцовки, а когда она высыхает, присыпаю стрептоцидом (благо росла «под крылом» у медиков, умела с раннего детства и банки ставить, и ранки перевязывать). По ночам мы часто просыпались: от дикой боли дядя Володя не стонал, а скрежетал зубами.

И вот на рассвете 9 мая 1945 года — нетерпеливый стук в окно и радостный крик: «Ната, Ольга Адамовна, вставайте! Победа!» Это был голос Надежды Михайловны Тихонович — председателя Смольянского сельсовета, матери моей подруги Сталины.

Это был один из самых счастливых моментов. Мы целовались, обнимались, прыгали от радости. А утром дядя Володя на базарной площади местечка организовал митинг, выступил на нем с речью. Он имел на это право. Он был одним из тех, кто завоевал Победу. Как его благодарили люди! Как обнимали и целовали!

После митинга дядя Володя пошел в стоявшую недалеко от местечка воинскую часть и привез оттуда кинофильм «Два бойца». В нардоме (так назывался сельский клуб), где должна была состояться его демонстрация, не было ни окон, ни дверей. На проемы навешивались одеяла, какое-то тряпье, чтобы создать в помещении полумрак. Люди приносили табуретки, скамейки. Все были возбуждены. Кадры пошли, а звука не было. И тогда дядя Володя своим зычным голосом стал комментировать происходящее на экране. Как же я гордилась тем, что именно мой дядя был главным действующим лицом в Смольянах в незабываемый день Победы.

А его сестра, моя мама, решила увековечить этот день посадкой деревьев. Мы мчимся с ней на окраину местечка, выкапываем маленькие деревца — клен и рябину — и сажаем возле дома. Они хорошо приживаются (с годами рябина пропала, а клен красуется и сейчас).

Через некоторое время я получила из Восточной Пруссии открытку от моего любимого папочки. Какое же это было счастье! Он был жив!

Эту открытку я храню как самую дорогую реликвию.

Демобилизовали папу только осенью 1945 года, а дедушку зимой 1946-го...

P. S. Лето 1945 года. Я в доме одна. Слышу какой-то шум. Выглядываю в окно и вижу, как по нашей улице в сторону Орши идет колонна немецких военнопленных. Решаю выйти за калитку и цепенею: в прихожей у двери стоит очень высокий худой немец. Несмотря на жаркий день, на нем шинель и головной убор. Он что-то говорит, но от страха я ничего не соображаю. Смотрю в его светлые глаза и до меня доходит: он просит еды. А в доме пусто. Ничего нет. И мне не по себе, что я не могу ему помочь. Тогда я проскальзываю во двор, рву в огороде несколько морковок и протягиваю ему. Спеша, очень быстро он рукавом обтирает морковку, жадно ее ест. И столько благодарности в его взгляде, в его непонятном лепете. Он кланяется в пояс мне, девочке, и бежит догонять свою колонну...

Юбилей

Лилия — цветок чистоты, или Государственные дела негосударственного издательства

Справа от рабочего стола Лилианы Федоровны Анцух, директора издательства «Четыре четверти», на стене висит картина художника Леонида Дударенко, на которой, словно живые, распустились лилии. Почему ее привлек именно этот сюжет, догадаться нетрудно. Эти прекрасные цветы — как бы символ ее имени. Ведь Лилиана с латинского языка и переводится как «белый цветок». Кстати, на древнегальском «ли-ли» означает «белый-белый». Встречаются, правда, лилии и розоватого оттенка, и даже желтоватого, но преобладают именно белые, которые особенно прекрасны и почитаемы. Да и как же иначе, если белый цвет — это сама первозданная чистота и нежность. Неслучайно у немцев есть поверье, что вместе с белой лилией рождается эльф, который в ней живет. Днем он спит в чашечке цветка, а по ночам раскачивает ее, и тогда лилия создает приятный нежный звон.

У книг, выходящих с грифом издательства «Четыре четверти», — свой «звон». Это духовность, которой проникаешься, знакомясь с лучшими из них. Это та высокая нравственность, которую и несет настоящая литература независимо от того, художественная она или документальная.

Количеством новых книг сегодня никого не удивишь. Они появляются на прилавках, как грибы после теплого летнего дождя, только куда в большем количестве. Но как не все грибы съедобные, так и некоторые из выпущенных книг представляют собой такую «духовную» пищу, от употребления которой лучше воздержаться. Хотя сделать это не так и просто.

В редакциях государственных литературно-художественных издательств довольно строгое отношение к рукописям, чего не скажешь о многих негосударственных. Поэтому и получается так, что тот или иной автор, собрав необходимую сумму, чтобы оплатить издательско-полиграфические расходы, не имея достаточных способностей, а тем более таланта, может похвастаться выпущенной книгой. И, как следствие, — книг много, а читать нечего. Благо ситуацию исправляют государственные издательства — такие как, к примеру, «Мастацкая літаратура», где планка художественности всегда держится на высоком уровне. Или «Издательский дом «Звязда». Отрадно и то, что и среди негосударственных издательств есть такие, руководство которых действует по принципу «деньги нужны, но хорошая репутация — важнее».

Заслуженное место в этом перечне принадлежит издательству «Четыре четверти», которое отмечает в эти осенние дни свое 20-летие. Пришло оно к этому пусть и не такому большому, но значимому юбилею с прекрасными приобретениями, а это 1600 наименований книг общим тиражом более 1200 тыс. экземпляров. Издательство отмечено десятками дипломов и другими наградами, полученными на многих престижных конкурсах, фестивалях, смотрах. При этом сохраняет репутацию, которой можно позавидовать. Одним словом, издательство — негосударственное, а подход к делу — государственный.

Так что, думается, есть хороший повод ближе познакомиться с издательством «Четыре четверти». Сделать же это, конечно, лучше всего, побеседовав с одним из его создателей, директором Лилианой Анцух — милой, обаятельной женщиной, обладающей деловитостью, необходимой в своем, но одновременно и общем, а правильнее все же сказать «общественном», деле, каким является книгоиздание...

«Как не мочь, если бог в помощь»

Первый вопрос к Лилиане Федоровне традиционный:

— С чего все началось?

— С того, что у меня появилось желание заняться любимым делом, чтобы получить возможность реализовывать собственные идеи, как сказал великий поэт: «Отчизне посвятить души прекрасные порывы». Такие мысли возникали и прежде, когда я еще работала в государственной системе книгоиздания. А вот возможности появились гораздо позже, на волне изменений в жизни общества, происходивших в 1990-е годы прошлого столетия, когда начал развиваться частный бизнес. Тогда-то меня и «соблазнили», предложив пойти работать в крупную издательскую полиграфическую компанию «Эридан». В то время она выпускала популярную литературу, фантастику, которая хорошо расходилась. Но такая работа, по правде говоря, не приносила мне морального удовлетворения, да и некоторым другим специалистам, которые работали рядом. Просто зарабатывать деньги нам было неинтересно, хотелось заниматься тем, к чему лежит душа. Потому, когда пригласили работать в Белорусском фонде развития культуры, согласилась и там инициировала создание издательского центра «Менск». Первый издательский «блин» не стал комом: у книги «Минск», изданной тиражом 200 тысяч экземпляров на четырех языках, была счастливая судьба. Ее, как лучшее представительское издание о столице Беларуси, увозили с собой за рубеж многие деятели культуры нашей страны и даже работники дипломатической службы.

С мажорной ноты начиналось в 1993 году и издательство «Четыре четверти». В группу его организаторов вошли мои единомышленники, в том числе коллеги из Белорусского фонда развития культуры. Мы задумывали выпускать нотно-музыкальную литературу, которой тогда не хватало и которая была очень востребована.

— Видимо, отсюда и появилось именно такое название: «Четыре четверти». Для широкого читателя, пожалуй, мало что говорящее, а вместе с тем...

— ...А вместе с тем, разовью вашу мысль, понятие «четыре четверти» — это полная нота, разделение такта на четыре доли, нечто полностью совершенное, а это и являлось своего рода символом нашей тогдашней издательской политики. Однако со временем мы поняли, что выпуск такой специфической, узкопрофильной продукции хотя и важен, необходим, но во многом сужает сферу нашей деятельности. Поэтому стали издавать не только нотно-музыкальную литературу, но и вообще литературу, имеющую отношение к культуре. А начали работу в этом направлении с книг-альбомов, посвященных национальным духовным ценностям.

— Наверняка, подобное желание у вас появилось неслучайно. Ведь можно было бы, к примеру, выпускать художественную классику в таком же улучшенном оформлении и полиграфическом исполнении, каким отличаются изданные в «Четырех четвертях» духовные, уже ставшие сегодня бестселлерами книги-альбомы. А вы взялись именно за книги-альбомы... Чем это объяснить?

— Да все просто!

— Так уж и просто?

— Моя христианская душа постоянно искала заполнения той душевной пустоты, которая сформировалась за годы учебы и в школе, и в вузе... Безусловно, не только у меня, но и у большинства тех, кто пережил времена воин-

ствующего атеизма. Долго не выходила православная литература. Не только специфическая. Те же альбомы, знакомящие со святынями, среди которых и чудесные храмы, являющиеся важными памятниками культурного и исторического наследия Беларуси. Все мы должны были проснуться от летаргического сна беспамятства. Я верю в Бога, в Господнюю волю верю, хотя в храме бываю, может, и не так часто, как хотелось бы. Но живу с Богом в сердце. В детстве, когда я с бабушкой приходила в церковь и слушала хор, проповеди священника, еще не понимая до конца смысла действа, я чувствовала, как душа откликается. В нашей семье по-настоящему верила в Бога моя бабушка. С Господом она говорила утром, днем и вечером, перед Ним каялась, с Ним советовалась. Образ бабушки, стоящей перед иконой и молящейся за всех нас, и сегодня передо мной. Постепенно укреплялась моя вера и желание постичь христианские истины, понять, что же такое святость, что Бог — это любовь, и на этом стоит мир. И самое главное — объяснить это все моим детям. Так зародилась идея создания серии книг «Наши духовные ценности».

— Для этого, Лилиана Федоровна, был, видимо, и еще какой-то толчок, кроме внутренней необходимости? Ведь так бывает довольно часто. Работаешь над чем-то, как вдруг тебя словно осеняет: можно ведь сделать и что-то более важное, то, что и тебе самому в радость, и тем, кто соприкоснется с этим...

— Пожалуй, таким толчком можно назвать работу над изданием обычным, рядовым. Тогда как раз шел Год охраны природы, и наше издательство совместно с Министерством экологии Республики Беларусь готовило обычный настенный календарь. А перед этим я познакомилась с сотрудницей редакторского отдела Епархии Галиной Сытенко. Когда стали подбирать слайды для этого календаря, я подумала, что было бы логично разместить в конце даты православных и католических праздников. Самых главных, так называемых двунадесятых. Уточняла эти даты в Экзархате, и тогда произошла судьбоносная встреча с Митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом. На приеме у него я и поделилась идеей издания серии книг, которые приобщали бы чита-

теля к национальным духовным ценностям. Владыка Филарет горячо эту идею поддержал. Так и было положено начало сотрудничеству с Белорусской Православной Церковью, которое продолжается по сегодняшний день. Серию «Наши духовные ценности» мы запланировали из двенадцати книг. И уже к 1995 году вышли две из них: «Православные праздники» и «Православное зодчество Беларуси», которые стали одними из первых белорусских проводников в мир христианских истин.

То, что очищает душу

— Я также с удовольствием познакомился с этими книгами. Очень интересные издания. Они не только расширяют кругозор, но немало дают и сердцу, приобщают к святая святых, к тому, о чем грешно не знать, а знание это очищает душу, позволяет иными глазами смотреть на мир и место человека в этом мире. Важно и то, что эти книги не утратили своей значимости и теперь, когда начали появляться в чем-то похожие издания. Не буду конкретизировать их суть, отмечу только самое главное, чем выделяется в сравнении с ними серия «Наши духовные ценности»: в ней одинаково добротно поданы как иллюстрации, так и текстовой материал. В других же изданиях на первый план выступает или первое, или второе.

— Рукописи этих книг к печати готовили очень скрупулезно, перед этим собрав уникальный материал. Для книги «Православное зодчество Беларуси» — это сведения о чудом уцелевших на нашей земле храмах, возраст которых составляет не одно столетие, а также рассказ о том, как проходила реставрация многих из них. Для рецензирования привлекли специалистов. Без ложной скромности скажу, что эта серия изначально стала событием в духовной и культурной жизни общества. В частности, она была признана лучшей работой 1995 года в номинации «Духовное возрождение», на «Рождественских встречах» — 1996-го. Как и первые два издания, широкий резонанс — отзывы в печати, оценки по радио, телевидению — имели и последующие: «Преподобная Евфросиния Полоцкая», «Крест — красота Церкви», «Православные монастыри Беларуси»...

У нас вышли и другие интересные издания духовно-просветительской тематики. Например, книга-альбом «Ветковская икона», автор которой — директор Ветковского музея народной культуры Галина Нечаева. Работа над этой книгой заняла четыре года. Получилось необычное издание. В нем представлены и редкие архивные материалы, и впечатления автора от общения с уроженцами этого края. Но основное место в книге-альбоме занимают фоторепродукции уникальных старообрядческих икон, находящихся в экспозиции музея, а также дано их подробное описание. В основном эти иконы были собраны основателем и первым директором Ветковского музея Федором Шкляровым, кстати, выходцем из рода старообрядцев. Нельзя не отметить и такой факт: в те непростые для издательства времена «Ветковская икона» увидела свет благодаря финансовой поддержке Гомельского облисполкома. Когда мы представляем ее на выставках сегодня, понимаем, что эта книга — бессмертна, настолько велик к ней интерес.

Свое — сердцу близко

— Отрадно, Лилиана Федоровна, что в своей издательской практике вы не обходите вниманием и современных белорусских писателей.

— А как же иначе? Все это работает на престиж нашей национальной литературы, а значит, и на будущее. Но отбор здесь самый строгий: публикуем только талантливых. Это касается и молодых авторов. Внимательно знакомимся с поступившей рукописью, если надо, подсказываем, что нужно поправить, улуч-

шить, а уже тогда решаем: быть или не быть книге. Первые «пробы пера» авторов выпускаем в серии «Мінскія маладыя галасы», которая создана в результате сотрудничества с Минским городским отделением Союза писателей Беларуси. В этом тандеме работаем и над второй серией: «Бібліятэка Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі». Здесь собираем произведения старшего поколения литераторов. Талантливыми книгами регулярно пополняется и «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».

Есть у нас еще одна необычная серия — «Асоба і час», в которой, кроме творчества того или иного писателя, помещены статьи о нем, рецензии на его книги. Благодаря этой литературно-критической библиотечке читатели смогли ближе познакомиться с творчеством Анатолия Аврутина, Наума Гальперовича, Владимира Гниломедова, Михася Позднякова, Алеся Савицкого. Готовится к печати книга о Янке Сипакове.

Широкий резонанс получила и серия «Дети войны», начало которой было приурочено к 65-летию Великой Победы. Выпуск ее продолжим до 70-летия празднования этого события. Каждая из вышедших в этой серии книг — это и боль о пережитом, и память, которая с годами не ослабевает, но одновременно и желание с высоты прожитых лет осмыслить то, что некогда было. Среди авторов этой книги: Изяслав Котляров («В огнях, к самозабвенью не готовых...»), Василь Гурский («Цяжкая дарога»), Татьяна Дашкевич и Сергей Трахименок («Белли Пуэри»), Валентин Жуков («Узники «Ладемюле», или 597 дней неволи»), Микола Малявка («Беражыце шыпшыну»), Феликс Баторин («Чорны год»). К печати готова книга Миколы Чернявского. Постоянно слышим высокие оценки этого начинания издательства.

— Случалось ли, что вы не просто дали «зеленый свет» рукописи еще мало кому известного автора, но после, издавая его очередные книги, по сути, сделали ему имя в литературе?

— Таких немало, особенно молодых, но приведу характерный пример из старшего поколения — Надежда Солодкая. Кстати, в наше издательство она обратилась не сама — нам позвонили из Полоцкого монастыря. Попросили обратить внимание на ее стихотворения. Познакомились мы с ними, а стихи-то интересные, есть в них, как говорится, поэтическая изюминка. С радостью готовили первую рукопись к печати, а позже выпустили еще четыре. Надежда Солодкая была принята в Союз писателей Беларуси. На ее стихи стали писать песни, ей было присвоено звание почетного гражданина Полоцка, она лауреат Литературной премии имени Владимира Короткевича. Зарекомендовала себя Солодкая и как переводчик, в результате чего книга прозы «Эхо слушает голос» почетного гражданина Новополоцка Наума Гальперовича увидела свет на русском языке. Оформила это издание Нинель Счастная, также почетный гражданин древнего Полоцка.

— Так что, получается, что у «Четырех четвертей» легкая рука?

— Многие авторы книг, выпущенных нами, сегодня хорошо известны читателю и отмечены самыми высокими литературными наградами. Среди них: А. Соколов, В. Поликанина, Д. Петрович, В. Рудой, Т. Дашкевич, З. Пригодич и многие другие...

...Но «свои-чужие» — понятия относительные

— Реализуя интересные проекты в сфере культуры, образования, науки, издательство «Четыре четверти», насколько известно, не ограничивается только творчеством авторов, живущих в Беларуси.

— Мы ведь не в изолированном пространстве находимся. Подтверждение тому — многие издательские проекты. К примеру, книга профессора Парижской консерватории Брижит Бутинон-Дюма «Память ощущений». Во Франции она была впервые выпущена в 1993 году и за короткое время выдержала на родине пять изданий. Книга необычная. В ней есть и философия... преподавания игры

на фортепиано, изложенная таким образом, что применима в любой сфере деятельности — будь то пение, спорт или что-то еще. Даже я, издатель, могу с доверием принять преподнесенные в книге истины и углубить профессиональные знания. Госпожа Бутинон-Дюма с удовольствием согласилась принять участие в презентации своего русскоязычного детища, которая состоялась в Республиканском музыкальном колледже при Белорусской государственной академии музыки. Книга «Память ощущений» вышла в рамках программы «Максим Богданович», основанной Посольством Франции в Беларуси. Благодаря этой программе появился и энциклопедический справочник «Современные писатели Франции», в котором представлены 350 автобиографий современных литераторов этой страны.

С особой теплотой мы относимся к издательскому проекту «Библиотека турецкой литературы». Немало было сделано, чтобы осуществить его. Являясь членом президиума общественного объединения «Диалог Евразия», я поинтересовалась, знают ли в Беларуси современную турецкую литературу. Выяснилось, что кроме замечательных переводов Миколы Метлицкого ничего в последнее время и не издавалось. Мы посодействовали укреплению связей между Союзом писателей Беларуси и Союзом писателей и журналистов Турции, и родилась наша «Библиотека турецкой литературы», проект, в рамках которого с белорусской стороны уже изданы книги переводов Фетхулаха Гюлена «Диалог и толерантность» и Харуна Токака «Они не дождались утра», а с турецкой — перевод романа Николая Чергинца «Сыновья».

— В наше время мало издать книгу, ее надо еще и донести до читателя. Что для этого делается в «Четырех четвертях»?

— Стараемся проводить презентации наиболее значимых изданий, при этом выбираем, как правило, аудиторию, заинтересованную именно в этой книге. К примеру, в начале нынешнего года премьера книги-альбома «Оскар Марикс» проходила в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси. На ней присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь Мариан Серватка, послы других государств, аккредитованных в нашей стране, деятели культуры и науки, ученики Марикса. Такое место проведения премьеры было выбрано неслучайно. Неслучайным был и состав приглашенных. Народный художник Беларуси Оскар Марикс имел словацкие корни, но с 1920 года поселился в Минске и зарекомендовал себя здесь как замечательный художник-сценограф, оформил многие спектакли. Эта книга-альбом подготовлена совместно с Посольством Словакии. Сюда вошли воспоминания Ларисы Александровской, Владимира Владамирского, Владимира Стельмашонка, а также дочери художника Любови Оскаровны, помещены эскизы декораций и костюмов, примеры живописи, графики, ведь Марикс имел многогранный талант.

У нас уже сложился большой коллектив единомышленников, свой круг авторов, а это поэты, прозаики, ученые, педагоги. Работа с авторами не заканчивается изданием книг. Мы не успокаиваемся, пока книга не дойдет до читателя. Для этого и проводим презентации, концерты, участвуем в выставках. Словом, вокруг каждого издания устраиваем действо. Поэтому слово «бизнес» я беру в кавычки. Оно в данном случае относительно книги просто не уместно. Не прибыль стоит во главе угла работы издательства «Четыре четверти». Мы стремимся сохранить и приумножить достижения культуры, чтобы в полной мере ощутить себя участниками социокультурного пространства.

Ни одна из наших книг не может нести на себе печать коммерции. Как бы нам ни говорили, что сегодня любая книга должна задумываться, прежде всего, как коммерческий проект, я с этим не согласна. И любому могу доказать: нельзя думать о деньгах, если ты стремишься быть участником культурно-духовной жизни социума. Может, кому-то это покажется странным, но именно такие некоммерческие проекты и помогают нам держаться на плаву.

Чудо, которому продолжаться

Лилиана Федоровна воспитана на лучших образцах классической литературы, но трепетно относится и ко всему лучшему, что написано современными авторами. Она признается: «Дышу поэзией Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Из современных поэтов очень люблю Глеба Горбовского. А вот Сергей Есенин — мой любимый поэт еще с детства. И, конечно же, восхищаюсь великим Пушкиным! Моя любовь к белорусским авторам — в изданных книгах. Я выросла на этой литературе, она внутри меня. Однако мне как редактору приходится читать разные рукописи. Иногда бывает, что душа просто желает окунуться в настоящую поэзию. Тогда беру с книжной полки томик Пушкина, наслаждаюсь его неповторимой поэзией и продолжаю работать».

30 декабря, в канун Нового 2010 года, один из авторов «Четырех четвертей», лауреат Государственной премии БССР, замечательный поэт и прозаик Янка Сипаков, к сожалению, уже ушедший в вечность, поздравил коллектив стихотворением, где есть такие строки:

«Чатыры чвэрці» — гэта поўна!
«Чатыры чвэрці» — гэта цуд!
«Чатыры чвэрці» — гэта роўна
Красы і ласкі цэлы пуд!
«Чатыры чвэрці» — гэта мара,
«Чатыры чвэрці» — светлы пуць.
Таму мужчыны цэлай хмарай
Сюды напохапкі бягуць.

Бо тут дзяўчаты, нібы пчолкі,
Рупліва ў соты носяць мёд.
Ды і без трутняў мала толку —
Які ж ён будзе Новы Год?!

Мы не могли не задать Л. Анцух вопрос:

— Какими изданиями Вы собираетесь порадовать читателя в перспективе?

— Продолжим выпуск серий, которые уже нашли своего читателя. А на подходе и новая — «Дзівосны куфэрак», — первенцем в которой станет книга Михася Позднякова «Дамок для Рэкса». В нее войдут занимательные стихотворения — яркие, запоминающиеся, которые имеют как познавательное, так и воспитательное значение, способствуют развитию фантазии детей, пробуждающие чувство любви к природе, родному краю, человеку.

Издательство готовится к 250-летию со дня рождения Михала Клеофаса Огинского, которого больше знают, как автора известного полонеза «Прощание с Родиной». А ведь его творческое наследие не ограничивается этим замечательным произведением. Ко всему, Огинский был еще и незаурядным политиком, дипломатом, встречался со многими известными людьми. Поэтому, несомненно, «Мемуары Михала Огинского» в двух томах, переведенные с французского языка, будут встречены с огромным интересом. Вторым изданием выйдет книга Анджея Залуского «Время и музыка Михаила Клеофаса Огинского». Используя те же мемуары, а также другие материалы, он воссоздал картину жизни своего замечательного предка. К его облику в книге «Ген Огинского», которая, как и предыдущая, выходит повторно, обращается еще один его предок — праправнук, британский музыкант и музыковед Иво Залуский. В издательском портфеле и другие, не менее интересные рукописи.

Убеждена, что мы не обманем самых лучших ожиданий своих читателей. Ведь сегодня коллектив издательства «Четыре четверти» — это сообщество творческих профессионально подготовленных молодых людей. А за молодыми — будущее!

Беседовал Алесь МАРТИНОВИЧ.

Литературный портрет

ВАЛЕНТИНА ЛОКУН

Олег Ждан: траектория жизни — траектория таланта

Эстетика Олега Ждана вырастала из советской литературы, и, прежде всего, из традиций русской психологической прозы. Отечественная критика отмечала в стиле О. Ждана «*дыхание чеховской традиции*» [1, с. 154]. Писатель начинал свой путь в литературу в России и на русском языке. Этот язык так и остался главным языком его творчества. Вместе с тем прозаик тесно связан с родной белорусской землей, он творит в силовом поле национальной литературы, и, естественно, не может не учитывать опыта этой литературы. К тому же здесь сложилось, можно сказать, целое направление русскоязычной литературы, ядром которого является творчество Б. Спринчана, А. Каштанова, Э. Ялугина, М. Герчика, К. Тарасова, Г. Бубнова, Н. Циписа, Е. Поповой... Эти писатели существенно обогащают белорусскую литературу, как в плане содержательном, так и в жанрово-стилевом.

Идейно-художественные искания О. Ждана проходили в русле художественных исканий своего времени, в контексте доминирующей эстетики 70—80-х годов. Первая книга прозы писателя «Во время прощания» вышла в 1975 году. Затем, одна за одной, появятся другие: «В гостях и дома» (1977), «Знакомый» (1977), «Черты и лица» (1985), «По обе стороны проходной» (1987), «Самостоятельная жизнь» (1990). Прозаик начинал с малых повествовательных форм, в которых превалировала тема любви, дружбы, верности. Но уже тогда у него был свой творческий принцип: «*И все же вначале была мысль, точнее, тема. Слово — это уже знак качества, кирпич в руках каменщика, податливое дерево у плотника или столяра*» [2, с. 3]. Этими словами писатель предваряет свой сборник «По обе стороны проходной». Таким образом, первичным для О. Ждана всегда была мысль или, по автору, тема, которая включала в себя определение смысла жизни человека, ее цель и оправдание. «*С темой сложнее. Тут, если не нашел, — все, крышка. Немалая загадка — тема*» [2, с. 3]. Вероятно оттого, что первоначальные темы — о центре Вселенной, о середине Земли, о любви возвышенной и неземной — были слишком далеки от реальной жизни, они не приносили автору внутреннего удовлетворения. Писатель упорно искал новые смыслы в жизни и в литературе. Уезжал на восток страны, работал на Карагандинском металлургическом комбинате, в Приташкентской геофизической партии, на строительстве Братского лесопромышленного комплекса — «*и не нашел ответа ни на один вопрос*» [2, с. 3]. Вернулся на родину, работал на Минском тракторном заводе, учился в Литературном институте и «*оказался далеко от начала, однако ничуть не ближе к тому, что хотел узнать*» [2, с. 3]. Как видим, труден путь постижения истины, художественной в том числе. Вот и О. Ждану непросто было осознать, что его главная тема — «*люди того же завода и цеха*» [2, с. 4]. Люди, смысл жизни которых заключался в обыденном, каждодневном труде.

Определив сферу своего творческого интереса, О. Ждан вместе с тем расширил тематические горизонты всей белорусской литературы, ибо тема города была одной из наименее разработанных в ней, хотя уже и были написаны «Песня

Двины» Т. Хадкевича, «Сотая молодость» В. Карпова, «Не могу без тебя» Л. Гаврилкина, «Спираль» В. Карамазова, «Самый высокий этаж» А. Савицкого и др. Но прочные традиции городской прозы еще не сложились, в отличие, допустим, от прозы «деревенской».

Источником творческого вдохновения для О. Ждана стал тракторный завод. Правда, был еще один центр притяжения — маленькие городки, особенно его родной Мстиславль. Они представлялись ему «*чем-то вроде маленьких источников с той чистой водой, из которых вырастают реки побольше*» [3, с. 7]. Здесь и людей автор находил особенных: «*приветливых, с твердым пониманием добра и зла, смешного и серьезного, безобразного и прекрасного*» [3, с. 7].

Есть и еще одна особенность прозы О. Ждана советского периода: повествуя о своих героях, он повествовал и о себе самом. «*Каждый из героев Олега Ждана,* — отметит известный российский критик В. Бондаренко, — *это «один из нас». Вместе же получается великое многоголосое МЫ... МЫ Олега Ждана — это не механистическое, легированное, не ржавеющее, роботизированное МЫ. Это Мы — современной н а р о д н о й ж и з н и*» [4, с. 381].

Художественная проза О. Ждана 70—80-х годов вмещала в себя огромную силу жизнеутверждения, она была пронизана чувством «коллективистской» дружбы, космическим единением земли и неба. Созданная писателем художественная модель мира соответствовала духовным требованиям своего времени, гуманистическим устремлениям советской литературы. Прозаик не сосредотачивался на социальных противоречиях жизни людей (хотя внутренней боли в его текстах достаточно), трагизме эпохи, он стремился охватить свое время в его морально-эстетических аспектах, чтобы в итоге углубиться в философию жизни отдельного человека, производственного «коллектива» или города в целом.

Конец 80-х—90-е годы — это период социальной ломки, пересмотра и почти полного отрицания советской эстетики. Многие писатели оказались в глубоком духовном и творческом кризисе. Рушились те идеологические каноны, моральные идеалы, которыми жило уходящее в историю искусство. Вместе с ним уходили и герои: герои-романтики, мечтатели, герои-трудяги, герои-странники. Новый социум актуализировал, прежде всего, критическую литературу. Здесь явно солировал голос И. Шамякина: «Paradies auf Erden» (1993), «Вернісаж» (1993) «Сатанинский тур» (1995), «Выкармак» (1996). По-своему индивидуально-неповторимыми оставались тексты В. Быкова: «Ваўчыная яма» (1998), «Сцяна» и «Труба» (1998), «Дваццаць марак» (2000), «Балота» (2001); В. Казько: «Да сустрэчы» (1997), «Бунт незапатрабаванага праху» (2000); Ю. Станкевича «Псеўда» (1997); А. Козлова: «Я і прарок Уродка» (1996), «Дзеці начы» (1999) и др.

О. Ждан только в 2006 году опубликует повесть «Сопровождающий» («Всемирная литература», № 2), которая, к сожалению, осталась незамеченной критикой. А между тем, это одно из самых ярких публицистических произведений О. Ждана. Здесь очевидна перекличка с метафорическим «Сатанинским туром» И. Шамякина. Концепт дороги, или по-белорусски, «шляху», традиционный для белорусской литературы («адвечным шляхам», «млечны шлях», «крыжовы шлях»), у О. Ждана, как и у И. Шамякина, насыщается консистенцией антижизни, антидвижения, мотивом социальной и духовной тупиковости.

Объектом художественного исследования в своей повести О. Ждан избрал политическую интеллигенцию. Случай достаточно редкий в отечественной литературе. (В этой связи вспоминается разве что повесть Т. Бондарь «Пусты п’едэстал» (2003).

О. Ждан моделирует ситуацию, в которой условно все: от сюжетных ходов, до расстановки идейных приоритетов. Даже герои психологически «ориентированы» на заложенную в них идею.

В Москве скончался бывший партийный босс Пилухович. В своем завещании он просил похоронить его на родине, рядом с могилкой матери, и обязатель-

но по христианскому обычаю: с отпеванием в церкви. «*Человек должен быть похоронен там, где родился*» [5, с. 82], — убеждал окружающих Пилухович.

Герой уехал в Москву, ибо «*хотел послужить Родине. Время было такое: если служишь Родине — жизнь твоя удалась, если нет — жил напрасно...*» [5, с. 82] Однако получилось, что и он жил напрасно, ибо заслужил немногое: «*не сожгут в крематории, а закопают на кладбище Богом забытого городка*» [5, с. 82].

Все герои повести хотели служить Родине, но не вышло, и «*жизнь не удалась*». Все они, говоря словами Грумаша, «*хотели другой жизни*» [5, с. 77], а вместо нее получили «*хорошее приключение*» [5, с. 69]. Все они — неприкаянные и социально, и духовно. Они деградировали вместе с деградирующим обществом: «*Люди научились добывать разные мелкие удовольствия, и это заменяет им счастье. Регулярная зарплата заменяет большие деньги, старательный секс — любовь, послеобеденная сытость заменяет ощущение полноты жизни*» [5, с. 97]. Печать отчужденности проступает даже на лицах героев: «*полное отсутствие интереса к жизни*» выражало лицо Грумаша, а Бельчаков и Тузенков «*безучастно смотрели на пролетающие пейзажи*» [5, с. 90].

Настоящей фантасмагорией представляется эта поездка сопровождающему гроб Войцеховскому: «*семьсот километров по небу, триста по шоссе. Рядом с полированным гробом с латунными ручками. Особенно странно выглядело это в ночной тьме. Очень уместен сейчас был бы голос Бога: куда спешите?*» [5, с. 88].

Не меньшей фантасмагорией воспринимается читателем и параллельная поездка трех чиновников в Брест, где застрелился — или ему помогли — некий не менее ответственных чин Б. Д. Все они едут в никуда. В небытие. Утратив перспективу этой жизни, они теряют и саму жизнь.

Время их ушло. Невозвратно: «*Траектория у времени проста, как у летящей стрелы*» [5, с. 97].

Новый герой О. Ждана утрачивает свою внутреннюю притягательную силу и социальную значимость, затерявшийся в лабиринтах постсоветского времени.

Ситуация отчуждения как доминирующий момент постмодернистской литературы проигрывается О. Жданом в повести «Гений». Произведение впервые было опубликовано в 2011 году в журнале «Нёман», № 9, хотя первая редакция текста обозначена 1990 годом. Это удивительно тонкое по психологическому рисунку и глубокое по философии повествование. Оно свидетельствует о новом этапе эстетических и нравственных поисков писателя.

Главный герой — талантливый художник, который утверждает себя в бунте, каждодневном и решительном, но совершенно бесплодном, ибо мир представляется ему неискренним и жестоким.

«*Каждый настоящий художник пишет такую* (жизнь. — В. Л.), *какой живет сам. Бессмысленная ведь не значит — без содержания. И это в человеке главное, за что его можно уважать или презирать*» [6, с. 115]. В этих словах прочитывается идея субъективности искусства, именно та идея, которую будет активно защищать главный герой повести художник Трифон. Фамилии у него нет, генетически отсутствует: «*Мать моя — подкидыш, я незаконнорожденный. Нет у меня настоящего корня, нет и традиции. Тришка я*» [6, с. 119].

Тришка — это не совсем придуманный автором образ. За его основу взят реально существующий художник. Вначале писатель хотел «*заклеймаваць, нават праклясці*» [7, с. 6] своего Тришку, однако логика художественного развития характера была настолько убедительной, что писатель изменил свое решение, ему захотелось своего героя уже «*абараніць*». «*Я і сам толькі ў канцы аповесці зразумеў майго героя і дараваў яму*» [7, с. 6].

Дар великого художника или, по О. Ждану, «*вывих*», «*тайная болезнь*» появилась у Тришки не в первом классе и даже не в детском саду, «*он с этим вывихом родился, а правильнее — зародился*» [6, с. 116]. Когда его просили нарисовать кошку, он изображал собаку, а если собаку, то рисовал кошку. Таким образом, он уже тогда, в самом начале своего пути, отстаивал право художника на свободу.

Герой давно понял, что люди стремятся соответствовать некоему идеалу. Не любят они правды о себе, «*особенно, если эта правда — для всех*» [6, с. 120]. Хотят быть красивее, моложе, удачливее. Тришка же хотел правды, сущности во всем. Он отвергал современную жизнь за ее ненатуральность. «*Мир уже давным-давно идет не туда и не так. Жаждет не того, добивается ничтожного. Ликует от ненависти, наслаждается унижением, радуется от злобы*» [6, с. 119].

Так кто же такой Тришка? Эгоцентрический тип с задатками великого художника или жертва? Здесь нельзя ответить однозначно. В нем все переплелось: и талант, и монстровость, и эгоцентризм, и мученичество. По жизни Тришка везде был изгоем. Только ненависть помогла ему выжить. Вместе с тем, художник, по О. Ждану, это, прежде всего, мученик. Все искусство рождается в муках: «*Христос — на муку, а вы — на удовольствие?* — недоумевает Тришка.

Все на муку, кроме глупцов и тиранов» [6, с. 121]. Герой устал от жизни, разочаровался в ней еще до рождения, разуверился в людях.

«*Человек заслуживает уважения и сочувствия, а ты издеваешься над людьми*» [6, с. 118], — упрекает Тришку его приятель-предатель, тоже художник. Это — антипод Тришки, но, по сути, образ-функция.

Повесть О. Ждана — это еще и полемика о сущности искусства, формах его развития. Последнее оппонент Тришки проецирует на развитие человечества. «*История отдельного человека, если пренебречь масштабом, — есть история человечества. История художника — история культуры*» [6, с. 123]. А поскольку альтернативы у человечества нет — «*либо вырождение, либо...*» [6, с. 123] — то нет альтернативы и у искусства. Оно должно быть направлено на восславление гармонии мира. Именно стремлением к красоте живет и развивается настоящее искусство. Кстати, таким стремлением пронизаны картины самого приятеля-предателя Тришки. Но — парадокс: успеха он тоже не добился..

«*Творчество начинается там и тогда, когда художник удовлетворяет свое чувство, и кончается там, где в расчет берется хотя бы один человек*» [6, с. 135], — убежден герой О. Ждана. Тришка ратует за субъективизм в искусстве. Оно должно питаться исключительно чувством художника, ибо чувство насыщает искусство страстями и живыми эмоциями. «*Только чувство — программа гения, доверие, которое он испытывает к самому себе*» [6, с. 123], — развивает свою теорию герой.

— «*У Босха был Христос, а у тебя?*»

— «*У меня — я*» [6, с. 116], — уверенно заявляет Тришка, беря на себя одновременно роль мессии, спасателя рода человеческого, и роль гения.

Мысль о гениальности внушила Тришке его мать. И он принял эту мысль как непреложную истину. «*Каждое измученное лицо — гений*» [6, с. 133], — продолжает герой. Таким образом, гениальность — это, прежде всего, чувство муки как особенное состояние души. «*Разве не гениальна его бездарная мать?..*» [6, с. 133]. Парадоксален главный вывод героя: «*Гений не сила, а слабость, он совершенен, а потому не может бороться с толпой. У них, гениев, особая, сквозная судьба и доля: не исчезать окончательно, а умирать и снова возрождаться*» [6, с. 133]. Тришка не получил хорошего образования, христианская вера его не удовлетворяла, поэтому он придумал свою веру с идеей о множественности жизней. Не состоявшись в этой жизни, он надеялся состояться в иной.

Герой мечтал о свободе: творческой и социальной. Свободы творческой он добился. Несвободен был только от матери, которую чаще всего «*переносил с трудом*», иногда только жалел, — когда удавалась работа, но тогда он и врагов своих готов был любить. И вот, наконец, свободен и от матери. «*Свобода, одиночество, тишина. И это же облегчение утром: нет ее, нет, нет. Один! И вечером не будет, и следующим утром.*

Только так и должен жить художник. Племя, семья или государство — объединения слабых. Сбиваются в стаи из страха. <...> Потому в конце концов и образовывалось человечество и не образовался человек» [6, с. 129].

Итак, да здравствует свобода, да здравствует человек! Это была конечная цель бунтующего против мира Тришки, смысл его внутренней борьбы. Но может ли человек жить в мире и быть свободным от него?

Тришка пишет картину, пытаясь совместить замысел с конечным результатом и, таким образом, преодолеть извечную драму художника. Но картина ему не удавалась: «*ненависти не было в ней. Он хотел примириться с миром, а мир мириться с ним не хотел. Он намеревался показать, какими они, люди, были, и какими могли бы стать, а их удовлетворяло то, какие есть. Хотел показать путь к новой, а может, и вечной жизни, но она, вечная, им не нужна, — только нынешняя минута, удовольствие, всеобщий и поглощающий оргазм*» [6, с. 134]. Толпа снова отвергла Тришку. И он понял причину своего неуспеха. Он заложил в картину не только идею ненависти, но и идею добра, надежды. Он «уравновесил» легкомыслие — сомнением, веселье — печалью. «*Нет, не природу поправлял, а судьбу*» [6, с. 135]. Он отступил от себя прежнего, в нем вновь победила слабость. Именно от слабости он пытался объединить и примирить непримиримое: добро и зло, любовь и ненависть. «*А если примирить, то и примириться*» [6, с. 136].

Так был ли Гений? «*Не было никакой гениальности. Был маленький невезучий человечек, мечтавший выцарапаться из нищеты и безвестности, спасти свою ничтожную, но единственную жизнь*» [6, с. 136].

Тришка — новый герой О. Ждана, он не является частью коллектива, носителем народной мудрости и жизнетворящей энергии. Это грубый, безжалостный, аморальный и все-таки значительный, целеустремленный и последовательный в своем жизненном поведении герой. Сознание нового героя О. Ждана помечено признаками катастрофизма. Мир рухнул, и герой, наделенный могучей творческой индивидуальностью, пытается уйти за пределы этого мира, которому человеческая вседозволенность угорожает полным параличом духа.

* * *

Постепенно О. Ждан будет отходить от «кодекса чести» одного человека и приближаться к чему-то более масштабно-глубокому: сокрально-национальному, общечеловеческому. Философско-мировоззренческий поиск писателя сопряжен с идеологемой национальной идентификации. Этот поиск вовлекает в себя весь духовный спектр человека, но, прежде всего, его бытийный статус и ментальные основы — с целью постижения все укрепляющейся национальной непохожести, индивидуальной неповторимости. Национальное начало становится приоритетным в художественном осмыслении жизни и характере человека.

Отечественная история оказалась благодатной почвой в поиске новых духовных и нравственных приоритетов в белорусской постсоветской литературе. В историческом прошлом авторы искали те доминанты духовности, которые оказались утраченными в перестроечной жизни. Актуализировались и традиции исторической прозы: Я. Борщевского, В. Ластовскгого, но особенно В. Короткевича, одного из основателей романтико-просветительского отображения истории. В этом направлении отечественной прозы с успехом проявили себя О. Лойко, И. Шамякин, Л. Дайнеко, К. Тарасов, О. Ипатова, В. Ковтун, В. Орлов, А. Наварич, Ф. Сивко, А. Бутевич, Э. Ялугин, Я. Конев и другие писатели. В зависимости от эстетического сознания писателя проявляется особый характер и нравственной «задачи» художественной реконструкции истории. Вместе с тем, авторы, углубляясь в исторические пласты жизни своего народа, решали при этом не столько просветительские задачи, сколько проблемы современности: национальные, духовные, нравственные.

Проблема власти и национальной свободы — основная «задача» О. Ждана в его романе «Князь Мстиславский». (Впервые роман был опубликован в 2009 году в журнале «Нёман», № 7—9, отдельной книгой вышел в 2010 году в издательстве «Литература и Искусство» в серии «Свет минувшего».)

В основе романа — факт исторический, в тексте отображены реальные события начала XVI века. Доскональное знание белорусской истории в ее общеславянском и европейском контекстах, использование документальных и других свидетельств позволили автору глубоко проникнуть в психологическую атмосферу той эпохи.

В романе нет войны как военной баталии с грохотом боевых действий, атаками, пожарищами и т. д. Автор пишет скорее о **жизни** на войне — драматической, несвободной, угнетающей человеческое достоинство.

Сублимируются и переплетаются разные стилевые пласты, документальное отображение и авторское повествование, речевая стилизация и авторский язык. Заметно стремление писателя к эпической прозе. Хронология исторических событий подана чаще всего инверсийно. Экскурсом отражены и страницы жизни правления Ивана III, история его непростых взаимоотношений с Александром Ягеллоном. Кстати, драма этих отношений, как и драматические перипетии самого брака Елены и Александра, рассматривались И. Шамякиным в «Великой княгине» (1996). Но роман И. Шамякина более «играет» на современность, он более публицистичен, более запрограммирован, чем дискурс О. Ждана.

Князь Мстиславский — главный герой романа. Это историческая фигура, на примере которой писатель стремится решить одну из главных проблем произведения, проблему выбора: может ли выбор человека быть моральным, если он, этот человек, поставлен в условия принуждения?

Герой О. Ждана не хочет войны. Он хочет мира и созидания своему княжеству. «*Мне бы мира годков пять...* — мечтает Михайло Иванович. — *А если б Александр освободил от ордынщины... Я бы много что сделал. Ну а пока построю придел к божнице Святой Троицы — тесно, людям помолиться негде на праздник. Потом новый храм во славу Господа — такой, чтобы со всей Руси — и Литовской и Московской — приезжали дивиться. Два моста надо построить через Вехру... да через Сож... Нет, пять мало, годков бы десять*» [8, с. 31—32].

Михаил Иванович Жеславский из рода Гедиминова, прямой потомок Великого князя Евнута, который после крещения принял имя Иван. Все потомки Ивана-Евнута были православные. Жеславские, поясняет автор, на самом деле были Заславские — по названию княжества, которым владели с 1345 года. Привилеей великого князя Александра Михаил Иванович стал удельным князем Мстиславским.

Князь Мстиславский представлен автором во всем противоречии современной ему жизни. Правда, писатель не дает нам возможности «напрямую» наблюдать за движением внутреннего мира героя. Структурно характер героя не наделен саморефлексией. Писатель фокусирует внимание на патриотической доминанте образа, демонстрируя при этом более чем демократическое отношение князя с простыми людьми.

Сдержанно принял народ мстиславский нового князя: «*Чего радоваться чужаку?*» [8, с. 49]. Не всем нравились его новшества. А начал князь с кладбища, с главного для всех славян места, которое соединяет жизни умерших и живущих в единую природно-космическую духовную сферу. «*Что как завтра Второе пришествие?*» [8, с. 46] Паны-бояре тоже не хотели Жеславского, хотя и Москва им не нужна, «*не надо мстиславским боярам Москва, нет лучшего места на земле, чем родное, даже Мессия, когда настанет час, пройдет сперва через Мстиславль, а потом уже через Москву*» [8, с. 51—52].

О. Ждан создает достаточно реалистическую картину жизни Мстиславля, за которой угадывается жизнь всего белорусского средневековья. Народ индифферентен к правителям и королям. По-разному люди воспринимают и войну: «*Молодые, может, и хотят повоевать, а у кого семья...* — отвечает за всех Савка Кумар. — *Ни воевать, ни в осаде сидеть. Им все едино, что Жигимонт, что Василий. Не народ, а быдло... Когда князь Острожский бил московитов, стояли здесь, на обрыве, ждали — кто кого. Когда князь Ростовский воевал Литву*

и положил на Вехре семь тысяч, тоже стояли, открыв рот. Им все одно. Главное, чтоб веру православную не трогали и еда какая-никакая была» [8, с. 110]. Однако конфликт войны и мира был порожден не столько религиозными мотивами, сколько борьбой за землю: «*Спор меж Василием и Жигимонтом,* — отметит князь Мстиславский, — *не за веру. Не за Смоленск даже або Мстиславль. За великие земли спор, и докончанья ему пока что не видно...*» [8, с. 103]

О. Ждан решает проблему власти как проблему ответственности перед людьми и перед Богом: «*Княжеское звание — не подарок,* — убеждает собеседника князь. — *Это такая работа изо дня в день. Нет ни одного дня, чтоб любой человек в княжестве — хоть хлоп, хоть вольный кмет — не вспомнил о нас*» [8, с. 198].

Вместе с тем, любая власть безнравственна, кроме той, что служит Богу:

«*— А самое лучшее — ни московскому государю, ни польскому королю не служити, а одно Богу и своим людям*», — поправляет князя отец Никодим.

«*— Подскажи как, владыко!.. Как служить Богу и своим людям, коли побач такие могутные соседи и терпеть они не могут, что вот это маленькое княжество — само по себе. Каждый считает, что наша земля — его земля, наши леса, речки, озеры — его леса, речки, озеры, что одному ему мусим мы служить от рождения до самой смерти, не для себя, а для него жить!..*» [8, с. 250]

Но это и есть главное противоречие всякой власти. И во все времена.

Князь Мстиславский все больше будет утверждаться в мысли, что «*княжество, — это не золото и серебро... Не слава... Это — крест. Сперва охота получить его, а напотом... Хочешь не хочешь — надо*» [8, с. 199].

Практически все герои романа поставлены в условия личностного выбора — жизни или смерти, служения отчизне или предательства. Выбор у князя Мстиславского особо ответственный: от этого выбора зависит не только сохранение его княжеской чести, а, прежде всего, жизнь людей его княжества. Об этой ответственности, сопряженной со здравым смыслом политика, князь помнил всегда. Во избежание массовой резни и разрушения Мстиславля князь сдал Мстиславль без сопротивления, **но встречать воеводу Щеню не вышел**. Но это только начало его внутренней драмы.

Вскоре герой О. Ждана будет поставлен в еще более жесткие условия выбора: он должен отказаться от Литвы и присягнуть Василию. «*Отложиться от Литвы и присягнуть Москве? Послать грамоту Жигимонту, что слагаю присягу с себя?.. Но родился я в самой середине Великого княжества Литовского, в тридцати верстах от Менска, в городе Изяславле... Ты знаешь,* — обращается князь к святому отцу, — *мстиславское княжество мне и счадкам моим на веки вечные отдал Александр Ягеллон, Великий князь Литовский, Жемойтский и Русский... Как же я предам брата его Жигимонта?..*» [8, с. 158] В этих словах — все отчаяние князя, масштабы его душевного смятения. Ведь «*менять государство — значит, менять жизнь*» [8, с. 202]. Нет, князь не за себя боится, а «*за сынов своих, за дочек... Ну и за людишек в городе*» [8, с. 202]. Нелегко дается князю его выбор, никто не решается разделить его ответственности. Тогда он обращается к природе, едет в лес и там, в шуме деревьев, он слышит «*гул человеческих судеб, казалось, там, вверху, встречаются прошлое и будуще, и гул оттого, что — известно все, ничего не скроешь, не спрячешь, и нет утешения ни внизу, ни вверху*» [8, с. 233]. Нет утешения князю. Остается только здравый смысл, который победил все другие смыслы. Князь присягает в верности великому князю Василию, государю всея Руси. И не только присягает, но и совершает при этом «*крестное целование*». Однако и здесь побежденный князь сумел сохранить, если не честь, то свое внутреннее достоинство: «*Не покрестился ты, как поцеловал крест. И потом не покрестился*» [8, с. 234], — заметил его неискренность тот же Щеня.

Таким образом, О. Ждан сумел создать яркий образ исторической личности, отобразить эпоху. А вместе с этим попытался постичь философию войны

и мира, жизни и смерти. «*А может, другой жизни и не бывает? Может война и есть нормальная наша жизнь, а замирение — только чтоб с силой собраться... Один построил — другой спалил, одного родили — другого погубили... Не надо удивляться ни жизни, ни смерти. Равны они, жизнь и смерть*» [8, с. 224—225]. И в этом трагическом водовороте жизни и смерти человек изменить ничего не может, ибо ни жизнь, ни смерть ему не подвластны. «*Жизнь, смерть... Об этом думать не надо. Оно само приходит-уходит. При чем тут мы, люди? И жизнь, и смерть — от Бога*» [8, с. 225]. Что же остается для человека? Душа. За душу человек остается в ответе, она — связущее звено прошлого и будущего. «*Душа для человека — все. Она знает и то, что было, и то, что будет. Она главней всего. Ты помрешь, а у нее тогда и начинается настоящая жизнь*» [8, с. 247]. Жизнь в будущем.

Роман «Князь Мстиславский» получил высокую оценку в отечественной критике. По мысли Д. Мартиновича, О. Ждану «*удалось погрузиться в прошлое и открыть для читателей спрятанную в глубине веков Атлантиду — прошлое родного Мстиславля и своей страны*» [9, с. 2].

Критик Ю. Сапожков воспринял роман, прежде всего, как «*попытку разобраться в смысле жизни, в ее жестоких противоречиях, попытку заглянуть в глубины прошлого, во многом определяющего наше сегодняшнее поведение*». Для Ю. Сапожкова «*Князь Мстиславский*» — «*вещь сложная и тоже противоречивая, как сама жизнь. В ней ни одного персонажа сугубо положительного. В ней нет судей — только судьба*» [10, с. 206]. Но главное все же не это. Весьма своеобразно прочитывает критик образ Михаила Ивановича Жеславского, считая, что «*унижение не возвышает*» [10, с. 204], а принародное целование креста на верность Василию — это «*полное поражение*» Михаила Ивановича. Особенно смущают последующие параллели критика — пусть и непрямые — с героями войны 1941—1945 годов: начальником заставы А. М. Кижеватовым, полковым комиссаром Б. М. Фоминым, здесь же озвучивается и имя Власова. Каждое историческое время имеет свою идеологию и своих героев. Это разные уровни развития человеческого сознания и разные морально-этические приоритеты. «Полное поражение» князя в чем? В спасении города и человеческих жизней? Думается, в этом последнем поступке и проявился настоящий характер князя, его мужество и величие духа. Герой попрал свою княжескую гордость, смирил гордыню, но сохранил жизнь людям. Он руководствовался не честью, а здравым смыслом. Кстати, как подчеркивает писатель, многие удельные князья в своих поступках часто этим смыслом руководствовались. Именно в таком решении образа — основная заслуга автора романа «Князь Мстиславский».

Православная тематика — это новое направление в отечественной прозе.

Вспоминается удивительно тонкое по психологическиму рисунку философской мысли повествование В. Ковтун «Пакліканыя» (2007). Роман посвящен святой Евфросинье Полоцкой, великой заступнице земли белорусской. В 2007 году был опубликован роман-хроника Н. Еленевского «Время пастыря», где автор открывает имя священника Лунинецкой церкви Тихоновича Платона Максимовича — автора первой белорусской грамматики.

Роман О. Ждана «Государыня и епископ» (2012) в определенном смысле перекликается с текстом Н. Еленевского. Писатель тоже «открывает» епископа Конисского. Оставаясь верным мстиславской истории, О. Ждан пытается определить роль православной церкви в развитии белорусской государственности. Как и раньше, прозаик отталкивается от исторически-реального факта посещения Мстиславля императрицей Екатериной Алексеевной по пути следования в Тавриду. Переплетаются две разностилевые повествовательные линии. «Линия» светской жизни, наполненная светлым юмором, иронией и «линия» жизни и деятельности архиепископа Георгия Конисского, где доминирует драма, письмо психологически-аналитическое.

Георгий Конисский был одним из образованнейших людей своего времени. Окончил знаменитую Киево-Могилянскую духовную академию «*с особенной похвалой*», и там же был оставлен преподавателем по классу красноречия, стал профессором философии, а потом и профессором богословия. В 27 лет было совершено торжественное пострижение в монашеское служение Богу, а в сентябре 1789 года, на двадцать седьмом году служения, Георгий был возведен в сан архиепископа и назначен членом Святейшего Правительствующего Синода. Стал епископом Могилевским. «*Пришло время отстоять нашу веру! Пришло время заблудшим овцам возвратиться в свои стада*» [11, с. 12], — ставил перед собой задачу великий святитель.

Продолжалось противостояние православной церкви и инославных: католиков, униатов и др. Писатель, как и в романе, вводит в текст множество исторических и документальных свидетельств, среди которых и воспоминания самого Конисского. Спокойной жизни на мстиславской земле не было уже почти двести лет. Особенно злобствовали «*псы Господни*» — доминиканцы, они силой отнимали храмы у православных, принуждая их носить на себе огромные деревянные кресты с еловыми венками. Засилие католицизма продолжалось и после подписания договора о вечном мире между Россией и Польшей в 1686 году. Согласно этому договору, пять епархий имели право сохранить православие, однако ко времени служения епископа Георгия осталась одна — могилевская. Воссоединение с Православной церковью всех отнятых у нее епархий, Георгий Конисский считал своей главной задачей — «*иначе зачем он ходит по земле?*» [11, с. 19]

Георгий Конисский в отображении О. Ждана — личность масштабная. Это не только священник, вся жизнь которого была направлена на укрепление православной церкви. Это — герой возрожденческого плана. Он добивался веры **во имя** своего народа, а не той, которая его духовно уничтожала или унифицировала. Георгий желал соединения всех национально-просветительских и духовно-христианских сил с целью более успешного, прогрессирующего продвижения народной жизни. Консолидирующей силой в этом процессе, по его убеждению, должно стать православие — истинно белорусская вера.

Проповеди епископа — это образец ораторского искусства. Они «многожанровые»: проповедь-обращение, проповедь-просьба, проповедь-мольба, проповедь-благоговение, проповедь-благодарение. Они характеризуют Конисского как великого национального деятеля, страстного заступника белорусского народа. Наряду со святой Евфросиньей Полоцкой, Василем Тяпинским, Афанасием Филиповичем, Кириллом Туровским, Симеоном Полоцким... Они — из кагорты «пакліканых».

Георгий добился своего, польский сейм утвердил Трактат о свободе вероисповедания в Польше. Закончилось его трехлетнее мучительное пребывание в Варшаве. Но удовлетворения не было, ибо по сути ничего не изменилось: истязания православных продолжались. Задумано было покушение и на самого епископа, но ему удалось тайно убежать в Смоленск. Ситуация изменилась лишь после того, когда Могилев перешел в состав России. Приход за приходом, целыми деревнями крестьяне возвращались в православие.

Георгий выполнил главную задачу своей жизни. Но церковь нуждалась в поддержке государства. И в этом плане епископ Конисский возлагал большие надежды на Екатерину. Он был многим обязан императрице, ощущал ее поддержку, хотя и был несколько озадачен ее указом, который позволял отнимать земли у монастырей и церквей.

Создавая портрет великого подвижника, О. Ждан одновременно стремится вникнуть в нравственные основы христианского гуманизма, коснуться сущности таких понятий, как вина и покаяние. Затрагивает он и основу основ православия — положение о греховности человеческих поступков. Георгий обвиняет себя в грехе равнодушия к родителям, в том, что не проводил их в последний путь, «*грех малой любви к родителям и терзал его душу.* ***Но как ты тепл, а не***

горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих » [12, с. 10]. Он вновь и вновь приходил к родительским могилкам, «*плакал, стоя на коленях, захлебываясь от старых слез. Они простили его*» [12, с. 11]. Есть и другие грехи, которые терзали душу епископа, — он знал о них. Но были и такие, о которых он и не подозревал. Но за них он тоже в ответе. Он чувствует свою вину и за пьяного Савку Кумара, за свое непрощение, что не выслушал того, не помог. «*Разве прощение не один из главных камней христианства?*» [12, с. 25]

Вот так, постепенно, О. Ждан приблизился к одному из главных постулатов христианского учения — идее прощения.

Жизнь священника — жизнь особенная. Это — жизнь-служение, жизнь-самоотречение. Но все вместе — это подготовка человека к главному: смерти. Георгий никогда не забывал об этом. И был всегда к этому готов. Менял только смысл прощальных слов. «*Сперва едва не со слезами на глазах: «Если Ты бессмертен — сделай бессмертным меня!» Потом — «Спасибо, Господи!» Еще позже — «Продли!»* [12, с. 38] Но то было время «*несогласия и себялюбия*». Оно давно ушло в прошлое, сменилось смирением. Теперь Георгий твердо знал свои последние слова: «*Спасибо Тебе за жизнь. Прости, что не оправдал надежд*» [12, с. 38]. Но эти слова он скажет не здесь. На земле у него иная и уже заключительная миссия: выступить перед императрицей. Он должен передать ей свое и всего православного люда восхищение и любовь, «*передать так, чтобы она почувствовала его*» [12, с. 38].

Текст О. Ждана включает в себя два художественно-структурных центра, которые все время сближаются. Но если образ епископа представлен крупным планом, в психологическом и духовном движении, развитии, то облик Екатерины остается «за кадром». Ее присутствие незримое, ее образ как бы растворен в атмосфере подготовки мстиславцев к исторической встрече.

И только в конце романа эти два идейно-нравственных центра сходятся. Возникает сцена удивительного духовного катарсиса, очищающего не только героев О. Ждана, но и нас, читателей. Писатель приводит документальные слова епископа, слова, выстраданные всей его подвижнической жизнью. Георгий проникновенно приветствует и славит Екатерину. Но вместе с тем, он прощается с ней, зная, что больше они не увидятся. Его богоугодная и ее великая жизни приближаются к вечному. «*Как продлить ее? — К западу только жизни твоей не спеши, ибо воскликнем мы, как Иисус Навин: стой, солнце, и не движися, донеже вся противная намереньям твоим победиши!..*» [12, с. 38]

Георгий Конисский — образ высочайшей духовной силы. Это личность глубоко нравственная через свое служение Богу и родине. Но это и новый герой О. Ждана, несущий в себе новую веру в человека, новое понимание мира, новые нравственные и морально-этические ориентиры.

* * *

Критик А. Новиков на литературном портале приводит признание О. Ждана: «*С Мстиславлем, родиной, связаны, так или иначе почти все сюжеты моих рассказов — и современных, и исторических. Когда-то казалось — что мне эти Мстиславские читатели! Теперь — нет важнее...*» Сместился вектор творческой заинтересованности О. Ждана 2000-х годов. Теперь для писателя нет ничего важнее истории родного Мстиславля. Ибо «*если не я, то — кто же?*» — признался писатель в разговоре с автором этой статьи.

Истории Мстиславля посвящен последний по времени дискурс «Белорусцы»: повесть в трех сюжетах (Нёман, 2013, № 6). Основная идея повести прочитывается уже в ее заглавии. Кто такие белорусцы под небом славянским? И не только славянским, а общеевропейским — по своей онтологической сущности, ментальности, психологической уникальности? В чем, например, проявился князь Мстиславский как белорусец — не в этом ли остро подмеченном: «*Не*

покрестился ты, как целовал крест. И потом не покрестился». Сумел же князь в условиях полного подчинения остаться внутренне «неподчиненным», достоинство свое сохранить, и не только свое, а народное, ибо от лица народа выступал. Не в этом ли «архетипичность» характера князя?

В «Белорусцах» писатель вплотную подошел к созданию национальных **характеров-типов** — белорусцев, которые и являются представителями своего уникального по психологии народа. Три внешне автономных сюжета повести — «Скандал в Великом посольстве», «Царев град», «Путешествие» — являются по сути триптихом и решают одну и ту же художественную задачу.

«Скандал в Великом посольстве» построен, как и вся историческая проза О. Ждана, на документе. На этот раз писатель использовал дневник Петра Вежевича, стольника и подкомория Мстиславского. От его имени и ведется повествование.

Начало 1635 года. После Смоленской войны в Москву было направлено посольство для подписания вечного мира. От Польской Короны его представлял Александр Песочинский, от Великого Княжества Литовского — пан Казимир Сапега. Принимал посольство в Москве великий князь Михаил Федорович, царь всея Руси.

Автор проигрывает ситуацию, идентичную целованию креста князем Мстиславским. «*Мы сняли шапки, когда называли титулы. Но теперь не снимем, поскольку я наделен достоинством нашего короля. Не больше, но и не меньше*» [13, с. 17], — с вызовом, хоть и несколько высокопарно, пытается отстоять свою «вельможность» пан Песочинский. «*После свершения посольства, все мы пошли к царской руке. Целовал ли пан Песочинский руку царя, я не заметил,* — свидетельствует очевидец встречи, — *а вот пан Казимир Сапега* ***точно не целовал*** (подчеркнуто мною. — В. Л.), *только приложился челом*» [13, с. 18].

«Сюжеты» повести интересны своим «фоном», который насыщен деталями быта, своеобразным историческим «бытовизмом», обрядовыми действиями, секретами древних рабочих профессий и другими «атрибутами», характерными для того времени. Автор тонко подмечает остатки синкретической культурной традиции в жизнедеятельности людей этого края.

Впечатляет «Царев град», где основной темой повествования О. Ждан снова выбирает войну, на этот раз русско-польскую войну 1654—1667 годов. Однако здесь художественное решение темы войны концептуально иное. Писатель как бы полемизирует с собою прежним. Теперь для него главное — **образ войны** и ее трагический исход для народа мстиславского.

«*Заповеди Божьи соблюдайте и дела наши с радостью исправляйте; творите суд в правду, будьте милостивы, ко всем любовны, примирительны, а врагов Божиих и наших не щадите*» [13, с. 27], — такими словами в Успенском соборе напутствовал московский государь Алексей Михайлович своих верноподданных, выправляя их на войну. Князю Трубецкому со своим Особым Большим полком предстояло идти к Брянску, затем на Мстиславль, Могилев... Брянск сдался без боя. Впереди был Мстиславль: «*Больше восемнадцати тысяч ратников шагало — пыль стояла столбом. Позади строя на двуконных хорошо окованных повозках везли короткоствольные полевые пушки*» [13, с. 28]. Так начиналась, пожалуй, одна из самых кровопролитных в истории белорусского народа война, ибо в ней погиб каждый второй белорус [14].

Мстиславцы, вопреки ожиданиям Трубецкого, отказались открыть ворота города и сдаться на милость московитов. Они выбрали сражение, втайне надеясь на помощь войск Януша Радзивилла.

Все сплотились против общего врага, забыв о своих внутренних обидах и конфликтах. На переговоры к Трубецкому ушли вместе: отец Павел, ксендз Мартин и униат Софроний. Просили пощадить людей и город. Позже и тоже вместе ксендзы, священники униатских и православных храмов будут молиться под ядрами и пулями о спасении Мстиславля.

«*Понять здешний народ трудно,* — отметит в недоумении князь Трубецкой. — *Лезут католики в каждую щелку, два костела подняли меньше, чем за пять-десять лет, униаты выжили православных с Афанасьевского пляца, — а все равно вопили все вместе: «Бьемся!» и конечно, местный воевода вдохновлял всех*» [13, с. 35].

О. Ждан романтизирует образ войны, как это делали его далекие предшественники: Стендаль, Лермонтов, Л. Толстой. В тексте чувство восторга, страха и боли сливаются воедино. «*Ох, как красиво и страшно горела она* (Замковая гора. — В. Л.) *в ночи!*» [13, с. 43] Мстиславцы не встали всем городом на колени в молитве, они, осужденные на смерть, «*стреляли из мушкетов, пищалей, швыряли горящие головешки, бревна...Сам воевода Друцкой-Горской и войт Вырвич стояли среди шляхтичей с саблями и пищалями в руках. Страшное веселье накатило на них: чем ближе подбирались по горе ратники Трубецкого, тем азартнее становились их лица. Страх исчез с первыми выстрелами, казалось, еле сдерживались, чтобы не перепрыгнуть городень навстречу войсковцам*» [13, с. 43—44].

Мстиславль пал. Он и не мог устоять перед многотысячным полком князя Трубецкого. Тут же меняется и структура повествования. Из текста уходит романтика. Доминирует уже другой стиль, стиль трагедии, и иные традиции: Р. Олдингтона, Э. Ремарка, Э. Хемингуэя, М. Горецкого. Писатель подает страшную картину после сражения. «*Тела лежали везде, куда ни посмотри: стреляные, резаные, колотые. Одни — лицом к земе, словно пытались бежать и пика или пуля догнала их на бегу, другие — на спине, будто хотели в последний раз глубоко вздохнуть и взглянуть в небо, одни — широко раскинувшись, иные, напротив, подобрав под себя и руки, и ноги, словно затаившись в траве. <...> Тела лежали и в посаде, в переулках больших и малых. Было видно, что не только убегали, но и защищались — и в одиночку, и сообща. Лежали на дорогах, на порогах хат, будто надеялись спастись за дверьми, висели, перевалившись через прясла. Противно было на все это глядеть*» [13, с. 49].

Таким образом, О. Ждан создает очень яркий, впечатляющий «образ» войны. Здесь реалистическое граничит с натуралистическим, отчего степень боли, степень неприятия войны только усиливается.

«22 июля великою потугою и усилством через штурм мстиславский замок был захвачен. Народ всякий шляхетский, мещан и жидов, а также простых людей в пень высекли... среди трупов живых находили и в плен в Москву забирали, побито было больше десяти тысяч человек, — записал свидетель побоища» [13, с. 50].

В истории города та ночь так и осталась под именем московского князя — «*Трубецкая резня*» [13, с. 50].

Вопрос правильности/неправильности выборов князя Мстиславского и воеводы Друцкого-Горского, думается, еще ждет своего обсуждения. И соответствующей нравственной оценки тоже.

* * *

Историческая проза О. Ждана сопряжена с реализмом экзистенциально-эпического направления, который и становится для писателя источником потенциального богатства эстетических, художественных и духовных поисков. Художественное отображение феномена исторического прошлого Мстиславля подвигло прозаика к исследованию менталитета и самоидентификации белоруса и белорусского народа, привело его к необходимости осмысления специфики национального бытия и, как результат всего этого, — создание характеров-типов.

Постсоветская проза О. Ждана стремится к генерированию новой философско-художественной концепции, которая своей сущностью связывается с национально возрожденческими традициями. Автор усиливает патриотиче-

скую доминанту своих текстов. Его герой — все тот же странник, но уже не идейно ориентированный, а национально детерминированный. Это тип героя исторического, который внутренне «произрастает» из духовной субстанции своего древнего народа. В этом его неоспоримая сила и главное отличие. Но это тоже — странник. Переходя из одного исторического времени в другое и осознавая философию этого времени, он начинает все глубже понимать и свое достоинство и нравственную силу, а также достоинство и силу своего народа. Имя этому страннику — **белорусец**.

Талант Олега Ждана многогранен, он не только прозаик, автор ряда книг, романов, десятка повестей и большого количества рассказов. Он еще и драматург, киносценарист, переводчик белорусской прозы на русский язык. А недавно он успешно дебютировал в жанре детской сказки. К сожалению, размеры этой статьи не позволяют нам затронуть все аспекты его творческой деятельности. Писатель в поиске. А это значит, что он еще не раз порадует своего читателя и зрителя новым произведением.

Литература:

1. Букчин, С. Правда жизни и литературные соблазны / С. Букчин. — Нёман, 1986. — № 1. — С. 143—158.

2. Ждан, О. А. По обе стороны проходной: повести о необычных и обычных людях / О. А. Ждан. — М.: Молодая гвардия. 1987. — 383 с.

3. Ждан, О. Черты и лица.: повести / О. Ждан. — М.: Советский писатель, 1985. — 304 с.

4. Бондаренко, В. Сюжеты нашей жизни / В. Бондаренко // Ждан, О. По обе стороны проходной: повести о необычных и обычных людях / О. А. Ждан. — М.: Молодая гвардия. 1987. — С. 288—383.

5. Ждан, О. Сопровождающий: повесть / О. Ждан — Всемирная литература. 206. — № 2. — С. 63—101.

6. Ждан, О. Гений: повесть / О. Ждан — Нёман, 2011. — № 9. С. 115—137.

7. Хількевіч, У. Трышкін кафтан генія?: Гутарка У. Хількевіча з А. Жданам / У. Хількевіч — Звязда. 2012. — 17 сакавіка. — с.6.

8. Ждан, О. А. Князь Мстиславский: роман / О. А. Ждан. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 256 с. (Свет минувшего)

9. Мартинович, Д. «Свет минувшего» о мстиславской истории» / Д. Мартинович — Кніжны свет. 2010. — 17 верасня. — Выпуск 14.

10. Сапожков, Ю. Меж духом и словом: критические статьи, диалоги, эссе / Ю. Сапожков. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2012. — 272 с.

11. Ждан, О. А. Государыня и епископ: роман / О. А. Ждан // Нёман. — 2012. — № 9. — С. 3—45.

12. Ждан, О. А. Государыня и епископ: роман / О. А. Ждан // Нёман. — 2012. — № 10. — С. 3—44.

13. Ждан, О. Белорусцы: повесть в трех сюжетах / О. Ждан // Нёман. — 2013. — № 6. — С. 3—63.

14. Конан, У. Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі: у 3-х тамах. Т. 1. / У. Конан. — Мн.: Беларуская навука. — 2010. — 440 с. — с. 176—214.

С точки зрения рецензента

«Земля Могилевская» — уникальное издание

В 2012 году в Могилевской областной укрупненной типографии имени Спиридона Соболя увидела свет книга «Земля Могилевская». Издатель — Могилевский областной исполнительный комитет. Автор текста — писатель и историк Николай Борисенко. В книге использованы старинные гравюры, современные фотографии, а также фотоснимки из архивов областных и районных музеев — всего более 700 единиц. Издание вышло по заказу и при финансовой поддержке Могилевского облисполкома под общей редакцией заместителя председателя исполкома В. А. Малашко. Предисловие написал председатель Могилевского облисполкома Петр Рудник. В нем, в частности, говорится: «Орденоносная Могилевская область сегодня — это динамично развивающийся регион, крупнейший в Европе производитель автомобильных шин, химических волокон и многих других изделий, имеющих огромный потенциал. Его производственные показатели, как индустриальные, так и сельскохозяйственные, — одни из лучших в республике. Успешно развиваются сферы образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта... И все успехи нашего региона достигнуты благодаря тому, что бережно сохраняя прошлое, мы создаем будущее».

Летописная история Могилевского края насчитывает около 900 лет. Как административная единица Могилевская губерния образована по указу Екатерины Второй в 1772 году, а как область существует с 15 января 1938 года. Во вступительной статье «Край высокоразвитой индустрии и сельскохозяйственного производства» Н. С. Борисенко приводит сведения о крупнейших предприятиях области, о достижениях в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства.

Особый интерес представляет раздел «Золотое средневековье». В него включены очерки о Мстиславле, который в раннем средневековье был старшим братом Могилева, о войне Петра Первого со шведами (1700—1721), которая подолгу велась на могилевских землях, о Пустынском Свято-Успенском, Борколабовском Вознесенском, Буйничском Свято-Духовом и Могилевском Свято-Николаевском монастырях, о городах Могилеве и Шклове и их ратушах, об иконе Белыничской Божьей Матери. А еще о личностях, таких как: Илья Копиевич, создавший первый русский гражданский алфавит, Петр Мстиславец, который вместе с Иваном Федоровым напечатал первую книгу на русском языке, Лаврентий Зизаний, церковный деятель, ученый, известный своими произведениями «Азбука» и «Грамматика Словенска», Мелетий Смотрицкий, автор знаменитой грамматики, по которой учился М. В. Ломоносов, Спиридон Соболь, издавший Могилевский «Букварь».

Не менее содержателен раздел «Под сенью двуглавого орла», в котором отражены события, происходившие на могилевских землях в VIII — начале XX веков. Показательны заглавия очерков: «Могилев — неофициальная столица Российской империи», «Единственная епархия на территории Беларуси и Речи Посполитой...» (о Св. Георгии Конисском), «Судьбы Турции и Речи Посполитой решались в Могилеве», «Могилевский театр», «Борисо-Глебский

храм в Задубровенье», «А. С. Пушкин «проезжал через Могилев... останавливался на постоялом дворе», «А. С. Дембовецкий — губернатор края», «Его имя носит областной краеведческий музей» (о выдающемся ученом Е. Р. Романове), «Президент Сената Гавайской Республики» (о Н. К. Судиловском), «Черноморский флот России зарождался в Кричеве...», «Эпоха Зорича на Шкловщине» и так далее. Личности, о которых рассказывается в этом разделе, также с громкими именами: протоиерей и ученый Иоанн Григорович, первая в Беларуси женщина доктор медицинских наук В. А. Кашеварова-Руднева, составитель первого «Слоўніка беларускай мовы» И. И. Носович, художник-передвижник Н. В. Неврев, основоположник белорусской композиторской школы Н. Н. Чуркин и другие.

Раздел «Могилевское Поднепровье в советское время» менее объемен. О довоенном времени рассказано в двух небольших очерках. Более подробно повествуется о БГСХА в Горках. Особое внимание в книге уделено событиям Великой Отечественной войны. Ярко показана оборона Могилева в июле 1941 года, особенно бой на Буйничском поле, также рассказывается о борьбе партизан и жителей Поднепровья с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—1944 гг., о боях Войска Польского 12—13 октября 1943 года у деревни Ленино Горецкого района, о штурме Лудчицкой высоты 24 июля 1944 во время освобождения Быховщины от оккупантов.

Впервые полно и широко представлено культурное созвездие Могилевщины, в котором известные писатели, художники, артисты: народный художник Беларуси и России В. К. Бялыницкий-Бируля, народный художник Беларуси П. В. Масленников, известный киноактер Петр Алейников, народный артист Беларуси и Советского Союза В. Т. Туров, народный писатель Беларуси Иван Чигринов, народный поэт Беларуси Аркадий Кулешов, классик белорусской литературы Максим Горецкий, известный поэт Алексей Пысин, народный артист СССР, композитор Эдуард Колмановский и другие.

В книге немало внимания уделено и современности. Подчеркнуто, что «в соответствии с решениями Всебелорусских народных собраний обеспечен рост национальной экономики, повышение уровня и качества жизни людей. В целом ее первое десятилетие XXI века объем валового внутреннего продукта страны удвоен. Динамично развивается, увеличивается экспорт, наращивая производство, и Могилевская область». Убедительной иллюстрацией к этим словам является очерк «Александрия — малая родина Александра Лукашенко».

Буквально завораживают страницы раздела «Природы чудные мгновенья». Очерки «Быховская Ясная Поляна» (о Грудиновском парке), «Жиличский Версаль» (о дворцово-парковом ансамбле), «Природные жемчужины края» (о Чигиринском водохранилище на Друти и об озере Хатомля в Круглянском, о Полыковичской и Голубой криницах — в Могилевском и Славгородском районах) — это замечательные заочные экскурсии по природным памятникам Могилевщины.

Завершает книгу раздел «Сельское хозяйство Могилевщины: история и современность. Дожинки». В нем повествуется о культуре земледелия с XVI века до наших дней, также рассказано о празднике урожая «Дожинки».

Книга «Земля Могилевская», в силу своей информативности, высокого полиграфического исполнения, глубины и тщательности проработки материала является по существу энциклопедией Могилевского края.

Это уникальное издание и по содержанию, и по оформлению, которое сегодня может быть настольной книгой и для руководителя высокого ранга, и для краеведа, и для каждого культурного человека, патриота своей родины.

Виктор АРТЕМЬЕВ

С точки зрения рецензента

Из глубины молчания

Сравнительно недавно открыла для себя поэзию Аллы Никипорчик и как-то незаметно попала в поле ее притяжения. Сначала с благодарностью приобщилась к проникновенному настрою сборника «Сляза і малітва» (2006 г.), потом прислушалась к музыке книги «Пад бахаўскую такату дажджу» (2007 г.), к созвучиям слов, открывающим новые удивительные смыслы:

— не адчайвайся
— у гэтых словах няма адчаю
толькі чайкі ў іх крычалі
змоўкшымі галасамі
навек

и поняла, что эта поэзия мне близка.

Третья книга А. Никипорчик «На грани — счастья» (2010 г.), собравшая стихи на русском языке, созданные в 1970—80-х гг., показалась несколько неожиданной. Поэтесса, очевидно, почувствовала необходимость поделиться с читателем своими ранними литературными опытами и не ошиблась: сборник вызвал немало благожелательных откликов, был отмечен престижной премией Гродненского облисполкома.

Новая книга «Звуком единственным» (Никипорчик Алла. Звуком единственным: стихи. — Мн.: «Конфидо», 2012. — 200 с.) завершила эту своеобразную поэтическую ретроспективу, став звеном, соединившим ранние произведения с белорусскими сборниками 2000-х годов. «Дней связующая нить» как будто и не прерывалась: последнее стихотворение книги «На грани — счастья» датировано 14 ноября 1988, а «Звуком единственным» открывается стихотворением от 15 ноября того же года.

При завидной чуткости даже к едва уловимым состояниям в мире внутреннем и внешнем, при дневниковой точности датировки текстов А. Никипорчик отнюдь не стремится соответствовать «злобе дня». Казалось бы, конец XX века был богат событиями разного масштаба: и государства рушились, и новое тысячелетие надвигалось, и мало ли что еще... Не исключено, что в круговерти 80—90-х кто-нибудь даже осудил бы ее за отстраненность от кипения жизни (не потому ли она так долго молчала?). Зато читатель сегодняшний, листая книгу «Звуком единственным», нигде не наткнется на «временной барьер», поскольку чувствует то же:

хочется свободного времени
хочется чистого воздуха
хочется единственного голоса
но век зашел так далеко
что даже нельзя
оглянуться

Как видим, лирическая героиня вовсе не равнодушна к тому, что творится вокруг. Но она не останавливается на поверхности фактов, а делает широкие, иногда парадоксальные обобщения:

свободно продаем оружие
свободно продаем тела
свободно продаем души
земная ось кренится
все ниже...

Такую «свободу» героиня справедливо понимает как духовное порабощение. И сокрушается: «<...> о Господи! // как непрочен Твой мир...» и не может полностью принять сущее:

мой дождь и моя музыка
все остальное — не мое
чужое
почти — враждебное

Открыть вечное во временном (за временным) — разве не в этом и состоит смысл творчества? С такой же смелостью душа поэтессы рвется за пределы отведенного земному человеку пространства:

чего ты хочешь?
— слезы
слезы
и крыльев — в небо

В этой стихии она чувствует себя свободно: может взять солнце за луч, «как за веревочку», может «проснувшейся теплой ладонью гладить земной остывающий шар», а может пить одиночество «из ковшика луны».

Вот то-то и оно! Одиночество. Расплата за выход из привычных жизненных параметров. Лирическая героиня не унимается:

а что там — за этим небом?..
нет — не за домом
нет — не за февралем
а именно — за этим — небом?..

В ответ молчание. Даже тот, о ком «каждая мысль, каждая строка и каждая слеза», молчит. И это не тот счастливый случай, когда в гармоническом согласии душ все понятно без слов. Ситуация проста и безысходна:

я тебе
все
сказала
ты
все
не услышал

Тесно связанный с мотивом одиночества мотив молчания — один из доминирующих в новой поэтической книге А. Никипорчик и неизменно сопровождается тревожно-скорбными настроениями. Ведь «самый нежный шепот // самый яростный зов // все окаменевает молчанием», и значит, «я опять не дотянусь к счастью // в тени твоего молчания». Героиня слишком хорошо знает:

в молчании тоже задыхаются
как в дыму
в молчании тоже сгорают
как в огне

Поэтому надо преодолеть оковы немоты хотя бы «звуком единственным».

Вот и начинает проясняться смысл названия книги, и обращает на себя внимание еще один важный ее (да и всего творчества А. Никипорчик) лейтмотив — музыка. Она и успокаивает, и ранит, но всегда приходит как последняя надежда изболевшейся души.

Здесь уместно подчеркнуть, что музыкальная организация текстов в новой поэтической книге А. Никипорчик имеет принципиальное значение. Поэтесса явно предпочитает микроформы, поэтому большинство стихотворений произносятся почти на одном дыхании, действительно «звуком единственным». Взятые же вместе, они образуют оригинальный мелодический рисунок. Тут есть и классически гармоничные аккорды:

о что мне эта рана! — что в груди
и стих взовьется звуком лебединым
я отпущу тебя — иди
и счастлив будь
и будь любимым

— и фольклорные наигрыши, и стаккато, и речитатив:

о я знаю
как ты бережешь время
как ты боишься потерять его зря
я не берегу
я не боюсь
что мне время — без тебя
пыль
сдуну и не пожалею <...>

Вообще лирическая героиня тонко чувствует музыку поэзии:

под музыку Поля Верлена
не исправляйте меня
я нарочно оговорилась
просто звучат стихи Поля Верлена
вместе с музыкой Равеля
и Клода Дебюсси <...>

В шедеврах искусства прошлого поэтесса черпает жизненные силы и вдохновение (еще один лейтмотив сборника), но не образцы, которым следует подражать. Даже традиционные стихотворные формы встречаются в книге «Звуком единственным» крайне редко. Нормативный синтаксис и вовсе не используется. Главной организующей силой микротекстов А. Никипорчик выступают внутренние ритмы ее переживаний и раздумий, отзывающиеся голосу, точнее — разноголосице и диссонансам кризисной действительности конца века. Вот уж действительно:

Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить...

(Б. Окуджава)

И мысли свои лирическая героиня книги тоже не приспосабливает к готовым стереотипам. Напротив, даже обращаясь к общим местам и вечным темам, умеет задать неожиданный вопрос, находит необычный ракурс:

соленою струйкой по щеке
такая пресная жизнь
стекает

Глубокая неудовлетворенность жизнью остается главной причиной страданий лирической героини книги. Она уже почти уверена: «Все в этом мире — не мне // кроме боли». Но это отнюдь не поза, а повод к новым вопросам и раздумьям. Смятенная душа томится, но не ожесточается, а возвышается от страдания до сострадания:

...дую на обожженные крылья Икара
(я ведь тоже
летала
к Солнцу)

и потому, даже осмелившись на дерзкий упрек «Бог милует всех // кроме — поэтов», удостаивается прозрения:

...кого Я люблю
тех обличаю и наказываю
— читаю в Откровении
и говорю вслух
неужто и меня любишь Господи?!.

Здесь мы подходим к тому рубежу, за которым речи умолкают, уступая «слезе и молитве».

Другие читатели, наверняка, откроют в сборнике Аллы Никипорчик «Звуком единственным» иные грани. Жаль, если кто-то сведет все к поиску неточных рифм, ошибок (справедливости ради следует признать, что опечатки в книге иногда встречаются и что ее редактура могла быть проведена более тщательно) да к пафосным декларациям. Полагаю, однако, что вдумчивых и чутких читателей снова окажется больше. Книга «Звуком единственным» не обманет их ожиданий и отзовется в сердцах гармоничным эхом.

Ольга НИКИФОРОВА

С точки зрения рецензента

Жил-был... Шубуршун...

Краткий обзор некоторых детских книг, выпущенных «Издательским домом «Звязда» в 2013 году

Жил-был... Шубуршун...

Жил себе в лесу, на берегу небольшой речушки Болочанки, а потом девочка Вероника, собирая цветы, совершенно случайно захватила вместе с ними и Шубуршуна. И доставила его в свою минскую квартиру, и подружилась с ним...

Вот она лежит передо мной, новая детская книжка «Издательского дома «Звязда». Книжка называется «Прыгоды Шубуршуна», и автор ее — известный белорусский писатель Алесь Карлюкевич. И рассказывается в этой сказочной повести, как Шубуршун, поссорившись с Вероникой из-за ее легкомысленного отношения к учебе, отправился в самостоятельное путешествие по Свислочи в надежде возвратиться на берега родной своей Болочанки.

Кто же такой Шубуршун, возможно, спросите вы. Не знаю... да это и не имеет значения! Рожденный богатой фантазией писателя, маленький герой отважно преодолевает самые различные препятствия и опасности, встречаясь при этом, то с паучком Парашютистом, то (во сне, правда) с большим осетром, то с Дедом Фенологом...

Но Алесь Карлюкевич не просто рассказывает про необычное путешествие своего сказочного героя. Как и в прежних своих детских произведениях, в «Прыгодах Шубуршуна» он дает немало самого разнообразного краеведческого материала, иногда совершенно даже не связанного с главным сказочным сюжетом. Но, что удивительно, материал этот, даже тот, что не относится непосредственно к самому путешествию Шубуршуна, все же на удивление органично вписывается в повествование. И маленькие читатели мимоходом узнают, что в далекой от нас Австралии водятся кенгуру, а в не менее далекой Боливии — пумы. И дальше, все так же органично и неназойливо, рассказывается об удивительной природе Индии, где растет превеликое множество экзотических для нас деревьев с весьма необычными свойствами. Вот, к примеру, дерево ним, которое сами индусы называют «сельской аптекой», или, скажем, баньян с его множеством стволов, из-за которых это необычное растение получило еще одно название — «дерево-лес».

А знали ли вы, что в Канаде существует «Общество охраны осетров в реке Фрейзер»? Не знали? Я тоже не знал, пока не прочитал «Прыгоды Шубуршуна»... А вот сейчас буду знать, что такое общество и на самом деле существует...

А все потому, что хоть книга «Прыгоды Шубуршуна» — однозначно детская и сказочная, все эти дополнительные сведения в ней — целиком и полностью достоверные. И даже дети, читая эту веселую и увлекательную книжку, легко смогут понять и распознать, где в сказке работает затейливая фантазия писателя, а где в ней приводятся вполне реальные краеведческие материалы...

Новая книга Алеся Карлюкевича «Прыгоды Шубуршуна» небольшая по объему. Окончание ее оставляет сказочного героя на пути к его главной цели... и, конечно же, в этой сказочной истории обязательно будет продолжение.

И вообще, хорошо, что «Издательский дом «Звязда», кроме толстых и, увы, довольно дорогих детских книг, начал в последнее время выпускать и книги, куда меньшие по объему (а значит, стоящие дешевле). Помню из собственного детства, что тогда подобных тонюсеньких детских книжек имелось в продаже достаточное количество, и родители охотно их детям покупали. Правда, сами дети не особенно бережно обращались с такими книжицами... но это, как говорится, обратная сторона медали...

Кроме «Прыгод Шубуршуна» на моем столе сейчас лежит еще одна «книжка-малютка» из той же серии. Это «Вясёлая азбука» известного туркменского поэта Агагельды Алланазарова в переводе на белорусский язык Виктора Гордея.

Что можно сказать об этой книжке...

Не знаю, как звучат все эти детские стихи в оригинале, но переводы очень даже неплохие и, на мой взгляд, должны понравиться маленьким читателям «Вясёлай азбукі». Да и удивительно было бы, если бы такой талантливый белорусский поэт, как Виктор Гордей, вдруг взял да и написал (точнее, перевел) непрофессионально...

А вот еще две детские книги, выпущенные «Издательским домом «Звязда» в 2013 году. Это «Фабрика хорошего настроения» Дмитрия Савчика и «Как два брата этикет изучали» Натальи Игнатенко. Книги эти, по сравнению с предыдущими, более объемные, в твердом переплете... но сейчас меня больше интересует их содержание...

Итак, «Фабрика хорошего настроения»... что можно сказать об этой книге?

Это сборник авторских сказок, и названа книга по одной из сказок сборника. А всего в книге аж 49 самых разнообразных сказочных историй: веселых и немного грустных, очень лирических и в чем-то даже поучительных (как, к примеру, «Мудрая сказка» или сказка «Как стать волшебником»). Многие сказки Дмитрия Савчика невольно напомнили мне сказочные истории Ганса Христиана Андерсена, правда, без его грустных окончаний, ибо сказки Дмитрия Савчика почти всегда заканчиваются счастливым финалом. И, часто, увы, довольно предсказуемым, когда начинаешь читать сказку и уже с самых первых строк понимаешь, чем она должна завершиться...

Мне могут возразить, что в сказках для детей младшего школьного возраста (а именно для них, если верить аннотации, и предназначается книга) так и должно быть, потому что тот же Ганс Христиан писал свои грустные сказочные истории для взрослых (это потом уже они резко «помолодели»). Все это так, но...

Я просто не уверен, что многие сказки «Фабрики хорошего настроения» предназначены именно младшим школьникам, ибо в них так много влюбленных художников, пекарей, портных, барабанщиков, и все они как-то слишком уж однообразно влюбляются в принцесс (кстати, почему именно в принцесс?)... и дело всегда заканчивается свадьбой. Впрочем, в сказках «Серебряный колокольчик» и «Принц цветов», наоборот, простые девушки влюбляются в принцев... и даже простой Снеговик влюбляется в прекрасную Метелицу (сказка «Снеговик»), а петушок Ритти женится на курочке Мери (сказка «Петушок Ритти»). И лишь в одной из подобных сказок (сказка «Портной и злая принцесса») дело не заканчивается свадьбой, хоть главный герой в ней без памяти влюбляется в принцессу...

Никоим образом не хочу сказать, что это плохие сказки! Просто, на мой взгляд, в книге «Фабрика хорошего настроения» вперемешку собраны сказки, которые действительно будут интересны детям младшего школьного возраста, со сказками, предназначенными все же для детей возрастом чуток постарше.

Впрочем, это мое субъективное мнение, и я его никому не навязываю...

Следующая детская книга «Как два брата этикет изучали» Натальи Игнатенко — это одна-единственная стихотворная история о том, как, изучив правила этикета, бывшие хулиганы стали примерными ребятишками. Довольно неправдоподобно, да и сама Наталья

Игнатенко заканчивает свою книгу следующими словами: «Но достаточно ли людям только правил этикета?»

Конечно, недостаточно, но я даже уверен, что книга «Как два брата этикет изучали» тоже найдет своего читателя. А автору (как коллега коллеге) посоветовал бы в будущем сделать язык своих произведениях для детей более «детским», что ли... Ибо от фраз, типа «*исходя из написанья*», «*критерии понятны*», «*технику броска он демонстрировать пытался*», «*не рассчитал, однако, дерзкой юношеской силы*», «*жертвами азарта стали*», «*к нужной цели плодотворно продвигались*», так и веет какими-то канцеляризмами, что ли... Во всяком случае, для детей (а уж, тем более, для детей младшего школьного возраста) надо, на мой взгляд, писать немного иначе...

И закончить этот свой краткий обзор хочу сборником авторских сказок современных белорусских писателей «Куды блінок закаціўся». Сборник этот, кстати, открывает новую книжную серию «Казачны куфэрак», следующие книги которой выйдут в 2014 и последующих годах...

Что можно сказать о сказочном сборнике «Куды блінок закаціўся»?

В книге — 24 сказки тринадцати авторов, очень разнообразных по тематике. К примеру, сказки Анатолия Бензярука и Петра Васюченко невольно напомнили мне (в хорошем смысле этого слова) бытовые народные белорусские сказки, а сказочные истории Раисы Боровиковой — незабвенного Ганса Христиана Андерсена (я, кстати, уже упоминал о нем чуть выше).

В сборнике «Куды блінок закаціўся» имеются и стихотворные сказки (Виктор Гордей, Владимир Мозго), и сказки для самых маленьких (как, к примеру, сказки Анатолия Зекова)... и вообще, все сказочные истории подобраны составителем сборника Ольгой Алексеевой со вкусом и с правильным пониманием того, каким должен быть настоящий сборник авторских сказок. Верю, что последующие сборники «Казачнага куфэрка» будут ничуть не хуже...

Геннадий АВЛАСЕНКО

С точки зрения рецензента

В этом окаянном сентябре...

1

У меня в руках сборник стихотворений витебского поэта Николая Наместникова «Листопад исповедальный»[1].

Уже беглого взгляда на книгу достаточно для вывода: родина Шагала, Малевича и «Славянского базара» дарит миру ярких творцов, художников милостью Божией. Помимо таланта, чтобы писать хорошие стихи, надо обладать интеллектом и широким кругозором; надо уметь видеть и замечать то, что сокрыто от глаз прочих. Н. Наместников — замечательный поэт в том смысле, что ему удается *замечать* поэзию. Даже там, где ее, казалось бы, и нет в помине. Нет, но только не для него.

Пути Господни, как известно, неисповедимы. Кроме разве что одного — пути к себе. Этот единственный путь, путь к собственной совести, и выбран автором сборника как путь к истине (что есть сама истина), как путь к любви (Бог есть любовь), путь из дней минувших в грядущее. Многое очень быстро меняется в нашей жизни. Одни ценности предаются поруганию, другие поднимаются на щит. Мы, чье детство пронеслось под звучные фанфары передовых пятилеток, а юность пропахла дымом стройотрядовских костров, сходившие с ума от хриплого голоса Высоцкого — мы уже не сможем полной грудью дышать другим эстетическим воздухом, какие бы благовония он ни содержал. Ведь еще совсем недавно многое было по-другому. Большая страна, большие надежды... Стереть все из памяти в один миг? Пока живы, прислушиваясь друг к другу, мы постараемся сохранить хоть немногое из того, что оставили нам политики — дух ушедшей эпохи. Негромкий, но уверенный голос поэта со страниц «Листопада» пронимает до мозга костей:

Пьешь золотую тоску одиночества.
Счастья — не выпало.
Славы не хочется.
Все, что имеешь,
осталось с младенчества:
имя без отчества,
дым без Отечества...

Что же это? Вступая на цыпочках в исповедальные кельи, мысленно оглядываюсь на многое из прочитанного, пережитого, пытаюсь искать в себе. Мелькают лица, обрывки фраз, непритязательные картины быта. Поэт как бы заново проживает свою жизнь.

Я и так этим веком побитый
и выжатый начисто.
Посижу под березой, как будто
в корчме придорожной,
и пойду себе дальше.
Вот только куда поворачивать,
чтобы жизнь не была совокупностью
ведер порожних?

Автор тоскует по уходящему, думает о себе прежнем, размышляет о своей Отчизне, о дальнейших ее путях. История народа — как поэтическая книга

[1] Наместников, Н. В. Листопад исповедальный: стихи. Минск: И. П. Логвинов, 2008.

памяти. И в ее лирическом «я» утихающими шагами первомайских колонн все еще галдим, скрипим, трезвоним чуть постаревшие и подуставшие в своем вечном энтузиазме «мы»:

Мы в небесах не отыскали тверди —
они для светлых голубиных стай.
Не дай нам, Боже, легкой, сытой смерти,
веселой нам в дороге смерти дай.
Мы шли и шли, — откуда брались силы! —
с уверенностью высшей правоты,
вбивая в придорожные могилы
простые деревянные кресты.

Это словно проникающая до глубины духовная терапия, и у нее есть «побочный эффект» — она пробивает на слезы. И никак не справиться с этим мне, скандалисту и бузотеру, вот уж вторую неделю к ряду.

...Ветрено и пусто на земле.
Засыпают города и веси.
В этом окаянном сентябре,
Господи, уста мои отверзи...

Поэзия Н. Наместникова способна увлечь, растрогать. Потому что говорит он о том, что близко и понятно всем, что вызывает восторг или скорбь у каждого человека, не утратившего еще в наш «период становления» признаки, так сказать, своей принадлежности к виду. Это не просто гибкие и прозрачные поэтические фигуры, это не просто хлесткие, полные иронии шаржи на нашу действительность. Его поэзия — словно невесомые пожелтевшие кленовые листья, медленно падающие к ногам, говорящие о преходящем и вечном.

Посеян на крови,
взошед на трупах
и осиян мерцаньем кумача...
Я узнаю тебя, мой город Глупов,
по выщербленным стенам кирпича.
По дворничихам,
бьющим лед ломами,
фуражкам серым и —
не обессудь —
заборам с непотребными словами,
в которых этой жизни соль и суть...

Особые темы в творчестве Н. Наместникова — темы матери и Родины. «Пусть боль моя в словах обрящет плоть. // Давно не верю в теплый свет наитий. // Вот Родина, все остальное — прочь! // Вот мама; все другие, отойдите...» — обмолвился Н. Наместников в одном из стихов из предшествующих книг. Здесь можно говорить о своеобразной эволюции образа: озорной витебский пацан превращается в нежного, заботливого сына. Картины жизни в стихах Н. Наместникова напрочь лишены всякой ханжеской ретуши. В них присутствует некий прозаический шарм и этим они трогают, западают глубоко в душу. «Доносит ветер голос мамин, // как из галактики иной. // А ты стоишь и пьешь с друзьями // апрель, девчонок и вино...» Тематический «тандем» — мать, Родина — получает развитие и в «Листопаде исповедальном»:

Штопал свою долю — только мало толку,
лишь иголкой пальцы исколол зазря.
Говорила мама: дело не в иголке.
Выбери дорогу. Отыщи себя.

Где дорога, мама? Нет такой дороги!
Я давно отрекся от пустых затей.
Дома меня встретит друг четвероногий
и ночные сводки теленовостей...

Ныне понятие «патриотизм» все чаще неоправданно политизируется, наделяется несвойственными значениями, подчиняется разномастным догмам. В своих стихах автор «Листопада» признается в любви к Родине, большой и малой. По Наместникову, эталон патриотизма — не только любовь, но еще вера и надежда. Сквозь невзгоды и разочарования. А вместе получается — верность.

Здесь, как прежде, звучат три блатные
аккорда окраины,
и слетает сизарь со своих
невозможных высот...
Я люблю этот город —
и речку с блестящей окалиной,
и район, куда ночью не каждый
таксист повезет...

Метафорическое переосмысление понятий и явлений — вотчина лирики. Мотивы листопада являют собой тонкий и пластичный материал для философской интерпретации. Им сопутству-

ет богатейшая палитра художественных средств, стилистических фигур. Пейзажи пишут многие. О листопаде пишут многие. Символичная атмосфера увядания природы «работает» на особенности восприятия. В каждой строфе улавливается некий экзистенциальный надлом. Н. Наместников весьма органичен в амплуа философа. И как следствие — убедителен. Ибо его философия не претендует на статус некоего абсолюта, оракула, мессии. Стихи звучат по-домашнему уютно и вдохновенно, напоминая чей-то шепот в полупустой деревенской церквушке.

То, что столько лет казалось раем,
обрело свое названье — жизнь.
Тетя Галя, что ж мы умираем?
Ты хоть — по-соседски расскажи...

Растолкуй, как дураку,— на пальцах —
непонятный этот листопад:
дунет ветер — листья разлетятся,
а не дунет — все равно летят...

Обещали листопад, а холодный душ получился. «Платишь стихами свою десятину, // что, как солому, ветром развеет.// Собраны камни. Выпиты вина. // Пятый десяток мельница мелет...» Вот и я уже живу и грущу под своим листопадом; молчу, оглушенный этой негромкой исповедью.

2

Николаю Наместникову удалось отыскать свой путь в поэтическом мире. Колорит его художественного почерка, как видится мне, вдохновлен «чистым искусством» Фета и Тютчева, навеян «диковинками» Серебряного века, проходит через полустанки «тихой лирики» Рубцова, многолюдные подмостки шестидесятников. Поэт выработал и довел до совершенства свой неповторимый стиль. А стиль, как известно, есть показатель класса. Творчество Н. Наместникова можно включить в русско-белорусский культурно-исторический и литературный контекст. К примеру, сентиментальные хмельные мужички Н. Наместникова очень близки и родственны таким же персонажам А. Платонова, В. Шукшина или С. Довлатова, а его белорусские старухи в глубине образного наполнения чем-то сродни знаменитым старухам В. Распутина. «Инструментарий» литературного языка у него максимально эффективен. Когда поэт говорит о провинции, из-под пера выходят пасторальные, буколические элегии. Когда речь заходит о метрополии — он элегический урбанист. На том основании, что поэту удалось придать конкретному пространству характер мифопоэтического универсума. Открывая его листопадно-исповедальный сборник, подняв воротник, захватив зонт, читатель отправляется в путь и, сделав шаг... оказывается дома, на месте. На своем месте. Своеобразное поэтическое «наместничество» Николая Наместникова.

Пейзажи «осенней Отчизны», ее непарадная сторона, уравниваются поэтом «в правах» с идиллическими картинами из рекламных буклетов. В «Листопаде» Н. Наместников ведет неспешную беседу с народом о его судьбе, на языке его души. В ходу иные ценности и категории. Наш респектабельный мир получает преломление в полных брутального обаяния фантазиях поэта. Вместо Всемирной паутины — настоящая паутина на ветках и углах; вместо информационных технологий — «граффити» на заборе.

Вагон — плацкарт.
Уют по-белорусски,
где даже тараканы толерантны,
где пьют под немудреную закуску
и режутся в засаленные карты...

Ирония постепенно иссякает. Приходит понимание того, что жить здесь и не любить все то, что болит, то, чего мы стесняемся, да из чего и сами состоим, нельзя. Здесь все счастливы и несчастны одновременно. Здесь смешались миф и гротеск, трагедия и буффонада. Грубоватые манеры, дешевые напитки, туманные перспективы.

Боль по кругу, стыд — по кругу.
остальное — под замок.
Пьяный Генка бьет подругу,
потому что он — без ног...

Потому что хочет пива,
а в кармане ни гроша;
Потому, что жизнь мимо,
распроклятая прошла...

(Сборник «Забытые небеса», 2000)

Н. Наместников видит поэзию в прозе, величие в, казалось бы, низком, совершенство — в нелепости. Вся эта парадоксальная, неудобоваримая реалистичность формирует своего рода паноптикум с манящей атмосферой не музея, но заповедника. «Я помню эти молодые лица, // горячность споров, суету обид. //... Кто спился, кто подался в заграницы, // кто до сих пор устраивает быт...» Опрокинутый на лопатки материальный мир поэта, этот его эскапизм, побег от себя нынешнего к себе иному, прежнему, лучшему, оборачивается попыткой вскочить на подножку уходящего в никуда поезда. Ведь от себя не убежишь.

Я люблю неожиданность встреч,
что всегда неслучайны,
переулки кривые,
где воздух сиренью пропах.
Здесь одни мои сверстники вышли
в большие начальники,
а другие сгорели в барачных
сырых сквозняках...

«Позвольте, так что же это за ценности такие — сквозняки, бараки?!» — возможно, с негодованием возразит мне пахнущий недешевым парфюмом представитель поколения «next», вынимая из ушей затычки. И будет идеологически прав. Но есть еще правда иная, которая глаза колет. Без нее никакой идеологии не устоять. Я бы назвал это «эстетическим эффектом резки лука». Хмельной мужик, что рукавом протирает могильный камень; полоумный старик на ступеньках костела; шпалоукладчица; «старухи в позабытых деревнях»; женщина, припавшая к могильному кресту; «хлопчик в сорочке рваной»; мужик, пьющий пиво «из запотевшей банки»; девчонка, которой «снится артист Домогаров», (а училка достала своей «Спадчынай»); полвека живущие вместе хуторяне пани Ядвига и пан Теодор; дворники и дворничихи, бьющие ломами лед; «мужичонка, рябой, как селезень»; фронтовик дядя Яша, что пишет длинные письма из Израиля; проводница с «искринкой в глазах»; «стайки одуревших малолеток с повадками взрослеющих братков»; старуха из лесной деревушки; девчонка, летящая «по солнечным лужам»... Образы выходцев из народа, яркие, живые, осязаемые, помогают нам, спохватившимся удостоить должного внимания нашу затрапезную обыденность, вкусить ее скромного обаяния. Заполняя этот пробел, вроде любуясь рутиной, поэт выписывает портреты почти с фотографической точностью. И имеем на выходе то, что имеем: «...народность. Или нация. Или еще народ». Вещи своими именами? Но люди — не вещи. Они из плоти и крови. По образу и подобию... Все в поэзии Н. Наместникова серьезнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Стоит только немного поразмыслить, чтобы вдруг осознать: да ведь все это мы и есть. Это все о нас. Старики и старухи с непростой судьбой, заблудшие дочери и непутевые сыновья Отчизны. Они живут рядом, глотая слезы, сжимая виски от боли и отчаяния.

Поэт неслучайно исповедует в своих стихах интерес и симпатию к маленькому человеку. Тема, разумеется, не нова. Но она блеск как хороша и своевременна для белорусской почвы. Эта проекция на себя, а заодно и на нас, земляков, современников, раскрывает недюжинный духовный потенциал смиренного народа-работяги, по-христиански безропотно принимающего свою судьбу. И пенять на зеркало — не выход. Хмельные мужички Н. Наместникова сообщают нам такую энергию человеческого обаяния и цельности натур, которой днем с огнем не сыщешь у застекленных херувимов с любой доски почета.

У персонажей стихотворной галереи Н. Наместникова есть одна особенность. Несмотря на лирический ореол, они достаточно эпичны. О каждой ипостаси можно говорить и говорить. О каждой фигуре можно при желании написать нечто довольно крупное в прозе.

...Ей поплакать бы — так не плачется,
да и в лучшее, в общем, не верится.
Двадцать лет была шпалоукладчицей,
и уже ничего не изменится.
....
Под откосом сидит, чуть выпила.
Шелестят листвой ветры шалые.
А в шкафу висит платье с вырезом.
Ой вы, шпалы мои, шпалы-шпалочки...

Без маленького человека, его страданий, его обреченности, горькой, немилосердной доли невозможна жизнь великодержавная с гламуром и высокими показателями. По той простой причине, что за каждой цифрой в газетных сводках стоит скромный, незаметный труженик. Хорошо, если он устроен, доволен своим уделом. Хорошо, если у него все сладилось в жизни. А если нет? Тема маленького человека является привычной и благодатной для этого поэта. Неудачники, жертвы обстоятельств, люди оступившиеся, как и их реальные прототипы, получают от него неотложную поэтическую, а значит, человеческую помощь. Помощь через участие и сострадание. Это им, бедолагам, аутсайдерам, юродивым, он, возможно, единственный протягивает руку. Книга показывает панораму жизни народа в лицах, в деталях. Они то портретно крупны, то мелькнут на секунду в одной строке. Но всегда оставляют неизгладимый след в душе читателя. И можно не принимать некоторые изыски бытописательского импрессионизма Н. Наместникова, но то, что стиль его письма светлый, неоспоримо.

Плывет сентябрь к золотому устью.
От осени трезвеет голова.
Чем старше мы —
тем горше наши чувства,
но взвешенней поступки и слова.
Не оттого ли синий холод неба,
в твоей беспечной растворясь крови,
не оставляет места в ней для гнева,
а только для надежды и любви...

3

Немало Н. Наместников походил-поездил по родной земле. Многие из этих уголков не на всякой карте отыщешь. Он созерцает родную природу, питает свои замыслы новыми лицами, картинами народного быта; слушает, смотрит, внемлет. Здесь острее чувство Родины.

В разоренном войной местечке,
в обделенном людьми районе
жгут листву —
налетело столько! —
за неделю и не сгорит.
Где согласно забытой песне,
на лугу не пасутся кони,
бродит... Кто? —
Да не знаю толком,
но ему уже сорок три...

С карты Витебской области в лирику Н. Наместникова впорхнули названия местечек и весей Витебщины, целые топонимические букеты. Поставы, Плиса, Россоны, Браслав, Богино, Видзы; речки Вята и Лучеса и, конечно, Двина... Витебщина в этой книге не похожа на приглаженно-показную белорусскую провинцию с телеэкранов и передовиц. Николай рисует детали быта: чугунки на покосившихся заборах, старые фото на стенах хат, в которых стоит чарующий запах старины. «Вспышка на небе, грома раскат. // Зонтики. Лица. // Это — провинция. Та же тоска, // что и в столице...»

Эстетика «Листопада исповедального» привычна и понятна. Из всех возможных «измов» поэт отдает предпочтение двум: лиризму и мелодизму. На территории книги нет никаких вычурных экспериментов со словом. «Искринка», «выцелует» — примеры словотворчества немногочисленны. Его новаторство — в верности традициям. Его язык понятен. Что само по себе редкость для философской лирики. Ритм стиха упруг. Приметна, узнаваема и индивидуальная манера. Тексты сборника изобилуют метафорами. Поэт широко использует старославянизмы, урбанистический фольклор, фразеологизмы, идиомы («как Тузик тряпку»; «не по Сеньке шапка» и т. п.) Адаптируя все это в микрокосме своих текстов, Николай, как мастер гротеска и заправский авантюрист, сооружает коллизии, невообразимость которых иногда эпатирует и восхищает. «Ну что

мне до того, кто порубал Патрокла — // сосед по этажу или старик Гомер?»

Нередко лирика наполняется притчево-молитвенными мотивами, но, тем не менее, свежего, современного звучания не утрачивает. «Уста мои отверзи»; «как полуночный тать»; «Еси... и даждь... и днесь...»; «Ни Петра, ни Иоанна, // ни Иуды, ни Фомы...»; «Избави нас, Господь, от маеты...»; «Лазарь, воскресни...»; «Скажите, как Авраам родил Исаака?»; «Скажи мне, Каин, где брат твой, Авель?». В окружении вечных образов читателю-гурману ничего не остается, как внимать, заглядывать в справочники, лихорадочно листая Библию от одного Завета к другому. Поэт, являясь знатоком античной и средневековой культуры, мифологии, Библии, во всю использует этот материал в своих произведениях. Мелькают имена, приподнимаются культурные пласты: «Купала и Блок, // Баратынский, Асеев и Тютчев...», «но только не Коэльо» — это и парад авторитетов, личных пристрастий Н. Наместникова и его эстетический манифест. Разумеется, неслучайны отсылки к Карамзину, Пушкину, Салтыкову-Щедрину, Гете, Соловьеву, Тарковскому. Автор «Листопада» словно сверяет с читателем свои взгляды на искусство, деликатно проверяя систему ценностей своих современников; любопытствует, что у них в почете.

В стихах Наместникова роскошная звукопись. «**Глотка** п**ро**г**оркло**го»; «**р**ас**христ**анный **свист**»; «ли**ш**ь осина, как жен**щ**ина, вдруг у**ча**щенно зады**ш**ит»; «**кану**ны **кану**ли» и т. д. А вот вам и внутренняя рифма (рифма внутри строки): «Искали спасенья в пустыне осенней //... ». Или взять, к примеру, это: «Желтый клен. Журавлиный клин...» Так и слышится отчетливо в этих «кле-кли» звонкий журавлиный клекот. Подобных примеров в сборнике немало.

4

Лирика витебского поэта изящна в своей простоте и оттого благостно воспринимается самой взыскательной аудиторией. А что до сквозящей в ней угрюмости, так в старину был такой обряд: чтобы одолеть демонов их называли вслух по именам. Нечто подобное с гримасами нашего бытия проделывает лирический экзорцист Наместников. Но его борьба со злом христианская — исключительно через любовь. Говорят, что талант поэта проверяется в раскрытии трех главных тем: темы родины, темы матери и темы любви. Невозможно представить поэзию и искусство в целом без темы любви.

Хотелось не огня, но чуточку тепла —
пока костер еще разбрасывает искры.
Мы словно два пера из белого крыла —
того, что на ветрах никак не хочет
выстыть.

Понятно, что для поэта, манера письма которого равно пригодна и для молитвы, и для признания в любви, рассказ о последней — и то, и другое. Исповедь на высшем пределе откровения. Комментировать это трудно. Попробую прислушаться да повнимательнее вглядеться в зыбкие хляби эфира. Сквозь лабиринты событий на фоне пестрой массовки проступают едва уловимые черты. Слышны отголоски речей. Тиканье часов подчиняет ход жизни своим законам. Ножницы стрелок, кромсая ленточку дней, как неисправный компас, без устали указывают направление. Опадающая за окном листва для всех, кто остался за бортом, не смог отстоять у судьбы собственного счастья, сооружает ковчег.

С ночного неба опустись ко мне,
как желтый лист с осенней
ветки мокрой,
не отражаясь в запотевших стеклах,
хотя бы тенью —
легкой и бесплотной —
с ночного неба опустись ко мне.

Осень! Компромиссы у нее не в почете. Мотив мимолетного счастья неумолимо сменяется «стабильным» мотивом одиночества.

Осенние стихи —
преддверие зимней прозы.
Осенние дожди —
предвестники снегов.

Заплакано лицо.
Кто выцелует слезы,
чтоб приутихла боль —
хотя б до холодов?..

Коротко, и все же достаточно внятно прозвучала в «Листопаде исповедальном» тема поэта, творца. Характерно, что у Николая это философский мотив исхода, духовного перерождения: «И что теперь с того? Дыши. Пиши. Живи. // Вяжи, как узелки, денечки золотые... // Потом возьми весло и тихо уплыви // туда, где спит дитя задумчивой Марии». Осень — этап переломный, знаковый, веха. Но продолжается жизнь, продолжается творчество.

И ты себе растешь. Неспешно.
Помаленьку.
Все давишь из себя то дурня, то раба.
За шагом — шаг, потом ступенька
за ступенькой...
...А завтра будет дождь. И утро.
И судьба.

Как хорошо, что сборник «Листопад исповедальный» у меня в руках. Целые вереницы раздумий набегают, когда, закрыв книжку витебского поэта, бросаешь взгляд в гродненское осеннее окно. Так и не заметил, как за ним «засентябрило»...

Мама, мама, как я не заметил
на дорогах своих бесконечных,
что уже стали взрослыми — дети,
что уже стали редкими — встречи...

Я благодарен автору за эту встречу... Наша форсированная тяга к величию, пафосу вызывает улыбку. Вот мы говорим: «народ», «поэзия», «искусство»... А человек живет этим без всякого пафоса. Живет в стороне от мишуры и фанфар. Просто и с достоинством. Не «подался в заграницы». Не раболепствует, не отчаивается. Ухаживает за мамой. Пишет шедевры.

Сегодня то и дело слышны разговоры о неопределенности статуса русскоязычной литературы в Беларуси. При выявлении национальной принадлежности произведений и их авторов во главу угла ставится языковой фактор. Путь, на мой взгляд, верный лишь отчасти. Говоря о сборнике «Листопад исповедальный», хочется поговорить об этом поподробнее, так как многое здесь в этом смысле показательно.

Да, по идее искусство призвано крепить корни нации, сплетая вместе историю, культуру, геополитику. По мнению радикально настроенной части аудитории, именно язык наделен опцией индекса национальной принадлежности. Да, русская литературная традиция влияет на многих белорусов. Происходит это не только под влиянием предшествующей советской эпохи. Своеобразная культурно-историческая инерция? Экспансия? А может быть, историческая память? Но сегодня за окном другая страна. Родина... И можно сколько угодно ворошить историю, приводить спорные аргументы. С прицелом на диалектику, инакомыслие и прочие атрибуты эпохи демократических преобразований. Трезвый взгляд на вещи обязательно возобладает. Доподлинно ясно одно: русскоязычной поэзии в Беларуси быть! Она прописалась на Родине не сегодня и не вчера и пока еще удерживает свои позиции. Все попытки породить сомнения в этом тщетны. А все изложенное выше — тому подтверждение.

Но есть еще один аспект, о котором нельзя не упомянуть в рассказе о поэзии Н. Наместникова. Дело в том, что она, русскоязычная, существенно отличается от поэзии русской. И дело здесь даже не в языке. А в сознании автора, нацеленности на наши ритм и стиль жизни, наши типичные проявления, сугубо наш, местный «материал». Н. Наместникову удалось достичь очень важного в своем творчестве: самобытности, исконно национального звучания, которое ни с чем не спутаешь, пиши он хоть на китайском. Его лирический герой живет, чувствует, мыслит, как белорус. Слово художника звучит по-особому. Мерцающим светилом оно заглядывает к вам в душу в поисках отражения, не претендуя на большее. Как будто мимоходом, буднично, без затей. Взгляд на наш мир сквозь призму «Листопада исповедального» — как после долгой разлуки взгляд одинокой матери в глаза беспут-

ного сына... Нет ни обиды, ни укора, ни назидания. Но от этого взгляда хочется упасть на колени.

Если угодно, то это искусство невозможно сравнить с искусством восточных соседей так же, как оренбургские платки не сравнимы со слуцкими поясами. Искусство орнаментально. Что я имею в виду? Лишь для непосвященных орнамент — не более чем причудливые узоры. А фольклористы, этнографы умеют читать в них закодированную информацию. Эту черту в своих произведениях витебский поэт сделал вполне функциональной, читабельной. Социально ориентированная манера письма Н. Наместникова населяет его тексты очень и очень показательным «контингентом». Данный контингент составляют образы нашей богатейшей истории, в которой проявляется национальный колорит. Все эти «пани, панове, панночки»; этот звательный падеж: «Хароне», «друже»; этот «посполитый люд»; «шляхетские забавы», знаковый образ «белых крыльев», все это воссоздает реликтовый дух аутентичной белорусской культуры. Сегодня к этому можно относиться по-разному. Можно искать белые пятна истории; черные, трагические страницы. А можно гордиться своей уникальностью. В стихах «Листопада исповедального» есть предпосылки для обоих подходов. Пишущий на русском у нас извлекает в своем положении свой потенциал возможностей, одна из которых — уникальная философия языка. То есть примерно идентичный с восточными соседями набор языковых средств, но несколько иная манера ими распоряжаться. Орнаментальное искусство (ткача, гончара, поэта) украшает (от латинского «ornare» — украшать) жизнь народа, которому оно принадлежит. Это его визитная карточка.

В языке зашифрована история народа. Пока мы слышим ее при посредничестве поэта, диалог эпох и культур, диалог поколений формирует у нас под ногами устойчивую, а главное, плодородную почву, имя которой «национальный менталитет». К вершинам цивилизации от народной культуры. Как показывает знакомство с поэзией Наместникова, не только и не столько языковой фактор определяет нашу белорусскость. А еще, скажем, способность интерпретировать, понимать (помнить слова), например, слово «посполитый»... Есть в заглавиях сборника и «Родники», и «Криница». Исходя из своей стратегии, поэт использует то или иное слово. Изначально держа в уме белорусское слово «крыніца». Так русский язык в поэзии белоруса наделяется функцией культурного кода (орнамента). С одной стороны, он не совсем похож на соседский аналог, а с другой — является универсальным средством межэтнической, наднациональной коммуникации славянских культур и народов. Но есть и третья особенность. На каком бы языке ни творил белорусский поэт, это язык его исторической памяти. В Беларуси эта память всегда будет крепка, как нигде более. Потому что нигде более за нее так дорого не заплачено. В условиях нашей традиции сло́ва, которое собственно никогда не расходилось с делом, любой язык начинает расцветать и приобретает все новые характеристики и качества. Разночтения и различия в реализации русского литературного языка в России и Беларуси по праву заслуживают статуса общечеловеческих ценностей.

...«Дай руку. Мы вступаем в листопад. // Как в исповедь...» — не покидает меня голос поэта. После исповеди обычно следует причастие. Что будет за листопадом? Гадать не стану. Тем более что, «увяданья золотом охваченный», готов ко всему. Вот моя рука.

Дмитрий ***РАДИОНЧИК***

Жизнь в искусстве

Стефания Станюта — солнечная душа

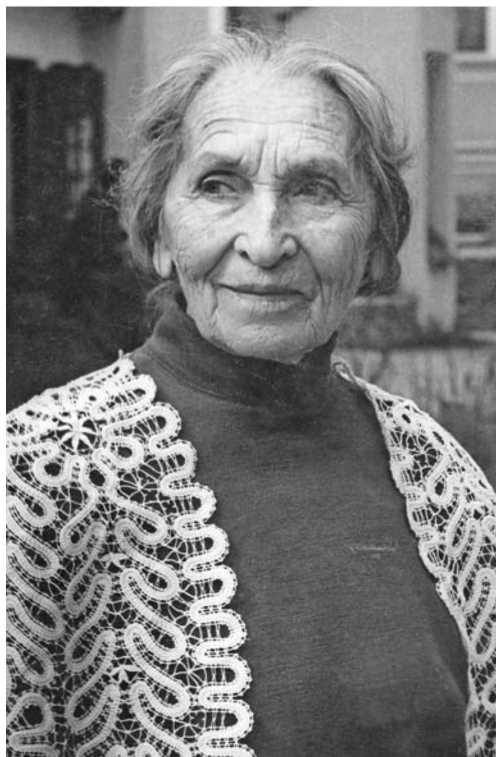
Когда я вспоминаю Стефанию Станюту, то почему-то прежде всего в памяти всплывает это. Как на сцене родного Купаловского театра праздновали 75-летие ее творческой деятельности.

Стефания Михайловна сидела на сцене на подиуме. Красивое резное кресло походило на трон. Актрису приветствовали сотни людей, к ногам ее складывали букеты цветов. Множество цветов — и над этой благоухающей горой все выше возносился ее трон. И все в зале были счастливы, такая удивительная атмосфера царила в нем. Любой контакт с актрисой приносил людям душевное равновесие и радость. Может, и дала ей судьба столь долгую жизнь, чтобы как можно больше людей ощутили на себе ее гармонизирующее влияние...

Именно на эту сцену пришла она 15-летней девчонкой, когда и театра-то еще не было, а было Первое товарищество белорусской драмы и комедии под руководством Флориана Ждановича. Пришла потому, что ближайшая подружка была тут статисткой и танцевала «Мазурку» Венявского. И говорила только об этом, ну как же было и Стефе не пойти? В массовке она чувствовала себя совершенно свободно. Но вот ей дали произнести одну фразу в спектакле по пьесе Голубка «Ганка». Она там была девчонкой Химкой и должна была сказать: «Ганка в колодце утопилась». Одну только фразу. Она выскочила на сцену, ослепла от множества лиц в зале. Онемела. И, наконец, выпалила: «Химка в колодце утопилась!», — забыв, что Химка это же она сама! Зал взорвался хохотом. Она слетела со сцены, забилась в кулисы и рыдала, повторяя: «Засмеют, не простят, выгонят...»

И простили, и не выгнали, а когда ей исполнилось 16 лет, вместе с другими талантливыми девушками и парнями послали учиться в Москву, где из них сформировали Белорусскую драматическую студию. После окончания учебы из студийцев был создан коллектив БДТ-2. И работать в 1926 году они начали в Витебске. Спектакли для репертуара театра готовили еще в Москве со своими педагогами. У Стефании роли: Психея в «Эросе и Психее», вакханка Агава в «Вакханках» Еврипида, царица эльфов Титания в шекспировском «Сне в летнюю ночь». Везде она гибкая, грациозная, бестелесная... «Ах, ей бы в балет!» — вздыхали с сожалением преподаватели. Но она выбрала драматический театр, и с 1932 года ее театром стал Национальный академический им. Янки Купалы, с того времени и до последних дней ее жизни.

Как выглядела в то время Стефания, мы видели на портрете, написанном ее отцом, бухгалтером по профессии, художником по призванию, серьезно занимавшимся живописью. «Портрет дочери» (он находится в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь) — самая известная из его работ. На картине она юная, тонкая, с какой-то экзотической восточной повязкой на голове, с косой. Косы Стефании достались по наследству. Когда ее мама Христина Ивановна садилась на стул и распускала косу, атласная черная волна касалась пола.



Красота юной Станюты была не канонической, не стандартной, и в Купаловский театр вернулась она не в лучшее для себя время. В эти годы там блистали такие гиганты сцены, такие самородки как Лидия Ивановна Ржецкая, Ирина Флориановна Жданович, Ольга Владимировна Галина, Глеб Павлович Глебов, Леонид Григорьевич Рахленко, Борис Викторович Платонов. В театре был переизбыток талантов, она не особенно выделялась на их фоне. И кто теперь вспомнит, что она была первой Зиночкой Зелкиной в знаменитой постановке «Кто смеется последним»? Пришедшая ей на смену Зинаида Броварская сделала свою секретаршу нахальной, пронырливой и более яркой.

У нее были интересные роли. Диана в «Дуре для других, умной для себя» и графиня де Бельфлор в «Собаке на сене» Лопе де Веги. Усатое чудовище Дуэнья в «Дне чудесных обманов» Шеридана и злобная крепостница пани Вашемирская в «Соловье» Змитрока Бядули.

Но слава пришла к ней поздно, когда она уже играла роли пожилых женщин и бабушек. Она стала популярной за пределами республики лишь после фильма Ларисы Шепитько и Элема Климова «Прощание» по повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой», где сыграла роль старухи Дарьи.

Я думаю, каждый без труда припомнит темный лик Станюты в этой роли. Лицо даже не иконописное, а будто вырезанное из потемневшего дерева. Дарья — воплощение памяти народной, совести народной, боли народной. Человек, умеющий разговаривать с землею, водою, деревьями и сознающий свою ответственность перед всем сущим. Угадала режиссер Шепитько, что в природе таланта Станюты — создание образов-символов.

Таким же символом сделала она и свою Марылю в «Разоренном гнезде» Янки Купалы. Образ-символ страдалицы и утешительницы, скорбное воплощение горемычной белорусской матери.

Стефания Михайловна делала абсолютно разными своих бабушек. Она сыграла милую хлопотунью-бабушку в спектакле «Верочка» Андрея Макаенка. И добрейшую ругательницу, грузинскую бабулю Ольгу в «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе и Георгия Лордкипанидзе. Как бранила, как проклинала она своего непослушного внучка Зурикелу: «Да чтоб твои родственники не успевали один одного за волосы на кладбище таскать!» И тут же, обняв его, ласково добавляла: «Зурико, ты знаешь, дорогой, когда я тебя ругаю, сердце мое тебя благословляет!» Она создала уютную сказочную бабушку Герды и Кая в «Снежной королеве» и атласно-элегантную бабушку из французской комедии «Двери хлопают», бабушку, к которой по ночам приходит кавалер. В кино она сыграла старуху-графиню в фильме «Три карты» (по «Пиковой даме» Александра Пушкина).

И вдруг в 1986 году начинающий тогда режиссер Николай Пинигин поставил спектакль «Гарольд и Мод» Колина Хиггинса и Жана-Кюда Карьера. И перед нами предстала абсолютно новая Станюта, легкая и грациозная, в модных брючках, с сединами, уложенными в изящную прическу, с летящим

газовым шарфом за плечами. Стефания Михайловна играла Мод, графиню, не придающую значения ни своему высокому титулу, ни нынешней своей бедности, прошедшую через концлагерь, не озлобившись и не потеряв веры в людей. Она, как и Дарья, понимала голоса всего живого, сочувствовала деревцу, живущему на загазованном перекрестке, проявляла чудеса изобретательности, чтобы выпустить на волю замученного в зоопарке тюленя. Но главное, что Станюту в роли Мод невозможно было назвать пожилой, хотя по пьесе ее героиня справляет свое восьмидесятилетие, а сама актриса была даже на год старше Мод.

Мод-Станюта была символом вечной женственности, головокружительно прекрасной женщиной, умеющей извлечь радость из каждой минуты бытия. В ее присутствии жизнь делалась неповторимо праздничной, и понятно было, почему в нее влюбился восемнадцатилетний Гарольд. Видели бы вы, какие сложнейшие наклоны и пируэты делала она в этой роли! И это на девятом десятке!

Я попала на премьеру «Гарольд и Мод» в очень тяжелый период жизни. Напастей было столько, что уже не было сил противостоять им. И внезапно эта удивительная Мод с ее гипнотизирующей радостью жизни. Все беды показались такими несущественными по сравнению с возможностью просто жить, дышать, видеть солнце!

Я уверена, магнетическая убедительность Мод объяснялась тем, что Стефания Михайловна одарила ее своим собственным мироощущением. Это сама актриса умела благодарить судьбу за каждый дарованный ей день, умела радоваться каждой травинке, каждому зернышку, видеть скрытую в них мудрость и образность. Она делала выразительные маленькие скульптуры из шишек, корешков, желудей; из зерен и ягод — прекрасные бусы, подвески — и дарила их своим друзьям. Я счастлива, что и у меня есть такой подарок, ожерелье из распиленных грецких орехов и замши.

Стефания Михайловна подарила его мне после телепередачи «Творческая эстафета». В передаче участвовали молодые купаловцы и Стефания Михайловна. Мы снимали передачу за городом на берегу реки. Там было несколько деревьев, наклонившихся к воде почти

Стефания Станюта и Виктор Манаев в спектакле «Гарольд и Мод».

Стефания Станюта и Елена Сидорова в спектакле «Верочка».

горизонтально. И она вместе с ребятами в возрасте далеко за 80 лазала по деревьям, веселилась на лужайке. Она в самом деле была абсолютно молода душой. И молодежь ее обожала.

Стефания Михайловна любила жизнь, праздники, юбилеи, небогатые, но веселые актерские застолья. И любила повторять: «Жизнь — это такое чудо!» Она обожала всякие розыгрыши. На кулинарный конкурс, устроенный в Доме актера, не будучи великой кулинаркой, принесла пирожные из буфета, но мы это дело раскусили и не допустили ее участие в конкурсе со словами: *«А за пирожные из кафе Станюте дружно скажем «фе».* Над неудавшимся обманом она смеялась вместе со всеми.

Стефания Михайловна была удостоена самых высоких званий: народная артистка Беларуси, народная артистка Советского Союза, академик Международной академии театра. И первый приз «Хрустальная Павлинка» был присужден ей. В Гомеле на международном фестивале председатель Союза театральных деятелей Беларуси Алексей Дударев объявил, что только что учрежденный приз вручается Стефании Михайловне. Она появилась на сцене, стройная, седовласая, неизменно элегантная в строгом синем платье с пелериной вологодских кружев. И в зале произошло невероятное: все от партера до осветительных лож встали и начали в едином порыве скандировать: «Ста-ню-та! Ста-ню-та!» Шквал аплодисментов не стихал минут пятнадцать, и весь зал будто накрыла огромная всепоглощающая волна любви, единения и радости. Любви и радости просто физически ощутимых. Такое невозможно спланировать, срежиссировать, такое происходит только спонтанно.

Ее называли живой легендой, талисманом Купаловского театра, а она была невероятно скромным, застенчивым человеком. Мы были вместе в экскурсионной поездке по Финляндии. По стране путешествовали на автобусе. И ей, как старшей по возрасту и общей любимице, наперебой предлагали место получше, впереди, где не так трясет. А Стефания Михайловна откажется и устроится незаметно в середине. И ни разу не пожаловалась на неудобства. Не попросила себе что-нибудь получше...

Вот таким светозарным человеком она была. И ее творчество — это скорее феномен не актерский, а человеческий. Драматург Алексей Дударев всерьез утверждал, что стоило ему увидеть Станюту — и день обязательно оказывался удачным.

Моя коллега назвала в честь актрисы свою дочку Стефанией. Имя-то какое удивительное — Сте-фа-ния, — как песня. Так назвал книгу о маме ее сын, литератор Александр Станюта. Стефания Михайловна подарила мне эту книгу с пожеланием добра и со словами: «Жизнь — какое это чудо! С. Станюта».

Мая ГОРЕЦКАЯ

Фотографии предоставлены Национальным академическим театром имени Янки Купалы.

Белорусские мадонны

Образ Марии — Мадонны — привлекал внимание художников во все времена. Каждый живописец воплощал его по-своему, сообразно своим мыслям и чувствам и, конечно же, той эпохе, в которую творил. В первую очередь, обращает на себя внимание наследие эпохи Возрождения: «Мадонна Конестабиле», «Сикстинская Мадонна», Флорентийские Мадонны Рафаэля. Во многом представители Северного Возрождения — «Мадонна с младенцем под яблоней» Лукаса Кранаха Старшего; конечно же, «Мадонна с куропатками» Антониса ван Дейка; «Мадонна с младенцем у камина» Робера Кампена. Думаю, читатели без труда вспомнят и современные образы Мадонны (я имею в виду XX век): «Петроградская мадонна» Кузьмы Петрова-Водкина, партизанские мадонны и «Мадонна Биркенау» Михаила Савицкого. Образ Мадонны стал сквозной темой творчества и белорусского живописца Алексея Кузьмича.

Алексей Кузьмич родился в деревне Мохро Ивановского района Брестской области, в многодетной крестьянской семье. День его рождения — 1 июня 1945 года — запомнился односельчанам большим пожаром, который вспыхнул от удара молнии. Говорили, что это знак, который обещал новорожденному большое будущее. Отец Василий Феодосьевич, участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен, выжил, и перед самым окончанием войны был комиссован из-за ранения. Вернулся домой, нужно было кормить большую семью. Василий Феодосьевич пахал, сеял — все делал сам (он был единственным взрослым мужчиной в семье). Но из-за тяжелых ран не выдержало сердце... Алексею было только полтора года. Он — самый младший из девятерых детей, трое из которых не пережили войну. Маме пришлось поднимать семью одной. Помогал дед, родные. Двоюродный брат Алексея стал его первым учителем. В руки двухлетнему мальчику он дал карандаш, и Алексей уже никогда его не выпускал — рисовал всюду и на чем было. Хорошо рисовал и один из родных братьев художника (он погиб в войну), а также дядя.

Отец троюродного брата Степана был священником и брал маленьких деток с собой в церковь, где они проводили целые дни вместе с верующими: молились, как могли, а главное — стали ближе к духовности. Образ Марии с младенцем на руках запомнился Алексею на всю жизнь.

По соседству жил Анатолий Павлович Рубанович — учитель рисования в школе, получивший великолепное образование (окончил художественное училище в Варшаве). Именно он познакомил юного Алексея с творчеством Репина, Сурикова, Тициана, Веласкеса, Ван Гога. Подолгу мальчик стоял и наблюдал, как работает Анатолий Павлович, просил объяснить, если ему что-то было непонятно, и учитель показывал, разъяснял. Так, постепенно Алексей осваивал азы рисунка, живописи и вскоре уже показывал свои работы родным. Мама подолгу рассматривала знакомые пейзажи, хвалила. Однажды Алексею захотелось написать ее портрет. Несколько вечеров позировала она ему после тяжелой работы, уставшая, думала о завтрашнем дне, как его прожить, чем накормить детей... Когда настало время показать портрет, Алексей разволновался. Мама не узнала себя: он написал ее молодой и красивой.

Мать и сестры часто появлялись в ранних работах художника, семья

«Автопортрет». 1977 г.

была верующей: на стенах висели иконы, а потому выбор образа Мадонны был предопределен судьбой.

Мальчик рос, мужал и опека сестер (Алексей был самым младшим) стала его мучить. Когда ему исполнилось 15 лет, он убежал из дома. Вначале попал в Украину, оттуда — в Красноярск. Его, как комсомольца, отправляют на стройку учеником. Алексей работает и учится в вечерней школе, заканчивает 10 классов, поступает в Художественную школу имени В. Сурикова, знакомится с работами этого художника в галерее. В Красноярск он приехал именно из-за Сурикова.

Однако художником Алексей мог и не стать. Все послевоенные дети мечтали быть военными, и юноша готовился в летчики, даже три раза прыгал с парашютом. Как и все, отслужил в армии, в Забайкальском округе, но не простым солдатом, а главным художником воинской части. В конце концов, победило искусство! Сразу же после демобилизации он едет в Минск, но на вступительные экзамены в институт не успевает: занятия уже начались. И Алексей идет в студию при Дворце культуры тракторного завода, которой руководит Анатолий Василевич Барановский. Ему Алексей показывает свои работы и оказывается в числе студийцев. В Белоруский театрально-художественный институт на живописное отделение Кузьмич поступает на следующий год. Учиться было легко, нравилась академическая система занятий (многие преподаватели учились в Москве). На отделении живописи преподавали Анатолий Барановский, Борис Аракчеев, Натан Воронов. Дипломной работой «Утро угольного карьера», для написания которой он специально ездил в шахтерский Кузбасс, руководил Петр Серапионович Крохолев. В 1975 году Алексей Кузьмич защитился на «отлично». Картина выполнена в реалистической манере, в так называемом суровом стиле. Кузьмича оставляют преподавать в институте, некоторое время он работает на кафедре живописи, но импульсивный характер и стремление творить заставляют его оставить педагогическую работу. Художник полностью отдается живописи, пишет свою первую картину в жанре «ню» — «Юная Даная» и участвует с ней в выставке, после которой не выставляется 15 лет (лишь в 1989 году ему дали Дворец искусств, весь 2-й этаж).

В художественных выставках (их на счету художника более 300) Алексей Кузьмич активно участвовал еще студентом БТХИ. Его картины были представлены во Дворце искусства и Национальном художественном музее в Минске. В Москве, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Нью-Йорке, Генуе, Талине и других городах.

В период молчания после «Юной Данаи» Алексей не сдается и пишет в полуподвальной мастерской 38 молодых натурщиц, которые позировали и не стеснялись своей наготы. На полотнах они такими и получились: смелые, уверенные в своей красоте, в позе Богини, призывающие зрителей вспомнить прекрасные полотна Возрождения: обнаженных величественных красавиц Рембрандта, Джорджони, Тициана. Написанные в реалистической манере, в светлых тонах, они уже тогда ознаменовали собой рождение

мощной и яркой индивидуальной художественной формы, в которой видны вера в красоту женского тела. Но тогда членов жюри выставкома все это привело в шок.

В 1970-е годы он создал серию картин-открытий «В раю». Все полотна большого размера, написаны в чистых тонах, краски положены компактно, емко, мазок, полный страсти, экспрессии. В своем творчестве художник возродил в белорусском искусстве красоту женского тела и реального мира, смело его изображая.

Впечатляет и потрясает его картина «Красная Мадонна», написанная позже. На голове женщины — красный платок. Он плотно облегает плечи героини, как своеобразный идеологический круг-ореол. Никак не вырваться Мадонне из этого порочного круга, он ее душит, угнетает. В отчаянии, утратив веру стать свободной и независимой, Мадонна плачет. Планетарная печаль на ее красивом лице.

Поиск творческой самобытности, возвышенной одухотворенности и эмоциональной выразительности образов привели художника к написанию исторических портретов. Он настойчиво работает в этом жанре, изучает время, в котором жили его герои. Обращают на себя внимание полотна «Рогнеда», «Евфросинья Полоцкая». Евфросинья изображена в темной монашеской одежде, лицо ее печально, но озарено каким-то внутренним светом. За ее спиной — белокаменный храм. Она плачет о разрушенных святынях, молится за многострадальную землю, людей. Плачущие Мадонны — сокровенные мысли художника о трагических жизненных коллизиях человека. Для их воплощения Алексей Кузьмич нарушает устоявшиеся каноны — образ Мадонны не принято писать со слезами.

О народных трагедиях рассказал он в картинах «Памяти узников Гулага» (1975—1989), «Живи и помни» (1986), «Перевернутый мир» (1990). Не остался безразличным художник и к трагедии, которая постигла наш народ в 1986 году — «Посвящение Чернобылю» (1988), «Детям Чернобыля» (1990), «Реквием» (1991—1992), исполнил серию исторических памятников. Теме жертвенности во имя славянского единства посвящены работы «Русь святая», «Пылающая Русь», «Небесная Россия», «Дьяволы над Русью», «Мадонна Киевской Руси».

На протяжении десятилетия художник пишет серию «Купаловцы», запечатлевая портреты белорусских актеров. Каждого Алексей Кузьмич писал с особым волнением, с полным напряжением кисти, перенося на полотна все богатство душевных переживаний героев. Скрупулезно передавая черты лица, одежды. Все они неординарные, неожиданные: Стефания Станюта, Здислав Стома, Галина Макарова, Фома Воронецкий, Николай Еременко

«Нет войне!». 1985—1986 гг.

«Мадонна. Беспокойство». 1989 г.

(младшего Еременко, кстати, Алексей Кузьмич, тоже хотел написать, но не успел, хотя тот просил...) Художник написал и портреты кинорежиссеров Михаила Пташука и Виктора Турова, выполнил два портрета писателя Алеся Адамовича.

Алексей Кузьмич занял свое место в белорусском и мировом искусстве. Его произведения узнаваемы по манере письма, они имеют свой стиль, свое философское звучание, говорят о духовном совершенствовании личности и высоком предназначении женщины-матери. Не смотря на сложности времени, он состоялся как художник и устоял перед натиском всевозможных авангардных течений — «измов», — сохранив в своем изобразительном языке чистоту и поэзию. На протяжении 40 лет творческой жизни Алексей Кузьмич оставался верен вечным ценностям: материнство, красота, доброта, гуманизм. Вспомним серии работ: «Золотые Мадонны», «Серебряные Мадонны», «В раю», «Жертвенность славянских Мадонн», «Полеские Мадонны», «Государственные Мадонны». И отдельные работы: «Нежность», «Мадонна над Минском», «Вдохновение»...

Произведения художника соединяют в себе сакральное и светское. В них — чувственная «святоносность», чистота. От них идет свет, они имеют философское звучание. Черного цвета на полотнах Кузьмича почти что нет, он, как импрессионисты, не использовал темные краски. Цветовая гамма картин создает единый тепло-золотистый тон, от которого исходит какой-то особенный, солнечно-космический свет. Так светятся лики его Мадонн и воздушное пространство вокруг них. Он как бы соревнуется с мастерами Ренессанса и надеется, что высокое искусство Возрождения сегодня как никогда очистит, успокоит и принесет людям то добро, в котором всегда нуждается человечество. Не случайно Алексея Кузьмича считают светоносным художником. В его полотнах отражен свет его души. Алексей Кузьмич рассказывал, что ему снились сны... Из вспышек света является вся в белом, с младенцем на руках, Мадонна. Величественно она опускается на землю и, обращаясь к Алексею, говорит: «Я тебя выбрала, тебе нести на землю новую цивилизацию — любви и вечного рая,— которую создает женщина...»

Галина ФАТЫХОВА

P. S. Во время подготовки материала к печати в редакцию пришло печальное известие: Алексей Кузьмич ушел из жизни.

Имена

Полонез Огинского: мифы и реальность

Однажды случай привел меня на маленькую белорусскую станцию Залесье, которая находится между Молодечно и Сморгонью. Поезд опаздывал, и пассажиры столпились вокруг худощавого юноши с портативным радиоприемником в руках — новинкой того времени. Передавали концерт по заявкам, а в нем — обязательные частушки «Подмосковные вечера»... И вдруг зазвучал элегический полонез Огинского. Почти все присутствующие до последней нотки знали эту прозрачную лирическую мелодию, соединившую в одно неповторимое целое и горечь поражения, и печаль разлуки с тем, что бесконечно близко, дорого, и одновременно — фанфарный клич, «побудка» идти вперед, к победе. Произведения истинного искусства — а полонез «Прощание с Родиной» относится к ним — не стареют потому, что каждая встреча с ними открывает что-то новое, созвучное нашим мыслям и чувствам... Вот почему пассажиры, находившиеся на перроне: студенты и железнодорожники, служащие и колхозники — слушали дивную мелодию, зачарованные и будто привороженные к месту.

Закончился концерт. Ушел куда-то парень, а все молчали.

Первым нарушил тишину немолодой военный.

— Говорят, — вздохнул он, — этот самый Огинский застрелился. Полюбил без взаимности аристократку и покончил жизнь самоубийством. Возле его трупа нашли листок бумаги, исписанный нотами...

— А я слышал, — прервал военного сосед пенсионного возраста, — что за революционную деятельность царь приказал заточить Огинского в каземат. В ночь перед расстрелом узник расцарапал себе руку и кровью написал на тюремной стене полонез. Потому и называется он «Прощание с Родиной»...

В разговор включались все новые и новые люди, начались споры. Одна из женщин вспомнила радиопередачу, в которой рассказывалось, что во время восстания 1794 года Огинский безнадежно влюбился в панну Ядвигу. Она помогла ему бежать за границу и таким образом спасла его от расправы царских властей. Кто-то припомнил, что на юге Беларуси есть канал, носивший когда-то имя Огинского. И никто из присутствующих не обращал внимания на старого колхозника, все время порывавшегося что-то сказать. Только тогда, когда подошел поезд и все бросились к вагонам, он обратился ко мне:

— Люди говорят, что когда-то в Залесье жил пан, по фамилии Огинский. Добрый, справедливый был человек. Любил слушать деревенских музыкантов. Вон тот парк, те аллеи, которые тянутся к Вилии, — все это следы его пребывания.

В поезде я много думал над словами старика. Незадолго до этого разговора мне довелось работать в одном из вильнюсских архивов. Там попал мне в руки пожелтевший документ, под которым стояла подпись: «Михал Клеофас Огинский». И дата: «14 мая 1820 года, Залесье». Невольно возникла мысль: а что если это один и тот же Огинский и одно и то же Залесье?!

Взволнованный я возвратился домой и начал перелистывать страницы энциклопедий и книгу Игоря Бэлзы «История польской музыкальной культуры». Там были портреты Огинского. Со страниц книг пытливым, проницательным взглядом смотрел на меня

человек с тонкими чертами лица, в модном по тому времени парике.

Из энциклопедий и исследований Игоря Бэлзы я узнал, что Михал Клеофас Огинский родился 7 октября 1765 года в имении Гузово (недалеко от Варшавы). Отец его происходил из старинного рода, начало которому положил, получив поместье Огинты, белорусский шляхтич Дмитрий Глушенок. Детство будущего композитора проходило преимущественно в Слониме, в доме дяди, великого литовского гетмана Михала Казимира Огинского. Кстати, по его инициативе и был прорыт известный канал. В то время Слоним являлся крупным культурным центром. Из крепостных крестьян гетман организовал симфонический оркестр и театральную труппу. На придворной сцене ставили драмы, оперы и балеты. Будущего композитора в Слониме обучал музыке лучший преподаватель того времени Юзеф Козловский. Под его руководством Огинский написал несколько фортепьянных пьес. Юноша начал мечтать о том, чтобы стать композитором.

Но трудное для страны время потребовало от Огинского иного. События вынудили его стать дипломатом, государственным деятелем. Двадцатипятилетнего молодого человека направляют с важным поручением сначала в Голландию, а потом в Англию. Вскоре он был уже послом. Узнав о разделе Польши, Огинский возвратился на родину, принял участие в восстании 1794 года под руководством Костюшко. После поражения восстания отважному патриоту пришлось эмигрировать за границу. И только тогда, когда на русский престол вступил Александр I, композитору позволили возвратиться на родину и даже ввели его в состав царского сената, избрали почетным членом Виленского университета. За свою долгую и бурную жизнь Огинский написал около 60 вокальных и фортепьянных произведений (из них — около 20 полонезов). Пробовал он себя и в литературе: писал памфлеты, перевел с русского языка на французский несколько пьес.

Однако ни энциклопедии, ни книга Бэлзы не давали ответа на те вопросы, которые больше всего меня волновали. Имел ли какое-нибудь отношение Огинский к Залесью? Где был написан знаменитый полонез «Прощание с Родиной»? Начались поиски. И вот в библиотеке Вильнюсского университета удалось напасть на дневник Огинского, в котором рассказывалось о событиях с 1788 до 1815 года. Впервые этот дневник был издан в 1827 году на французском языке в Париже. Затем в начале 70-х годов прошлого столетия его перевели на польский язык и издали небольшим тиражом в Познани.

В первом томе дневника Огинский подробно рассказывает о своем участии в восстании 1794 года. Весть о восстании застала композитора в Новогрудке. Огинский сразу же собрал 40 тысяч дукатов и решил ехать в Пруссию: там на эти деньги он хотел приобрести оружие. Одновременно он отправил в Варшаву письмо своей жене, чтобы она тоже приехала в Пруссию. Но на границе композитора задержали и заставили возвратиться в Вильно. Таким образом, версия о том, что во время восстания молодой Огинский безнадежно влюбился в панну Ядвигу и та будто бы помогла ему бежать за границу, является несостоятельной. Во-первых, в 1794 году Огинский был уже женат на Изабелле Лесоцкой. Во-вторых, в дни восстания Огинскому так и не удалось перебраться через границу.

Следует отметить, что Огинский был крупным магнатом. Только в Беларуси ему принадлежали десятки имений, в том числе Раков, Ивье, Белыничи, Гауя. Но, как образованный и передовой человек своего времени, Огинский сразу понял значение восстания Костюшко и стал одним из вожаков этого народного движения, направленного против царского самодержавия. Он заявил Национальному совету, что «приносит в дар родине свое имущество, труд и жизнь». В Вильно он сблизился с доверенным лицом Костюшко — Ясинским, на свои деньги вооружил отряд в 480 человек и по настоянию горожан возглавил его.

Тогда же Огинский выступил перед жителями Вильно с пламенной речью, закончив ее словами: «Да здравствует свобода, да здравствует родина, смерть изменникам!»

Интересным для нас является то обстоятельство, что отряд Огинского действовал преимущественно на территории Беларуси. Первое крещение он принял в боях возле Сол и Ошмян. Отсюда Огинский хотел двинуться в Минск. В своих мемуарах он пишет: «Если бы мне удалось беспрепятственно добраться туда, я отважился бы глубже проникнуть на территорию Белой Руси, чтобы там поднять на восстание 12 тысяч крестьян, находившихся во владениях моей семьи, и дать им свободу».

Свои намерения Огинский осуществил только частично. Вместе с отрядом, минуя вражеские группировки Цицянова и Кнорринга, он двинулся через Вишнево на Воложин. Овладев городком почти без боя, повстанцы нашли там богатые трофеи и тут же раздали их местному населению. Из Воложина Огинский направился в Ивенец. Но там повстанцы узнали, что Минск сильно укреплен, и решили повернуть назад. Крестьяне, съехавшиеся в Ивенец на праздничную ярмарку, дали Огинскому подводы для обозов.

И вот отряд начал отступать в направлении села Бакшты. Дорога была сильно заболочена, перегорожена завалами из деревьев. Возле села Саковщина сзади отряда вдруг послышалось улюлюканье казаков. Повстанцев окружали царские войска. Чтобы остановить погоню, Огинский приказал сжечь мост через Западную Березину, но казаки форсировали реку вброд и догнали повстанцев возле Вишнева. Как вспоминает в своих мемуарах Огинский, вражеская пуля пробила ему в бою шляпу. Огинский мог погибнуть, но его спас офицер Павлович, в критическую минуту удержавший за удила обезумевшую лошадь своего командира. После жестокой схватки куда-то исчезли касса и личные бумаги композитора. Но основные силы отряда были все же спасены. Из-под Вишнева Огинский отступил в Ошмяны, где соединился с армией Ясинского.

Затем Огинский стал командовать всеми литовско-белорусскими повстанческими войсками. В качестве специального курьера он ездил в Варшаву к национальному польскому герою Тадеушу Костюшко. Беседа двух патриотов была исключительно сердечной. Возвратившись в Литву, Огинский возглавил несколько походов к берегам Двины, на Браславщину. За его голову царское правительство установило большую награду. И когда восстание потерпело поражение, Огинский должен был оставить родину. Вместе с корпусом Домбровского он перешел прусскую границу, а затем с чужим паспортом на имя Михайловского добрался до Вены. Началось восьмилетнее странствование по чужбине: Париж, Венеция, Константинополь, Бухарест, Яссы... Царские власти наложили руку на поместья Огинского.

Известным композитором Огинский стал еще до восстания 1794 года. Его полонез фа-мажор, имеющий и другое название — «Раздел Польши», явился настоящим событием в истории польской музыки. Его исполняли в Варшаве и Петербурге. Следует отметить, что до этого полонез был только бытовым танцем. Огинский же придал ему жанровую завершенность, ввел чередование двух тем: минорной и мажорной. В 1794 году в творчестве композитора возникают новые, революционные мотивы. Он создает повстанческие песни и марши. В своей книге Игорь Бэлза высказывает догадку, что Огинскому принадлежит также «Мазурка Домбровского», начинающаяся словами «Еще Польша не погибла». Эта догадка подтверждается теми строками мемуаров Огинского, где он вспоминает, что писал марши для легионеров Домбровского и один из этих маршей играл в 1797 году для Наполеона. Потом, когда композитор возвратился в царскую Россию, у него были все основания не признаваться в авторстве этого произведения.

Как уже говорилось, Огинский смог возвратиться на родину только

после того, как на русский трон вступил Александр I. 5 февраля 1802 года композитор приехал в Петербург. Огинскому возвратили все поместья, которые, правда, были в больших долгах. И тут на помощь пришел престарелый молодечненский граф Франтишек Ксаверий Огинский. Он подарил своему племяннику еще одно поместье — Залесье. В третьем томе своих мемуаров автор элегического полонеза уточнил, где находилось это Залесье: в 14 милях от Вильно, по дороге на Минск, недалеко от Молодечно. Значит, не ошибся старый колхозник, сказавший, что Залесье когда-то принадлежало Огинскому...

Если не считать поездок в Петербург, Вильно и за границу, Огинский прожил в Залесье около 20 лет. Но в мемуарах о них говорится крайне скупо. Не сказано даже, где был написан полонез «Прощание с Родиной». И это понятно. Огинский смотрел на свое увлечение музыкой как на дополнение к общественной деятельности и поэтому о своем композиторском творчестве почти ничего не написал.

Где же тогда найти материалы о залесском периоде жизни Огинского? Начались новые поиски, но долгое время они были безрезультатными. Понадобилось сделать запрос в Национальную библиотеку в Варшаве. Вскоре оттуда пришел ответ, что этот период освещен во втором томе монографии Чеслава Янковского «Ошмянский уезд».

Из исследования Янковского, который во многом шел вслед за книгой Я. Тышкевича «Вилия и ее берега», видно, что, став владельцем Залесья, Огинский превратил его в крупный культурный центр. На музыкально-литературные вечера сюда съезжалась дворянская интеллигенция почти со всей Беларуси и Литвы. На этих вечерах Огинский обычно играл на первой скрипке, испанец Эскундеро — на второй. Виолончель брал в руки бывший учитель Огинского, композитор Козловский. Каждый из гостей находил себе занятие по вкусу. Кто любил музыку, тот слушал выступление струнного квартета или арии из опер в исполнении итальянского певца Палиани. Любители живописи смотрели альбомы, любовались картинами. Интересующиеся политикой окружали специального фельдъегеря, курсировавшего между Залесьем и Петербургом, доставляя свежие новости. Слава о Залесье распространялась далеко вокруг, и вскоре его стали называть «Северными Афинами». Польский поэт Л. Ходько написал в 1821 году поэму «Залесье». В ней он прославлял красоту тех мест и талантливого хозяина. У князей Огинских, вспоминает мемуаристка Г. Пузына, «были три красивые дочки, а переполненный учительницами и гувернерами-иностранцами веселый и оживленный дом превращал прекрасное Залесье в земной рай».

Огинский коренным образом изменил вид Залесья. Рядом со старым дворцом был построен новый. Его воздвигли по проекту профессора архитектуры Михала Щульца под руководством виленского губернского архитектора Иосифа Пуссé. Рядом со старым французским парком садовники разбили новый, английский. Несколько дальше находились ботанический сад, зверинец, оранжерея. Все дороги, ведущие в Залесье, были обсажены деревьями. По сторонам виднелись живописные беседки и часовни, построенные в античном стиле. В парке Огинский приказал установить памятник своему бывшему гувернеру Жану Ралею, а также камень в честь своего единомышленника Костюшко. Однако этот камень не связан с встречей Огинского и Костюшко, состоявшейся, если верить одной из статей в белорусской печати, в Залесье. На самом деле Костюшко здесь никогда не был. Он навсегда оставил славянские земли в 1796 году. Огинский же получил Залесье только в 1802 году.

Свой день Огинский проводил примерно так. Утром просматривал газеты, читал художественную литературу, в том числе и русскую, диктовал секретарю памфлеты и мемуары. Потом обычно шел на прогулку в сторону Вилии. Часто заглядывал в деревни, под крестьянские крыши,

и слушал там народные песни. Возвратившись домой, писал музыку. И нет ничего удивительного, что в произведениях, написанных по классическим канонам, иногда начинала звучать белорусская народная мелодия. Юзеф Козловский, долгое время преподававший в Петербурге, познакомил Огинского с сокровищами русского мелоса. Влияние Козловского отразилось в творчестве композитора: Огинский обработал несколько русских и украинских песен. Как свидетельствует Ч. Янковский, именно в Залесье написано большинство полонезов Огинского, в том числе, известный всем нам ля-минорный («Прощание с Родиной»). Сегодняшнему слушателю Огинский известен преимущественно по этому произведению — одному из многих, вошедших в два виленских сборника 1817 года, изданных в пользу благотворительного общества.

Огинскому делает честь то, что он разобрался в сущности событий 1812 года. Несмотря на прежнюю дружбу с Наполеоном, в дни Отечественной войны композитор решительно стал на сторону русского народа. По дороге из Залесья в Минск Огинский написал в дневнике, что Наполеону никогда не покорить Россию, потому что он не знает ее «скрытых сил», не учитывает «фатальной любви московского народа к своей родине». Наполеон не мог простить Огинскому такого поступка. В Центральном государственном архиве Литовской ССР мне удалось обнаружить воспоминания Леонарда Ходьки, личного секретаря композитора. В них приводится такой факт. При отступлении, в ночь со 2 на 3 декабря 1812 года, Наполеон остановился на ночь в молодечненском замке, где тогда доживал свой век дядя Огинского, и начал упрекать старика, что его племянник оказался «изменником», перешел на сторону русских. На это старик резонно заметил, что французы пришли и теперь убегают, а народ русский остается, остается и Россия, и потому Михал Клеофас Огинский поступил правильно, как патриот, если в трудную для славянских земель годину примкнул к русским друзьям. Разозленный император хлопнул дверью, но ничего не посмел сделать больному собеседнику. Возвратившись в свою комнату, Наполеон два часа сжигал бумаги, а потом уснул на диване. Князь Коленкур, охранявший сон императора, взял уголь и написал на камине по-французски: «Наполеон I». Надо же было случиться такому, что спустя сутки в той же комнате и на том же диване отдыхал Кутузов. Увидев надпись на камине, он приписал: «et dernier» — «и последний».

Разумеется, как представитель своего времени и своего класса, как сенатор царского сената, Огинский часто ошибался. Он сначала переоценивал роль Наполеона, а потом Александра I. Но в решающие моменты он был с народом, с русскими друзьями. О радикализме Огинского свидетельствует тот факт, что он часто заступался за крепостных белорусских крестьян. Так, 18 января 1812 года он направил Александру I специальное послание, обращая внимание царя на то, что после засухи крестьяне голодают, что им нечем засевать поля. Такое послание было отправлено и в следующем году. В нем высказано предложение, чтобы крестьянам, ограбленным французами, уменьшили налог. В своих мемуарах Огинский писал: «Всеобщая бедность народа в Литве (это значит и в Беларуси. — **А. М.**) вызвала у меня чувство жалости».

Белорусскую землю Огинский оставил навсегда в 1822 году. В связи с этим следует признать фантазией утверждение, промелькнувшее в белорусской печати, что в Залесье якобы живет современник Огинского, некий Дудка. В детстве он будто бы играл на скрипке самому композитору. Тот похвалил его, погладил по головке, а вот теперь его сын пошел в первый класс музыкальной школы и хорошо играет на баяне этот самый полонез... Возникает вопрос: сколько же лет должно быть тому колхознику?! Это, так сказать, из области курьезов. Кстати, разных курьезов было полно и в жизни композитора. Один из издан-

ных за границей полонезов сопровождался гравюрой, на которой автор... застрелял себе в висок. В лондонских газетах сообщалось, что Огинский погиб, переправляясь с семьей через Ла-Манш. Композитор весело смеялся над такими легендами, но они, к сожалению, дожили до нашего времени.

На самом деле Огинский, разумеется, не кончал свою жизнь самоубийством. Он прожил за границей еще 11 лет и умер 15 октября 1833 года в Италии, во Флоренции, где и похоронен. Вторая жена Огинского Мария де Нери — с первой он разошелся в 1802 году — осталась с детьми в Залесье. Старинное поместье постепенно приходило в запустение. Наконец, во время Первой мировой войны от дворца остались только полуразрушенные стены.

Сегодня в Залесье сохраняют наследие Михаила Клеофаса Огинского. А пленительный полонез Огинского «Прощание с Родиной», часто исполняемый на концертах, стал одним из любимых произведений любителей музыки.

Адам МАЛЬДИС

Авторизованный перевод с белорусского Идалии КОНОНЕЦ.

В «Сутре ста притч» есть такая история...

Шэнь ЦУНВЭНЬ (1902—1988) — современный китайский писатель, исследователь культуры, представитель пекинской школы прозы.

Выдающийся писатель и исследователь культурного наследия Китая. За свою жизнь опубликовал более 30 сборников рассказов и шесть романов. Произведения Шэнь Цунвэня «Пограничный город», «На западе Хунани», «Автобиография Цунвэня» вызвали интерес и стали значимыми в Китае и за рубежом. Они были переведены и изданы в Японии, США, Великобритании и более чем 40 других странах мира и регионах. В 80-е годы писатель дважды был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Шэнь Цунвэнь также известен как талантливый историк, археолог, каллиграф. Он написал работы: «Китайский шелк», «Бронзовые зеркала династий Тан и Сун», «Лаковые изделия периода Чжаньго», «Одежда древнего Китая» и др.

Давным-давно жили муж с женой. Однажды они испекли на ужин три большие лепешки. После того, как все было готово, они съели по одной лепешке, и еще одна осталась. Супруги не знали, кому она должна достаться, и условились сыграть в молчанку: кто первый заговорит, лепешку не получит! Сказано — сделано, так они и сидели в тишине, боясь нарушить молчание. Глубокой ночью к ним пробрался злодей с намерением унести из дома все накопленное добро. Верные своему уговору, супруги, желая заполучить последнюю лепешку, не проронили ни слова. Злодею показалось, что он попал в дом юродивых. Вор шумел и беспрепятственно делал все, что ему вздумается. Ему приглянулась миловидная хозяйка, и он подошел ближе, позволяя себе вольности по отношению к прелестной женщине. Такое поведение не ускользнуло от внимания мужа, но память о лепешке, конечно, заставляла его молчать. Наконец, супруга не выдержала и закричала:

«У, да ты совсем дурак! Ради какой-то лепешки позволяешь позорить меня!» Муж заулыбался, радостно похлопывая в ладоши: «Ага, глупая девчонка! Ты первая заговорила, поэтому проиграла! Лепешка моя, а ты оставайся ни с чем!»

Кто оказался глупцом — разобраться смогут только наши герои сами, а другие, высказывая опрометчивые суждения, похоже, вмешиваться не должны. Эта история из «Сутры ста притч» повествует о человеческом характере. Тысячу лет назад, возможно, уже жила такая семейная пара. И есть вероятность, что присущие им черты характера дошли до наших дней. Сегодня нам нелегко отыскать такого «мужа». Но отдельные его черты проявляются в способах управления государством, жизненной позиции наших современников. Теряя большой участок земли или сбежавшую жену, некоторые остаются верными обещанию ради сохранения таких незначительных вещей, как лепешка, ведь так? И стоит кому-либо сказать хоть слово, пытаясь вразумить их, они тотчас же с ребячливой радостью восклицают: «Ага, глупыш! Лепешка моя!»

После прочтения этого рассказа о человеческой глупости интерес у меня все же вызывает автор истории. Сатира в истории, написанной тысячу лет назад, остается актуальной и сегодня. Однако большинство нынешних умников, борющихся за лепешку, очень заняты и, хотя совершили немало непоправимых глупостей в жизни, никогда не заглядывали в эту книгу. Поэтому сатира в нашей истории никому не принесла пользы. Если вы хотите, чтобы эту мудрость усвоили, начинать писать о ней уже надо сейчас. И, возможно, через тысячу лет герои нашего повествования поймут свою ошибку.

Я всего только и хотел, что рассказать об этой книге всем, кому следовало бы ее прочесть.

Шэнь ЦУНВЭНЬ

Перевод с китайского Вероники КАРЛЮКЕВИЧ.

Авторы номера

КОНЕВ Федор Егорович. Родился в 1935 г. в селе Мужи Тюменской области (Россия). Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (Москва). Кинодраматург, прозаик. Автор книг «Сполохи» и «Снегопад». Участвовал в создании двадцати фильмов. Среди них — «Счастливый человек», «Пламя», «Половодье», «Сад», «Фруза», «Шляхтич Завальня», «Ятринская ведьма», «Черный аист» и др. Живет в Минске.

МАКАРЕВИЧ Василий Степанович. Родился в 1939 г. в д. Купленка Крупского района Минской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, критик, публицист. Автор многих книг поэзии. Лауреат Литературной премии им. А. Кулешова. Живет в Минске.

АНДРЕЕВ Анатолий Николаевич. Родился в 1958 г. в г. Североуральск Свердловской области (Россия). Литературовед, культуролог, философ. Доктор филологических наук, профессор. Автор монографий «Целостный анализ литературного произведения», «Культурология», «Психика и сознание: два языка культуры» и др., а также романов, повестей, рассказов, пьес. Живет в Минске.

БУГАНОВ Петр Иванович. Родился в 1953 г. в д. Клемятино Шумилинского района Витебской области. Окончил Полоцкий политехнический техникум. Печатался в газетах «Полоцкий вестник», «Химик», «Народное слово», «Белорусская военная газета», коллективных сборниках литературного объединения «Наддвинье». Живет в Полоцке.

ФЕДОРОВИЧ Дмитрий Леонидович. Родился в 1954 г. в пос. Ладан Прилукского р-на Черниговской области (Украина). Окончил физический факультет Гомельского государственного университета. Прозаик. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Гомеле.

СКОРИНКИН Андрей Владимирович. Родился в 1962 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (Москва). Автор семнадцати поэтических книг и четырех музыкальных альбомов. Член-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской Академии славянского просвещения. Живет в Минске.

МУШИНСКАЯ Татьяна Михайловна. Родилась в 1958 г. в Минске. Окончила школу юных философов при Институте философии Академии наук БССР, факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэтесса, прозаик, театральный критик, журналиста, либреттист, драматург, сценарист. Автор сборников рассказов и сказок для детей, повестей, сборников стихотворений и др. Живет в Минске.

ЯНИЩИЦ Евгения Иосифовна. Родилась в 1948 г. в д. Рудка Пинского района Брестской области. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор поэтических сборников «Снежное сретение», «День вечерний», «Ясельда», «На берегу плеча», «Пора любви и жалости», «Калина зимы», «В шуме ржаного света». Лауреат премии Ленинского комсомола БССР, Государственной премии БССР имени Янки Купалы. Трагически погибла в 1988 году в Минске.

КРАШЕВСКИЙ Юзеф Игнацы. Родился в 1812 г. в Варшаве (Польша). Учился в Виленском университете. Автор около 600 томов романов и повестей, поэтических и драматических произведений, а также работ по истории, этнографии, фольклористике, путевых очерков, публицистических и литературно-критических статей. Умер в 1887 г. в Женеве (Швейцария).